



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

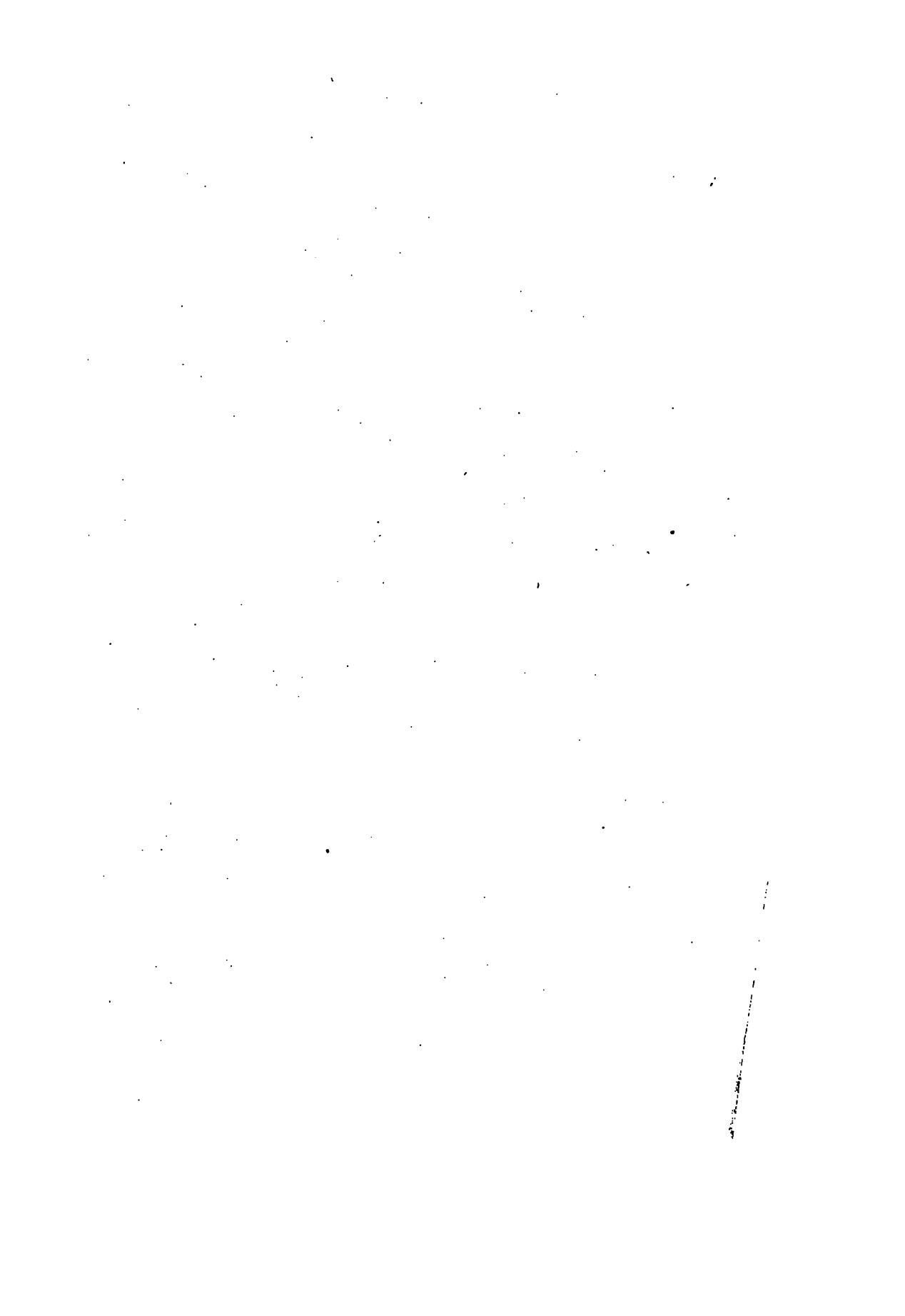




Fossile aus dem Schambes

Mermaid's Zeeuw

Wynobuery



ВАСИЛІЙ АНДРЕЕВИЧЪ
ЖУКОВСКІЙ.

—
29-е января

1783—1883.





Seidlitz, K. J. von

ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ

В. А. ЖУКОВСКАГО

1783 — 1852.

По неизданнымъ источникамъ и личнымъ воспоминаніямъ

К. К. ЗЕЙДЛИЦА,

съ портретомъ поэта, факсимиле, письмами,
и съ предисловіемъ П. А. Висковатого.

Изданіе редакціи „Вѣстника Европы“.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 л., 7.

Январь, 1883.

TK

PG3447

Z5Z88



[747]

ДОМАШНЯЯ
СИБИРСКАЯ
УЛИТИНА
Алексея Викторовича

ОТЪ РЕДАКЦІИ «ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ».

Почтенный авторъ издаваемого нами труда и вмѣстѣ единственный изъ всѣхъ ближайшихъ друзей Жуковскаго свидѣтель важнѣйшаго періода его жизни, на пространствѣ цѣлыхъ сорока лѣтъ, — дожившій самъ теперь, въ преклонномъ возрастѣ 85 лѣтъ, до столѣтняго юбилея своего друга, скончавшагося уже тридцать лѣтъ тому назадъ, — предоставилъ намъ издать свой трудъ съ тѣмъ, чтобы вся чистая прибыль отъ продажи книги была обращена въ фондъ для устройства памятника Жуковскому въ городѣ Петербургѣ. Мы поспѣшили исполнить первое желаніе К. К. Зейдлица, и не сомнѣваемся въ томъ, что при сочувствіи общества не замедлитъ исполниться и другое его доброе начинаніе.

Оригиналъ прилагаемого нами портрета Жуковскаго, написанный въ 1817 г. извѣстнымъ живописцемъ Кипренскимъ, былъ подаренъ поэтомъ графу С. С. Уварову и хранился въ его подмосковномъ селѣ Порѣчье. Тогда же была сдѣлана гравюра съ этого самаго портрета художникомъ Вендрамини, а въ 1876 г. по ней вырѣзалъ тотъ-же портретъ на стали И. П. Пожалоустинъ для седьмого изданія „Сочиненій В. А. Жуковскаго“ (Спб. 1878, 6 томовъ, п. р. П. А. Ефремова,

изданіе И. И. Глазунова). И. И. Глазуновъ безвозмездно уступилъ намъ доску для приложенія портрета къ настоящему изданію, а г. Пожалостинъ, по нашему заказу, взялъ на себя заботу объ изготовленіи новыхъ оттисковъ портрета.

Критическая оцѣнка значенія поэзіи Жуковскаго, можно сказать, установилась у насъ еще со временъ Бѣлинскаго. Въ 1843 г., когда, слѣдовательно, Жуковскій уже завершилъ свой второй, и самый важный, періодъ поэтическаго творчества, Бѣлинскій въ такихъ словахъ опредѣлилъ его истинный характеръ и значеніе:

„Неизмѣримъ подвигъ Жуковскаго, — говорилъ Бѣлинскій, — и велико значеніе его въ русской литературѣ! Его романтическая муза была для дивой степи русской поэзіи Элевзинскую богиню Церерою: она дала русской поэзіи душу и сердце, познакомила ее съ таинствомъ страданія, утратъ, мистическихъ откровеній и полного тревоги стремленія „въ оный таинственный свѣтъ“, которому нѣтъ имени, нѣтъ мѣста, но въ которомъ юная душа чувствуетъ свою родную, завѣтную сторону. Есть пора въ жизни человѣка, когда грудь его полна

тревоги и волнуется тоскливымъ порываніемъ безъ цѣли, когда горячія стремленія съ быстротою смѣняются одно—другое, и сердце, желая многого, не хочетъ ничего; когда опредѣленность убиваетъ мечту, удовлетвореніе подсѣкаетъ крылья желанію, когда человѣкъ любитъ весь міръ, стремится ко всему, и не въ состояніи остановиться ни на чемъ, когда сердце человѣка порывисто бьется любовью къ идеалу и гордымъ презрѣніемъ къ дѣйствительности, и юная душа, расправляя мощныя крылья, радостно взвивается къ свѣтлomu небу, желая забыть о существованіи земного праха. Въ эту пору жизни человѣка, любовь робка и стыдлива, жаждетъ одного только сочувствія и удовлетворяется гордымъ взглядомъ, таинствомъ присутствія милаго существа, и за тихое пожатіе руки не пожелаетъ полнаго обладанія. Правда, въ этой порѣ много односторонности, много ложнаго, больше фантазіи, чѣмъ сердца, и за нею непремѣнно должна слѣдовать пора горячаго и тяжелаго разочарованія, для того, чтобъ человѣкъ пришелъ въ состояніе понять истину, какъ она есть, простую и прекрасную собственною красотою, а не радужнымъ нарядомъ фантазіи; чтобъ онъ могъ понять, что вѣчное и безконечное является въ преходящемъ и конечномъ, что идея въ фактахъ, душа въ тѣлѣ... Но эта пора юношескаго энтузіазма есть не-

обходимый моментъ въ нравственномъ развитіи человѣка,—и это не мечталъ, не порывался въ юности къ неопредѣленному идеалу фантастическаго совершенства, истины, блага и красоты, тотъ никогда не будетъ въ состояніи понимать поэзію— не одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни; вѣчно будетъ онъ влачиться низкою душою по грязи грубыхъ потребностей тѣла и сухого, холоднаго эгоизма.

„Пора безотчетнаго романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ есть необходимый моментъ не только въ развитіи человѣка, но и въ развитіи каждаго народа и цѣлаго человѣчества. Средніе вѣка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ западной Европы, а слѣдовательно — и всего человѣчества, и этотъ моментъ всемірно-историческаго развитія выразился въ искусствѣ среднихъ вѣковъ. Мы, русскіе, позже другихъ вышедшіе на поприще нравственно-духовнаго развитія, не имѣли своихъ среднихъ вѣковъ: Жуковскій далъ намъ ихъ въ своей поэзіи, которая воспитала столько поколѣній, и всегда будетъ такъ краснорѣчиво говорить душѣ и сердцу человѣка въ извѣстную эпоху его жизни. Жуковскій—это поэтъ стремленія, душевнаго порыва къ неопредѣленному идеалу. Произведенія Жуковскаго не могутъ восхищать всѣхъ и каждаго во всякій возрастъ: они внятно говорятъ душѣ и сердцу

въ извѣстный возрастъ жизни, или въ извѣстномъ расположеніи духа: вотъ настоящее значеніе поэзіи Жуковскаго, которое она всегда будетъ имѣть. Но Жуковскій, кромѣ того, имѣетъ великое историческое значеніе для русской поэзіи вообще: одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдѣлалъ ее доступною для общества, давъ ей возможность развитія, и безъ Жуковскаго мы не имѣли бы Пушкина. Сверхъ того, есть еще другая великая заслуга русскому обществу со стороны Жуковскаго: благодаря ему, нѣмецкая поэзія — намъ родная, и мы умѣемъ понимать ее безъ того усилія, которое условливается чуждою національностью. Еще въ дѣтствѣ, мы, черезъ Жуковскаго, пріучаемся понимать и любить Шиллера какъ-бы своего національнаго поэта, говорящаго намъ русскими звуками, русскою рѣчью“...

Итакъ, „произведенія Жуковскаго, — замѣчаетъ Бѣлинскій, — не могутъ восхищать всѣхъ и cadaго во всякій возрастъ: они внятнo говорятъ душѣ и сердцу въ извѣстный возрастъ жизни, или въ извѣстномъ расположеніи духа“; — но нѣтъ такого человѣка, который могъ бы миновать таковой возрастъ, какъ никто не можетъ освободиться навсегда отъ возможности душевнаго настроенія, при которомъ поэзія Жу-

вовскаго легко найдетъ себѣ откликъ. „Вотъ настоящее значеніе его поэзіи,—восклицаетъ Бѣлинскій,—которое она *всегда* будетъ имѣть!“ Эти слова великаго критика служатъ прекраснымъ поясненіемъ смысла тѣхъ памятныхъ стиховъ, съ какими Пушкинъ обратился нѣкогда къ портрету пѣвца „Свѣтланы“:

Его стиховъ плѣнительная сладость
 Пройдетъ вѣковъ завистливую даль;
 И внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,
 Утѣшится безмолвная печаль,
 И рѣзвая задумается радость.

Ниже, проф. П. А. Висковатый изслѣдуетъ подробно вопросъ о годѣ рожденія поэта и доказываетъ, что годомъ его рожденія могъ быть только 1783-й годъ. Между тѣмъ, въ печати появилась, въ самые послѣдніе дни, замѣтка академика Я. К. Грота, которая ставитъ годъ рожденія поэта внѣ всякаго сомнѣнія, но за то вызываетъ новое сомнѣніе относительно дня: „Сомнѣніе насчетъ времени рожденія Жуковскаго,—пишетъ Я. К. Гротъ,—окончательно устраняется. 21-го прошлаго декабря (1882 г.) я обратился отъ имени второго отдѣленія академіи наукъ къ архіепископу тульскому съ просъ-

бою приказать навести о томъ справку. Высокопреосвященный Никандръ немедленно сдѣлалъ соотвѣтственное распоряженіе, и въ письмѣ отъ 1-го сего января почтилъ отдѣленіе отвѣтомъ съ приложеніемъ выписки изъ метрической книги бѣлевскаго уѣзда села Мишенскаго и изъ исповѣдныхъ росписей того же села, хранящихся въ архивѣ тульской духовной консисторіи. Въ этой выпискѣ значится, что нашъ поэтъ родился 26-го (двадцать-шестого) января 1783 года, а крещенъ 30-го того же мѣсяца священникомъ Иваномъ Ивановымъ съ причтомъ. Восприемники, бывшіе при этомъ обрядѣ, въ записи не показаны. Относительно разногласія метрики въ означеніи дня рожденія Жуковскаго съ тѣмъ, что самъ онъ во всю свою жизнь считалъ несомнѣннымъ, можно, кажется, по незначительности разницы, остаться при собственномъ его показаніи 29-го числа, хотя и вѣроятнѣе, что обрядъ крещенія совершенъ былъ спустя нѣсколько дней послѣ рожденія мальчика, а не на слѣдующія же сутки. Что касается матери его, то обазывается, что она жила до 1808 года, слѣдовательно гораздо долѣе, чѣмъ можно было заключать изъ свѣдѣній, сообщаемыхъ въ біографіяхъ поэта, и что при его рожденіи ей было 46 лѣтъ, т. е., что она родилась въ 1736 году, умерла же 72-хъ лѣтъ“.

Мы совершенно раздѣляемъ мнѣніе Я. К. Грота: дѣйствительно, несмотря на эту выписку изъ метрики, не только можно, но и должно оставаться при собственномъ показаніи Жуковскаго и считать попрежнему 29-ое января настоящимъ днемъ его рожденія. Отсутствие въ записи имени воспріемниковъ, что въ настоящемъ случаѣ было особенно важно, такъ какъ надобно было дать ребенку не только имя, но и новую фамилію, вызываетъ даже сомнѣніе—дѣйствительно-ли эта записъ относится въ Жуковскому, а не къ другому мальчику, того же имени, родившемуся около тѣхъ же самыхъ дней. Наконецъ, скорѣе возможно допустить простую описку со стороны сельскаго церковно-служителя, нежели ошибку со стороны Жуковскаго и свидѣтелей его рожденія, которые въ дѣтствѣ поэта не могли такъ грубо ошибаться—на цѣлыхъ четыре дня.

Спб. 12 января, 1883.



ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ НОВОМУ ИЗДАНІЮ.

Карлъ Карловичъ Зейдлицъ окончилъ настоящій свой трудъ еще въ 1868 году. Живя въ Дерптѣ, онъ далъ тогда же свою рукопись, написанную имъ *по-русски*, для просмотра покойному А. А. Котляревскому, занимавшему каѳедру русской словесности въ дерптскомъ университетѣ. По совѣту послѣдняго, авторъ мѣстами сократилъ текстъ и въ такомъ видѣ этотъ трудъ былъ помѣщенъ въ „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ за 1869 годъ, подъ заглавіемъ: „Очеркъ развитія поэтической дѣятельности В. А. Жуковскаго“,—заглавіемъ, предложеннымъ со стороны Котляревскаго и не вполне соответствовавшимъ самому содержанию труда. Къ пропускамъ, сдѣланнымъ уже прежде по рукописи, редація журнала, съ своей стороны, присоединила новые. Все это, вмѣстѣ взятое, навело автора на мысль о болѣе полномъ изданіи своего труда въ нѣмецкомъ переводѣ, который и появился въ свѣтъ въ 1870 году: „Wasily Andrejewitsch Joukoffsky. Ein russisches Dichterleben, von Dr. Carl v. Seidlitz. Mitau“,—а два года спустя, изданіе было повторено.

Несмотря на свои преклонныя лѣта, К. К. Зейдлицъ, въ виду предстоящаго столѣтняго юбилея дня рожденія Жуковскаго, пересмотрѣлъ теперь вновь свою рукопись, и по его желанію и указанію мы сдѣлали тѣ или другія измѣненія и дополненія въ прежнемъ текстѣ. Редакція „Вѣстника Европы“, съ своей стороны, взяла на себя ближайшее наблюденіе за порядкомъ самаго изданія.

Извѣстная книга П. А. Плетнева: „О жизни и сочиненіяхъ Василя Андреевича Жуковскаго“ (Спб., 1853), — въ настоящее время встрѣчается уже рѣдко; да и покойный авторъ и другъ Жуковскаго писалъ вслѣдъ за смертью поэта, а потому не имѣлъ подъ рукою того богатаго матеріала, каковымъ располагалъ К. К. Зейдлицъ. Вотъ почему трудъ послѣдняго является нынѣ, можно сказать, единственною полною біографіею поэта ко дню его перваго столѣтняго юбилея.

Сходясь въ опредѣленіи дня рожденія поэта, его біографы оставались различнаго мнѣнія о годѣ его рожденія. Такъ, Плетневъ (на стр. 16) утверждалъ, что Жуковскій родился 29-го января 1784 года, а въ выноскѣ имъ замѣчено, что „это показаніе основано на словахъ одного собственноручнаго письма Жуковскаго“, — не объяснено, однако—какого? Другой близкій другъ Жуковскаго, А. И. Тургеневъ, въ письмѣ къ Державину, отъ 11-го апрѣля 1811 г., говорилъ, что „Жуковскому 28-й годъ“. Изъ этого слѣдуетъ, что послѣдній родился въ 1783 г., и, хотя въ примѣчаніи къ этому письму (Соч. Державина, 1876, т. VI, стр. 247) Я. К. Гротъ и заявляетъ, что въ собственноручной отмѣткѣ Жуковскаго (въ альбомѣ Кёппена) значится, что годъ его рожденія 1784, но, по его мнѣнію, Жуковскій тутъ самъ ошибся, такъ какъ П. И. Бартевевъ видѣлъ молитвенникъ Маріи Григорьевны

Буниной, гдѣ она своею рукой означала время рожденія дѣтей: тамъ записано ею, что Василій Андреевичъ родился 29-го января 1783 года ¹⁾).

Останавливаясь на томъ же вопросѣ о годѣ рожденія нашего поэта, Шевыревъ („О значеніи Жуковскаго въ русской жизни“ — рѣчь, произнесенная покойнымъ профессоромъ въ торжественномъ собраніи московскаго университета, 12 января 1853 г.) сообщаетъ: „Біографы Жуковскаго предлагаютъ три различные года: 1782, 1783 и 1784. Но всѣ недоумѣнія разрѣшаются собственноручной запиской Жуковскаго, которая была доставлена мнѣ А. И. Кошелевымъ. Этою запискою въ 1851 году поэтъ приглашалъ въ Баденъ-Баденъ любезнаго ему гостя въ день его рожденія. Вотъ слова изъ нея, относящіяся къ вопросу, насъ занимающему: „За 68 лѣтъ передъ симъ, т.е. въ 1783 году января 29-го, случилось, что я родился. Нынче я праздную этотъ день съ моими родными, прошу васъ у насъ отобѣдать и быть за моимъ семейнымъ столомъ представителемъ Россіи“.— „1783-й годъ—замѣчаетъ Шевыревъ далѣе—всегда обозначаемъ былъ годомъ рожденія Жуковскаго, еще при жизни его, такъ, напр., въ „Исторіи Русской Словесности“, Греча,—и Жуковскій не протестовалъ противъ того“.

К. К. Зейдлицъ также утверждаетъ, что Жуковскій родился въ 1783 г.; по его мнѣнію, если Жуковскій и писалъ иногда такъ, что выходило, будто онъ родился въ 1784 г., то это еще ничего не доказываетъ, ибо такія погрѣшности въ исчисленіи годовъ отъ рожденія случаются часто. Въ кругу родныхъ и друзей Жуковскаго, всегда считали годомъ его рожденія 1783. Одно изъ ближайшихъ лицъ къ Жуковскому и вмѣстѣ родная его племянница, Авдотья Петровна Елагина,

¹⁾ „Рус. Архивъ“ 1869 г., стр. 108.

проживавшая послѣдніе два года своей жизни въ Дерптѣ, сама неоднократно говорила намъ, что всѣ прочія показанія невѣрны, и что Жуковскій родился именно 29-го января 1783 года.

Наконецъ, мы получили изъ Штутгарта письмо о. протоіерея Базарова, отъ 29 дек. 1882 г., съ слѣдующимъ объясненіемъ, по тому же самому вопросу:

„М. Г. По поводу вопроса о годѣ рожденія В. А. Жуковскаго, я считаю не лишнимъ сообщить вамъ, что при нашей церкви находятся на этотъ счетъ оффиціальныя документы. Такъ, въ метрической книгѣ здѣшней церкви за 1841 годъ имѣется запись о бракосочетаніи В. А. Жуковскаго съ дѣвицею Рейтернъ, при чемъ жениху выставлено 57 лѣтъ, а невѣстѣ—20. По этому расчету выходило бы, что Жуковскій родился въ 1784 г. Но какъ бракосочетаніе совершено 21 мая 1841 г. на основаніи документовъ, выданныхъ въ 1840 г., гдѣ ему значится 57 лѣтъ, то выходитъ, что годъ рожденія Жуковскаго падаетъ на 1783 г. Въ подлинномъ свидѣтельствѣ, выданномъ изъ Спб. духовной консисторіи, 11 янв. 1841 г., по случаю вступленія въ бракъ, прописано: „Изъ формулярнаго списка д. с. с. В. А. Жуковскаго, за 1840 г., выданнаго 29 ноября 1840 г. изъ департамента народнаго просвѣщенія для представленія духовному началству при вступленіи въ законный бракъ, видно, что отъ роду ему, Жуковскому, 57 лѣтъ“. Такимъ образомъ, нѣтъ сомнѣнія, что годъ рожденія Жуковскаго—1783; числа же и мѣсяца въ этихъ документахъ не показано“.

Изъ личныхъ, ближайшихъ друзей Жуковскаго дожилъ до его столѣтняго юбилея одинъ Карлъ Карловичъ Зейдлицъ,

авторъ настоящей біографіи. Онъ родился 6-го марта 1798 г., въ Ревелѣ, и, слѣдовательно, былъ моложе Жуковскаго на 15 лѣтъ. Докторъ Зейдлицъ, еще студентомъ дерптскаго университета, познакомился съ Жуковскимъ, въ 1815 г., на студенческомъ празднествѣ. Онъ былъ потѣмъ свидѣтелемъ тяжкихъ, пережитыхъ Жуковскимъ дней — въ пріѣзды послѣдняго въ Дерптъ для свиданія съ Маріей Андреевной Протасовой, занимавшей такое важное мѣсто въ судьбѣ поэта, и съ семьей ея. Д-ръ Зейдлицъ всегда оставался преданнымъ другомъ этой семьи и закрылъ глаза Александрѣ Андреевнѣ Воейковой (сестрѣ Маріи Андреевны), скончавшейся въ 1829 г. въ Пизѣ.

До послѣднихъ дней своей жизни Жуковскій былъ съ Карломъ Карловичемъ въ самой дружеской, интимной перепискѣ, постоянно собираясь возвратиться въ Россію, съ тѣмъ чтобы доживать свою жизнь въ Дерптѣ—ближе къ могилѣ „Маши“, а передъ смертью назначилъ своего друга душеприказчикомъ ¹⁾.

Твердо запечатлѣлъ и свято сохранилъ въ сердцѣ своемъ образъ поэта многолѣтній другъ его. Теплымъ вниманіемъ и рѣдкою любовью проникнуто его жизнеописаніе Жуковскаго—литературный памятникъ, поставленный поэту рукою преданнаго и вѣрнаго его друга.

Пав. Висковатый.

Дерптъ.—6 января, 1883.

¹⁾ Болѣе подробныя свѣденія о К. К. Зейдлицѣ помѣщены мною въ январской книгѣ „Русской Старинѣ“, 1883 г., на стр. 190—191. Въ дополненіе къ сказанному тамъ, прибавимъ, что д-ръ Зейдлицъ былъ избранъ, въ 1836 г., профессоромъ терапевтической клиники, при медико-хирургической академіи въ Петербургѣ; въ 1847 г., онъ вышелъ въ отставку и поселился въ Дерптѣ, гдѣ и живетъ до настоящаго времени.—См. ниже, въ „Приложеніи“, извлеченіе изъ неизданной переписки Жуковскаго съ К. К. Зейдлицемъ; по ней можно лучше всего судить о степени близости послѣдняго къ поэту.



ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА.

Болѣ чѣмъ сорокалѣтнее знакомство мое съ Васиціемъ Андреевичемъ Жуковскимъ и съ его ближайшими и дорогими его сердцу родными, а также сношенія, въ которыхъ я, въ качествѣ практическаго врача въ Петербургѣ, состоялъ тогда съ его друзьями,—даютъ мнѣ право думать, что я могъ правильно намѣтить нѣкоторыя черты изъ его жизни. Пусть будущіе біографы поэта присоединятъ, по мѣрѣ возможности, къ сообщаемому мною новыя подробности и оцѣнятъ еще ближе то вліяніе, какое имѣлъ Жуковскій на русскую литературу; что же касается до меня, то я имѣлъ въ виду прежде всего познакомить читателей съ идеально-благороднымъ, чистымъ образомъ чело-вѣка, которому нѣкогда вручено было воспитаніе императора Александра Николаевича, и который пользовался большимъ вниманіемъ и уваженіемъ въ средѣ царской семьи.

Мой очеркъ имѣетъ вмѣстѣ цѣлью служить объясненіемъ и самой поэзіи Жуковскаго. Поэтическія произведенія его служатъ богатымъ источникомъ для его біографіи; къ нимъ я присоединилъ многое изъ его переписки со мною, и особенно—съ племянницей его, Авдотьей Петровной Елагиной, которая обязательно сообщила мнѣ для пользованія свое сокровище. Когда нибудь эти письма будутъ напечатаны вполнѣ,—и русская литература, смѣю думать, получитъ въ нихъ истинное для себя обогащеніе.

Д-ръ К. Зейдлицъ.

Дерптъ.—31-го декабря, 1868.



ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ

1783—1815.





„Лучше бытъ знаменитымъ основателемъ ка-
кого-либо рода, чѣмъ неизвѣстнымъ его потом-
комъ, хотя бы въ тридцать-второмъ колѣнѣ“.

БИОГРАФЪ Василя Андреевича Жуковскаго не можетъ начать ни исчисленіемъ его знаменитыхъ предковъ, ни объясненіемъ его герба; лишь впоследствии времени и самъ онъ узналъ, кто былъ его отецъ, а на перстнѣ у него обыкновенно вырѣзались или лучезарный фонарь, или пчелиный улей, или, наконецъ, турецкая надпись, какъ символъ его личности. Достигнувъ на пути государственной службы чина тайнаго совѣтника и украшенный множествомъ русскихъ и иностранныхъ орденовъ, — при его похоронахъ всѣ эти внѣшніе знаки его дворянства были разложены на шести бархатныхъ подушкахъ, — поэтъ, безъ сомнѣнія, оставилъ своимъ потомкамъ нарядный геральдическій щитъ, но разборомъ его пусть займется знатоки этого дѣла.

Жуковскій родился 29-го января 1783 года ¹⁾ въ селѣ Мишенскомъ, отъ турчанки, попавшейся въ плѣнъ къ русскимъ

¹⁾ Хотя въ одномъ изъ писемъ къ Аннѣ Петровнѣ Зонтагъ, отъ 29-го января 1833 года, Жуковскій, конечно, по ошибкѣ говоритъ: „Нынче мнѣ стукнуло 49 лѣтъ, пошелъ 50-й годъ“, однако, изъ этого нельзя заключить, будто онъ родился въ 1784 году; такія погрѣшности случаются въ исчисленіи годовъ отъ рожденія, особенно при вступленіи въ новый годъ жизни. Всѣмъ ближайшимъ роднымъ Василя Андреевича извѣстно, что онъ родился въ 1783 году, и въ своемъ днев-

при взятіи крѣпости Бендеръ, и воспитывался, какъ родной сынъ, въ домѣ помѣщика Аѳанасія Ивановича Бунина. 1-го февраля, малютку окрестили; воспріемникомъ его былъ кievскій дворянинъ, Андрей Григорьевичъ Жуковскій, другъ семейства Буниныхъ, усыновившій ребенка; отсюда и имя поэта: Василій Андреевичъ Жуковскій, — имя, сдѣлавшееся для Россіи навсегда незабвеннымъ.

Внучка этого самаго Аѳанасія Ивановича Бунина, Анна Петровна Зонтагъ, составившая себѣ и до сихъ поръ всемъ памятное литературное имя, будучи уже сама 80 лѣтъ отъ роду, сообщала письменно князю П. А. Вяземскому подробности о младенствѣ Жуковскаго; эти рассказы, можетъ быть, нѣсколько украшены поэзіей давнишнихъ воспоминаній, но они такъ характеристичны, что мы съ позволенія сестры А. П. Зонтагъ, Авдотьи Петровны Елагиной, рѣшились извлечь изъ нихъ нѣкоторую часть, такъ какъ обстоятельства, поставившія Василія Андреевича Жуковскаго въ среду семейства Буниныхъ, имѣли важное вліяніе на дальнѣйшее развитіе его умственныхъ способностей и душевныхъ качествъ. Извлеченіемъ изъ этого разсказа — мы и начнемъ ¹⁾).

I.

Село Мишенское, одно изъ многихъ помѣстій, принадлежавшихъ Аѳанасію Ивановичу Бунину, находится въ тульской губерніи, въ 3-хъ верстахъ отъ уѣзднаго города Бѣлева. Благодаря живописнымъ окрестностямъ этого имѣнія и близости его къ городу, владѣлецъ избралъ его постояннымъ мѣстопробываніемъ. нижъ онъ пишетъ, 25-го февраля 1813 года: „вотъ мнѣ тридцать лѣтъ“. Въ стихахъ, сочиненныхъ въ день его рожденія въ 1803 году: „Къ моей лярѣ и друзьямъ моимъ“ („Утренняя заря“, II, стр. 169) онъ считаетъ себя двадцатилѣтнимъ.

¹⁾ Будущіе биографы, можетъ быть, найдутъ болѣе любопытнымъ передать безъ сокращенія разсказъ подруги дѣтскихъ забавъ Жуковскаго, чтó составило бы содержаніе для повѣсти въ родѣ сказаній, распространяемыхъ по свѣту о знаменитыхъ людяхъ. Мы приводимъ изъ сообщеній А. П. Зонтагъ только то, что можетъ служить психологическою окраскою для изображенія нашего друга.

для своего семейства и, по тогдашнимъ обычаямъ, обстроилъ и украсилъ его роскошно. Огромный домъ съ флигелями, оранжереями, теплицами, прудами, садками, паркомъ и садомъ, придавалъ особенную прелесть этой усадьбѣ; а обстановка — дубовая роща, ручеекъ въ долину, виды на отдаленные пышные луга и нивы, на близкое село съ церковью, настраивали чувства обывателей къ мирному наслажденію красотой природы. Растительность въ этой сторонѣ отличается чѣмъ-то могучимъ, сочнымъ, свѣжимъ, чего недостаетъ южнымъ черноземнымъ полосамъ Россіи. Весна, разрѣшающая природу отъ суровой зимы, оживляетъ ее скоро и радуется сердце человѣка. Даже самая осень своими богатыми урожаями хлѣбовъ и плодовъ приноситъ такія удовольствія, которыя не могутъ быть испытываемы въ болѣе сѣверномъ, холодномъ климатѣ. Если же мы къ этому припомнимъ старинныя, до нѣкоторой степени патриархальныя, отношенія помѣщиковъ между собою и съ крестьянами, то понятно, что люди, проведеншіе вмѣстѣ юность въ селѣ Мишенскомъ, могли еще въ глубокой старости восхищаться воспоминаніями о минувшемъ житьѣ-бытьѣ.

„Здѣсь все напоминаетъ Жуковского“, — писала Анна Петровна къ князю Вяземскому, — „церковь, гдѣ мы вмѣстѣ молились, рощи и садъ, гдѣ мы гуляли вмѣстѣ, любимый его ключъ *Гремучій* и наконецъ холмъ, на которомъ было переведено первое его стихотвореніе: „Сельское кладбище“, вышедшее въ свѣтъ. Этотъ холмъ сохранилъ названіе: *Грива Элеія*.

Поля, холмы родные,
Родного неба милый свѣтъ,
Знакомые потоки,
Златыя игры первыхъ лѣтъ
И первыхъ лѣтъ уроки,—
Что вашу прелесть замѣнить?“

Сколько пѣсень Жуковского обязаны своимъ существованіемъ воспоминанію объ этомъ мѣстѣ въ пору молодости!

„Все, что на милой родинѣ, здравствуй!“ — пишетъ онъ изъ Дерпта къ Авдотѣ Петровнѣ Елагинной: — „я было-началъ стихи къ родинѣ; въ нихъ „ты“ есть, такъ сказать, Дуняша, и вотъ что ей говорится:

Тамъ небеса и воды ясны!
 Тамъ пѣсни птичекъ сладкогласны!
 О, родина, всѣ дни твои прекрасны!
 Гдѣ бь ни былъ я, но все съ тобою
 Душой.

Ты помнишь ли, какъ подь горою,
 Осеребряемый росюю,
 Свѣтллся лугъ вечернею порою,
 И тишина слетала въ лѣсъ
 Съ небесъ?

Ты помнишь ли нашъ прудъ спокойный
 И тѣнь отъ ивъ въ часъ полдня знойной,
 И надъ водою отъ стада гуль нестройной,
 И въ ловѣ водъ, какъ сквозь стекло,
 Село?

Тамъ на зарѣ пичужка нѣла,
 Даль озарялась и свѣтлѣла,
 Туда, туда душа моя летѣла;
 Казалось сердцу и очамъ
 Все тамъ“.

Поэтъ, даже не родной Бунинымъ, князь И. М. Долгорукий воспѣлъ Мишенскую долину въ своей одѣ, которую посвятилъ Аннѣ Петровнѣ Зонтагъ. Обращаясь къ этой долиנѣ, Долгорукий оканчиваетъ восклицаніемъ:

Дай, сердце, имя ей: — блаженная долина! ¹⁾

• Позже, конечно, Мишенское представляло другое зрѣлище. Эта деревня, послѣ раздѣла между наслѣдниками А. И. Бунина, ничтожнымъ своимъ доходомъ не только не могла поддерживать всѣхъ строеній, оранжерей и прудовъ, но даже не могла прокормить огромной дворни, при ней находившейся. Строеніе сгнило и развалилось; Анна Петровна жила совершенно одна, подь скромною, соломенною кровлей. Пруды, сорвавъ плотины, утекли, садки поросли камышемъ, ручеекъ наполнился тростникомъ, а въ паркѣ дорожекъ уже нѣтъ. Лишь источ-

¹⁾ См. „Вѣстникъ Европа“, 1810, № 9, стр. 299.

никъ, чьи кристально-прозрачныя струи пятнадцатилѣтній Жуковскій сравнивалъ съ безгрѣшнымъ рожденіемъ человѣка ¹⁾), журчить по прежнему.

Аеанасій Ивановичъ Бунинъ, по словамъ всѣхъ знавшихъ его, былъ честнѣйшій, благороднѣйшій и весьма дѣятельный человѣкъ. Жена его, Марья Григорьевна, урожденная Безобразова, соединяла съ рѣдкою добротой души и кротостью необыкновенный умъ. Она была притомъ женщина значительной для своего вѣка образованности и читала все, что тогда печаталось на русскомъ языкѣ, но никакого другого языка не знала. Отъ одиннадцати человѣкъ дѣтей у нихъ остались только четыре дочери, изъ которыхъ двѣ старшія, Авдотья и Наталья, родились въ 1754 и 1756 годахъ; а двѣ младшія, Варвара и Екатерина, въ 1768 и 1770 годахъ. Единственный сынъ, радость и гордость матери, скончался въ 1781 г. во время своего обученія въ лейпцигскомъ университетѣ. Рожденіе младшей дочери, Екатерины Аеанасьевны, совпадаетъ съ Румянцовскими походами противъ турокъ. Мѣщане города Бѣлева и крестьяне помѣщичьи ѣздили за нашею арміею маркитантами. Одинъ изъ крестьянъ села Мишенскаго также собрался въ маркитанты; когда онъ пришелъ проститься съ своимъ бариномъ, старикъ Бунинъ шутя сказалъ ему: «Привези мнѣ, братецъ, хорошенькую турчанку; видишь, жена моя совѣмъ состарѣлась!» Покорный крестьянинъ серьезно понялъ эти слова и въ самомъ дѣлѣ привезъ барину двухъ турчанокъ, родныхъ сестеръ, попавшихъ въ плѣнъ при взятіи крѣпости Бендеръ. Мужъ шестнадцатилѣтней Сальхи былъ убитъ подъ стѣнами Бендеръ, а одиннадцатилѣтняя Фатима скончалась вскорѣ по прибытіи въ Мишенское. Сальха, прекрасная, ловкая, кроткая, добронравная, была няней при маленькихъ дочеряхъ Бунина, Варварѣ и Екатеринѣ Аеанасьевнахъ, которыя учили ее говорить и читать по-русски. Подъ надзоромъ домоправительницы

¹⁾ Въ стихахъ „Жизнь и источникъ“, въ журналѣ: „Пріятное и полезное препровожденіе времени“, часть XX, стр. 280.

она привыкла къ хозяйству. Марья Григорьевна не занималась ничѣмъ, и развѣ только смотрѣла за своими кружевницами; тѣмъ усерднѣе распорядился Аѳанасій Ивановичъ. Онъ замѣтилъ, что Сальха со способностью къ хозяйству соединяетъ пріятную наружность, что ему можно поступить съ турчанкой, какъ поступаютъ съ невольницами на Востокѣ, и что супруга его, конечно, не будетъ за то гнѣваться на него. Последнее однако же оказалось сомнительнымъ, ибо когда по смерти старой домоправительницы Сальха вполне поступила на ея мѣсто, то и Аѳанасій Ивановичъ поселился въ боковомъ строеніи, гдѣ жила Сальха; Марья Григорьевна съ тѣхъ поръ не позволяла болѣе своимъ дочерямъ ходить туда, а турчанка могла являться въ большой домъ только за полученіемъ приказаній. При такихъ обстоятельствахъ, родились у Сальхи одна за другой три дѣвочки, вскорѣ, впрочемъ, умершія.

Старшія дочери, Бунина, вышедшія замужъ, Авдотья — за Дмитрія Ивановича Алымова, и Наталья — за Николая Ивановича Вельяминова, уѣхали съ мужьями. Алымовъ отправился директоромъ таможи въ Кяхту, и Авдотья Аѳанасьевна выпросила у родителей, чтобъ они отпустили туда съ нею и меньшую ея сестру, Екатерину Аѳанасьевну. Такимъ образомъ, Марья Григорьевна, оставшись одна съ последнею дочерью Варварою и оплакивая преждевременную потерю любимаго сына, проводила, конечно, грустные дни въ обширныхъ, опустѣлыхъ, хоромахъ.

Въ то время Сальха, при крещеніи уже названная Елисаветой Дементьевною, снова сдѣлалась беременною и 29-го января 1783 г. родила сына. А. И. Бунинъ уговорился съ своимъ пріятелемъ, Андреемъ Григорьевичемъ Жуковскимъ, давно уже жившимъ у него въ домѣ, чтобы тотъ былъ восприемникомъ новорожденнаго и усыновилъ его. Такъ и было сдѣлано. Дня черезъ два по рожденіи ребенка, Бунинъ уѣхалъ изъ Мишенскаго, а А. Г. Жуковскій явился къ Марьѣ Григорьевнѣ, и объявивъ ей о своемъ намѣреніи, просилъ ее позволить ея дочери, Варварѣ Аѳанасьевнѣ, крестить вмѣстѣ съ нимъ ново-

рожденнаго. Марья Григорьевна согласилась, и такъ какъ Варенькѣ во флигель ходить отнюдь не позволялось, то и велѣла принести купель и ребенка въ свою спальню и окрестить его при себѣ. Кто знаетъ женское сердце, тотъ пойметъ, что Марья Григорьевна, одиннадцать разъ испытывшая радостное чувство отъ перваго младенческаго крика, при видѣ безпомощнаго мальчика, вспомнила объ утратѣ собственнаго сына и съ растроганнымъ сердцемъ приняла живое участіе въ священномъ обрядѣ и въ самомъ младенцѣ. Съ этого мгновенія она безмолвно усыновила его въ своей душѣ. Съ тѣхъ поръ «Васенька» сдѣлался любимцевъ всей семьи. Къ нему приставили кормилицу, маму, няню,—однимъ словомъ, онъ пользовался всѣми правами роднаго дитяти. Малютка сталъ не только предметомъ материнскаго ухода со стороны Марьи Григорьевны, но и примирительнымъ звеномъ между большимъ и малымъ домами. Проникнутая глубокою благодарностью за попеченіе, оказываемое ей ребенку, Елисавета Дементьевна привязалась со всею преданностью турецкой невольницы къ Марьѣ Григорьевнѣ, и то обстоятельство, что Аеанасій Ивановичъ снова поселился въ большомъ домѣ, доказываетъ, что въ семействѣ Буниныхъ водворился миръ.

Варвара Аеанасьевна воспитывалась въ деревнѣ, имѣла большія музыкальныя дарованія, играла на фортепіано и пѣла очень изрядно. Андрей Григорьевичъ Жуковскій игралъ хорошо на скрипкѣ, часто аккомпанировалъ Варварѣ Аеанасьевнѣ и, сверхъ того, тщательно занимался богослужебнымъ пѣніемъ въ домѣ и въ церкви. Въ старину нерѣдко у богатыхъ помѣщиковъ проживали бѣдные родные или пріятели изъ дворянъ, почитаясь какъ бы членами семейства. Такъ и Андрей Григорьевичъ былъ у Буниныхъ домашнимъ другомъ, котораго всѣ любили и уважали. Будучи крестнымъ отцомъ Васеньки, онъ очень привязался къ нему. Мальчикъ, впрочемъ, порядкомъ баловался среди множества домашней женской прислуги; одной Елисаветѣ Дементьевнѣ онъ безсознательно давалъ право бранить и журить себя за шалости.

Когда въ 1785 году Варвара Аѳанасьевна вышла замужъ за Петра Николаевича Юшкова и отправилась въ Тулу, домъ Марьи Григорьевны опять какъ бы опустѣлъ. Воспользовавшись преждевременнымъ рожденіемъ дочери у Варвары Аѳанасьевны, Марья Григорьевна съ удовольствіемъ взяла эту слабую, едва живую дѣвочку къ себѣ въ деревню. Когда же вскорѣ послѣ этого старшая дочь ея, Наталья Аѳанасьевна Вельяминова, скончалась въ родахъ, бабушка взяла на свое попеченіе и ея ребенка, также дѣвочку. Маленькій Васенька тщательно подражалъ заботамъ бабушки о ея питомицахъ и подь конецъ жизни еще называлъ Анну Петровну Зонтагъ — эту нѣкогда едва живую дѣвочку — своею одноколыбельницей, припоминая, какъ они качались въ одной люлькѣ. Такъ, уже съ самой нѣжной юности онъ наслаждался счастіемъ любить и быть любимымъ, что имѣло вліяніе на всю нравственную его жизнь.

Когда Васенькѣ минуло шесть лѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ выписалъ для него изъ Москвы наставника изъ нѣмцевъ, котораго вмѣстѣ съ его воспитанникомъ помѣстили во флигелѣ, гдѣ жилъ и Андрей Григорьевичъ. Къ сожалѣнію, оказалось, что учитель, памятный Якимъ Ивановичъ, почиталъ главными педагогическими средствами розги и другое наказаніе — ставить своего питомца голыми колѣнями на горохъ. Васенька, избалованный любимецъ всего дома, поднялъ страшный крикъ при первомъ примѣненіи такого способа воспитанія. Крестный отецъ и Марья Григорьевна не могли перенести подобной суровости обхожденія. Якима Ивановича посадили въ кибитку и отправили въ Москву, въ ту самую портняжную мастерскую, откуда онъ выступилъ на поприще воспитателя. Послѣ этого Андрей Григорьевичъ самъ пытался посвятить своего крестника въ тайны славянской грамоты; но она очень трудно давалась Васенькѣ. Вмѣсто черченія буквъ на аспидной доскѣ, онъ рисовалъ мѣломъ на столѣ и на полу разныя рожи: причина, почему, можетъ быть, почеркъ его остался навсегда дурнымъ.

Кстати, мы должны упомянуть тутъ объ анекдотѣ, расска-

занномъ Анною Петровной Зонтагъ, потому что онъ указываетъ на религиозный характеръ людей, окружавшихъ въ дѣтствѣ нашего поэта. Подобный же анекдотъ мы сообщимъ и ниже, въ другомъ мѣстѣ. Оба служатъ къ объясненію набожнаго настроенія духа Василя Андреевича въ продолженіе всей его жизни. Однажды образъ Боголюбской Божіей Матери принесенъ былъ изъ церкви и поставленъ прямо противъ двери въ комнатѣ Елисаветы Дементьевны. Она ушла куда-то по хозяйству, оставивъ дверь настежь. Горничныя всѣ ушли обѣдать. Маленькій пятилѣтній Васенька усѣлся въ дѣвичьей на полу и принялся срисовывать образъ, стоявшій въ горницѣ его матери. Никто этого не видалъ. Окончивъ свою работу, онъ пришелъ въ гостиную къ Марьѣ Григорьевнѣ. Служанки, возвратившись, съ удивленіемъ увидѣли на полу изображеніе иконы. Творя молитву и крестясь, онѣ прибѣжали къ Марьѣ Григорьевнѣ и объявили, что икона святой Владычицы сама собою отразилась на полу дѣвичьей. Марья Григорьевна, истинно благочестивая, но несколько не суевѣрная, взяла мальчика за руку и вмѣстѣ съ нимъ отправилась взглянуть на чудо. Всѣ дѣвушки стояли въ благоговѣйномъ молчаніи, смотря на сдѣланный мѣломъ рисунокъ. Марья Григорьевна, замѣтивъ замаранную мѣломъ руку мальчика, смекнула, въ чемъ дѣло, и дала настоящее объясненіе случившемуся. Дѣвушки, къ своему огорченію, должны были стереть изображеніе съ полу.

Все семейство имѣло обыкновеніе ѣздить на зиму въ Москву съ цѣлою толпой лакеевъ, поваровъ, домашнею утварью и припасами. Возвращались въ деревню обыкновенно по послѣднему зимнему пути. Но такъ какъ Аѳанасій Ивановичъ опредѣлился на какую-то должность въ Тулѣ, то онъ принужденъ былъ со всѣмъ переселиться, вмѣстѣ съ семействомъ, въ городъ. Тамъ былъ очень хорошій пансіонъ, содержимый Христофоромъ Филиповичемъ Роде. Васеньку стали посылать въ это училище полупансіонеромъ, и сверхъ того былъ нанятъ репетиторъ для повторенія уроковъ на дому. Но все-таки занятія эти подвигались какъ-то туго впередъ. Черезъ годъ послѣ водворенія

Буниныхъ въ Тулѣ, Аѳанасій Ивановичъ заболѣлъ и скончался (въ мартѣ 1791 г.). По духовному завѣщанію онъ назначилъ имѣніе дочерямъ, предоставивъ женѣ пользоваться всѣмъ пожизненно. Жуковскому и матери его онъ не назначилъ ничего, но поручилъ ихъ на смертномъ одрѣ — женѣ своей. Она обѣщала никогда не разставаться съ Елисаветой Дементьевной, а Васеньку воспитывать какъ своего сына. Кромѣ того, она отдѣлила отъ дочернихъ долей по 2,500 руб. съ каждой для составленія капитала Василию Андреевичу. И она свято сдержала свое слово.

Въ теченіе цѣлаго года въ Мишенскомъ была отправляема ежедневная заупокойная служба по Аѳанасію Ивановичу. При этомъ, — рассказываетъ Анна Петровна Зонтагъ, — она, съ Васенькой и съ бабушкой, всякій день ходила къ обѣднѣ. На царскихъ дверяхъ церкви довольно низко находился рѣзной херувимъ. Послѣ херувимской пѣсни, когда затворяютъ царскія врата, Васенька поставилъ себѣ обязанностью цѣловать этого херувима, ведя притомъ за собою и Анну Петровну. А такъ какъ дѣвочка была еще очень мала, то онъ приподнималъ ее, чтобъ она могла приложиться къ изображенію херувима.

Возвратясь осенью въ Тулу, Васенька поступилъ полнымъ пансіонеромъ въ учебное заведеніе Роде, а по субботамъ привозили его домой. Такъ какъ семейство весной опять переѣзжало въ деревню и оставалось тамъ до осени, то легко можно представить себѣ, что обученіе ребенка не имѣло настоящей связи и послѣдовательности. Зато всѣ внучки Марьи Григорьевны, три дочери Вельяминовыхъ, четыре дочери Юшковыхъ и дѣвочки изъ сосѣдства, составляли дѣтскій кружокъ, въ которомъ среди игръ или прогулокъ по лугамъ и рощамъ, умственные и душевныя способности развивались не хуже, чѣмъ въ школьныхъ занятіяхъ. Васенька былъ единственнымъ мальчикомъ среди этого женскаго общества; его любили и взрослые, и дѣти; ему охотно повиновалась вся женская фаланга; рано начало у него разыгрываться воображеніе для изобрѣтенія игръ и шалостей. Онъ даже ставилъ своихъ подругъ во фронтъ, заставлялъ

ихъ маршировать и защищать укрѣпленія, а при случаѣ называлъ непокорныхъ линейкой и сажалъ подъ арестъ между креслами. На зиму весь караванъ тянулся опять въ Тулу, и это повторялось еще года два, пока Марья Григорьевна не отдала Васеньку и Анну Петровну для болѣе постоянныхъ занятій науками въ Тулу—къ Варварѣ Аванасьевнѣ Юшковой.

Между тѣмъ, младшая дочь Аванасія Ивановича, Екатерина Аванасьевна, возвратившись изъ Кяхты въ Мишенское вмѣстѣ съ сестрой, Алымовой (которая не имѣла дѣтей и разошлась съ мужемъ), жила то у матери, то у сестры Варвары Аванасьевны, довершая свое образованіе, прерванное восьмилѣтнимъ пребываніемъ ея на китайской границѣ ¹⁾). Для нея, одаренной необыкновеннымъ умомъ и твердымъ характеромъ, не были потеряны годы, проведенные въ Сибирѣ въ семействѣ, члены котораго не содѣйствовали ея счастью. У нея сложились очень самостоятельныя и строгія нравственныя правила, и она крѣпко придерживалась того, что признавала за правду-истину,—качество души, которое при извѣстныхъ обстоятельствахъ иногда можетъ переродиться въ упрямство. Имѣвъ счастье быть съ нею коротко знакомымъ до конца ея жизни и даже любимымъ ею, я могу судить о рѣдкихъ ея достоинствахъ, о чемъ послѣ буду говорить подробнѣе. Жуковский, будучи 13-ю годами моложе ея, звалъ ее долгое время теткой и маменькой, пока, наконецъ, не началъ называть сестрицей, и всегда говорилъ ей *вы*, между тѣмъ какъ она говорила ему *ты*.

Когда кончился годъ траура по А. И. Бунинѣ, Екатерина Аванасьевна вышла замужъ за Андрея Ивановича Протасова и поселилась въ орловской губерніи, гдѣ мужъ ея былъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства.

¹⁾ Въ Сибири у нея было одно чтеніе: „La Nouvelle Héloïse“, которую она знала почти наизусть, и, кромѣ того, сентиментальная книга о воспитаніи: „Adèle et Théodore“. Обстоятельства докончили воспитаніе ея, и, можно сказать, — внослѣдствіи она стала совершенно иною, нежели какою была въ юности. Одни знали ее „когда она была совсѣмъ не набожна, не постилась никогда, не любила ходить въ церковь“, а я помню, что не только она сама охотно посѣщала богослуженіе, но и дѣтей своихъ любила сопровождать въ церковь.

Въ Тулѣ пансіонъ Роде уже болѣе не существовалъ; Жуковскій началъ посѣщать народное училище; французскимъ же и нѣмецкимъ языками занимался дома вмѣстѣ съ дѣвцами Вельяминовыми и Юшковыми. Въ школѣ ученіе опять пло туго, такъ что главный наставникъ. Теофилактъ Гавриловичъ Покровскій, исключилъ его «за неспособность». Съ тѣхъ поръ Вася пользовался домашними уроками, потому что въ домѣ Варвары Аѳанасьевны было много гувернантокъ, учителей и дѣтей разныхъ возрастовъ, но опять — по преимуществу, женскаго пола. Тамъ было четыре дочери Юшковыхъ, одна родственница Бунина, одна бѣдная дворянка Сергѣева, еще три дѣвочки и три взрослые дѣвицы, лѣтъ по 17,—всего 16 чело вѣкъ, и одинъ только мальчикъ, сынъ доктора Риккера. Разумѣется, ихъ ученію недоставало надлежащей, солидной основы, хотя Покровскій, котораго Анна Петровна называетъ чело вѣкомъ положительной учености, самъ давалъ уроки.

Въ домѣ Юшковыхъ собирались всѣ обыватели города и окрестностей, имѣвшіе притязаніе на высшую образованность. Варвара Аѳанасьевна была женщина по природѣ очень изящная, съ необыкновеннымъ дарованіемъ къ музыкѣ. Она устроила у себя литературные вечера, гдѣ новѣйшія произведенія школы Карамзина и Дмитріева, тотчасъ же послѣ появленія своего въ свѣтъ, дѣлались предметомъ чтеній и сужденій. Романами—руская словесность не могла въ то время похвалиться. Потребность въ произведеніяхъ этого рода удовлетворялась лишь сочиненіями французскими. Романы Нелединскаго повторялись съ восторгомъ. Музыкальные вечера у Юшковыхъ превратились въ концерты; Варвара Аѳанасьевна занималась даже управленіемъ тульскаго театра. Тутъ-то собственно литературное настроеніе и привилось къ Жуковскому, а также и къ Юшковымъ, Аннѣ и Авдотѣ Петровнамъ. Первая (впослѣдствіи, Зонтагъ) сдѣлалась извѣстна изложеніемъ священной исторіи и рассказами для дѣтей; послѣдняя (позже, Елагина), подъ именемъ Петерсонъ, напечатала нѣсколько переводныхъ статей въ журналахъ. Василій Андреевичъ еще на 12-мъ году отъ рожденія отва-

жился на составленіе и постановку первой своей трагедіи. Поводомъ къ этому было обѣщаніе Марьи Григорьевны пріѣхать на зиму 1795 года въ Тулу — погостить у дочери Варвары Аванасьевны. Жуковскій къ этому пріѣзду готовилъ большой праздникъ. Онъ написалъ трагедію: «Камилль, или освобожденіе Рима», избралъ для себя роль героя пьесы, нарядилъ всѣхъ ученицъ домашняго пансіона, отъ 17-ти-лѣтняго возраста до трехлѣтней Катерины Петровны, въ одежды римскихъ консуловъ и сенаторовъ. и, разумѣется, какъ авторъ и актеръ, увѣнчался полнымъ успѣхомъ. Анна Петровна на 70-мъ году жизни съ восхищеніемъ рассказывала о всѣхъ подробностяхъ приготовленій къ спектаклю и о самомъ представленіи. Общій восторгъ такъ польстилъ Жуковскому, что онъ немедленно принялся за новую піесу: «Павель и Виргинія». Но ожидавшееся трогательное впечатлѣніе на зрителей не сбылось, артисты не поняли своихъ ролей, и вторая трагедія молодого сочинителя потерпѣла fiasco!

Не знающему отличительныхъ чертъ поэтическаго генія въ Жуковскомъ, можетъ показаться, что эти раннія литературныя его попытки служили предзнаменованіемъ отличнаго драматическаго дарованія. Такъ было съ Гёте и Шиллеромъ. Но такъ бываетъ не всегда. Жуковскій на всю свою жизнь остался ревностнѣйшимъ любителемъ сценическихъ произведеній, превосходно перевелъ Шиллерову «Орлеанскую Дѣву», но ни самостоятельной комедіи, ни трагедіи послѣ него не осталось ¹⁾. Ему недоставало того наблюдательнаго взгляда, которымъ драматическій авторъ, проникая въ глубину человѣческаго сердца, обнимаетъ житейскія дѣла. Первая литературная неудача подействовала на Жуковскаго рѣшительно. Онъ сохранялъ долго послѣ того какую-то робость и не спѣшилъ предавать свои сочиненія гласности, представляя ихъ напередъ на строгое обсужденіе избранному кругу своихъ подругъ и друзей. Нѣж-

¹⁾ Для представленій на домашнемъ театрѣ у Плещеевыхъ Жуковскій сочинялъ кое-какія комедіи, но не печаталъ ихъ.

ная критика самаго содержанія его произведеній и природное чутье изящной формы со стороны дѣвственнаго ареопага, который окружалъ поэта, направили его на путь цѣломудренной и задумчивой лирики, и впоследствии благородство и образованность сотрудниковъ его на литературномъ поприщѣ не допустили его до нерадѣнія относительно правилъ нравственныхъ и эстетическихъ ¹⁾. Сочиненія, не получившія одобренія отъ его пріятелей или даже пріятельницъ, были измѣняемы или устраняемы вовсе. Вотъ почему муза Жуковскаго являлась намъ всегда облеченною въ идеальную красоту, а его требованія относительно личной непорочности поэта сдѣлались весьма строгими.

Не даромъ Пушкинъ, въ недавно найденныхъ строфахъ «Евгенія Онѣгина», вспоминая о Жуковскомъ и о его влияніи на него, такъ опредѣлилъ характеръ пѣвца «Свѣтланы»:

И ты, глубоко вдохновенный,
 Всего прекраснаго пѣвецъ,
 Ты, идолъ дѣвственныхъ сердець,
 Не ты-ль пристрастьемъ увлеченный,
 Не ты-ль мнѣ руку подавалъ,
 И къ славѣ чистой призывалъ ²⁾.

II.

Родные хотѣли опредѣлить Василю Андреевича въ какой-нибудь полкъ. Одинъ знакомый, майоръ Дмитрій Гавриловичъ Постниковъ, вызвался записать его въ рязанскій полкъ, стоявшій гарнизономъ въ городѣ Кексгольмѣ. Постниковъ даже уѣхалъ туда съ мальчикомъ; но проживъ нѣсколько недѣль въ Кексгольмѣ и проѣздивъ мѣсяца четыре, майоръ возвратился въ Тулу отставнымъ подполковникомъ, не записавъ Жуковскаго, но только остригши ему его прекрасные длинные во-

¹⁾ Подобный „ареопагъ“ составляли впоследствии времени А. И. Тургеневъ, Блудовъ, Вяземскій, Дашковъ, Батюшковъ и др.

²⁾ „Вѣстн. Европы“, 1883, янв., стр. 8.

лосы, о которыхъ Варвара Аванасьевна и всѣ дѣвицы въ домѣ очень жалѣли.

Послѣ того Жуковскій оставался еще нѣсколько времени дома; но въ январѣ 1797 года Марія Григорьевна поѣхала съ нимъ въ Москву и помѣстила его въ университетскій благородный пансіонъ ¹⁾.

Для Жуковского наступала теперь пора выступить изъ женскаго, хотя и родного, круга. Въ Москвѣ началась для него новая жизнь среди юношей, сверстниковъ, одаренныхъ наилучшими качествами ума и сердца. Благородный университетскій пансіонъ былъ учрежденъ въ 1770 году кураторомъ университета, извѣстнымъ писателемъ Михаиломъ Матвѣевичемъ Херасковымъ, съ цѣлью воспитанія въ немъ дѣтей дворянскаго сословія. При поступленіи въ заведеніе, дѣти, отъ 8 до 14 лѣтъ, должны были по крайней мѣрѣ умѣть читать и писать по-русски. Полные пансіонеры (то-есть, пользовавшіеся въ пансіонѣ помѣщеніемъ и содержаніемъ) платили по 275 руб. въ годъ. За приходившихъ только на уроки и обѣдавшихъ въ заведеніи вносилось 175 р. Смотря по классамъ, преподавались языки: латинскій, русскій, французскій, англійскій и нѣмецкій; изъ наукъ—философія, исторія, математика, физика и словесность. Къ средствамъ образованія причислялись также военныя упражненія, представленія театральныя, концерты и танцы. Преподаваніемъ наукъ въ пансіонѣ занимались профессора университета и особые учителя. Лѣтомъ пансіонеры отправлялись на нѣсколько недѣль въ лагерь, гдѣ они безъ различія классовъ упражнялись въ военныхъ приемахъ и маневрахъ. Уставомъ было предписано—удаляться какъ отъ педантизма, такъ и отъ поверхностныхъ занятій. Въ словесномъ отдѣленіи, куда поступилъ Жуковскій, обращалось особенное вниманіе на изученіе языковъ. Воспитанники должны были не только читать на иностранныхъ языкахъ, но и употреблять ихъ въ разговорахъ; при переводахъ, не столько

¹⁾ Этими событіемъ оканчиваются воспоминанія А. П. Зонтага о дѣтствѣ поэта.

гоняться за словами, сколько передавать по-русски смыслъ и красоту слога. Въ учителя отечественнаго языка избирались писатели, сочиненія которыхъ пользовались лучшею извѣстностью. Ученики этого отдѣленія собирались разъ въ недѣлю съ цѣлью читать въ слухъ свои сочиненія и переводы, которые потомъ критически разбирались учителями и товарищами. Одобренныя статьи обыкновенно появлялись въ какомъ-либо мелкомъ журналѣ. Въ періодическихъ изданіяхъ: «Пріятное и полезное препровожденіе времени», «Утренняя Заря» и т. п. можно найти нѣсколько подобныхъ произведеній, доставленныхъ воспитанниками, заслужившими вполнѣмъ почетныя имена въ литературѣ. Ученикамъ старшихъ классовъ дозволялось посѣщать лекціи университетскія, что давало имъ при вступленіи въ службу права дѣйствительнаго студента.

Это заведеніе соотвѣтствовало какъ нельзя лучше познаніямъ, наклонностямъ и дарованіямъ Жуковскаго. Оттуда вышло много весьма замѣчательныхъ людей, и довольно упомянуть имена однихъ товарищей Жуковскаго, учившихся въ его время въ пансіонѣ, чтобы признать плоды Херасковскаго учрежденія превосходными и богатыми. Товарищами Жуковскаго были: братья Александръ и Андрей Тургеневы, Дм. Н. Блудовъ, Дм. В. Дашковъ, С. С. Уваровъ. А какое значеніе личность Жуковскаго, развитая и поддержанная общеніемъ съ этими его друзьями, имѣла вполнѣмъ времени, когда онъ былъ любимымъ наставникомъ государя наслѣдника (покойнаго государя императора Александра Николаевича) и великихъ княженъ,— это выяснилось теперь вполнѣ, благодаря трудамъ «Русскаго Историческаго Общества», издавшаго, въ двухъ томахъ, обширный сборникъ, подъ заглавіемъ: «Годы ученія Е. И. В. Государя Наслѣдника Цесаревича Александра Николаевича»¹⁾.

Впрочемъ, то время, когда нашъ поэтъ вступилъ въ новый періодъ своей жизни въ Москвѣ, было не совсѣмъ обыкновенное. Москва, послѣ смерти императрицы Екатерины II, притихла

¹⁾ „Сборникъ И. Р. Историч. Общества“, тт. XXX и XXXI Слб. 1881.

и приуныла; не замѣтно было въ ней ни обычнаго разгула, ни даже веселыхъ лицъ. Если и давались иногда праздники, то развѣ по приказу, и туда являлись не для веселья, а страха ради, чтобы не подпасть отвѣтственности за ослушаніе. Первопрестольная столица была тогда наполнена людьми, дѣйствительно замѣчательными, и временщиками предшествовавшаго царствованія. Они находились въ опалѣ, но были счастливы, избѣжавъ изгнанія болѣе отдаленнаго. Назовемъ, на примѣръ, фельдмаршала Каменскаго, бывшаго канцлера Остермана съ его братомъ, П. Д. Еропкина, князя Ю. В. Долгорукаго, князя Голицына, братьевъ Куракиныхъ. Всѣ они, какъ и самый городъ, находились подъ строгимъ надзоромъ оберъ-полиціймейстера Эртеля ¹⁾. Въ образованныхъ кругахъ общества мечтали еще о «правахъ человѣка» и «человѣколюбіи», которыя, казалось, должны были возникнуть изъ переворотовъ, происшедшихъ во Франціи; а между тѣмъ, со вступленіемъ на престолъ императора Павла I, каждое лицо, чѣмъ образованнѣе, чѣмъ знатнѣе оно было, тѣмъ болѣе испытывало на себѣ весь неуклюжій гнетъ пронырливой, вездѣ подслушивавшей, подозрительной полиціи. Сношенія съ внѣшнимъ міромъ были преграждены. Всѣ желанія, размышленія, свѣдѣнія о случавшихся происшествіяхъ должны были укрываться въ тѣсномъ кругу семьи или вѣрныхъ знакомыхъ. Взгляды на жизнь получали отъ того отвлеченный характеръ, рѣзко противоположный съ прозаическою дѣйствительностью. Такъ и было въ тѣхъ кругахъ, гдѣ Новиковъ, Карамзинъ, Дмитриевъ—блистали свѣтозарными звѣздами литературы и истиннаго просвѣщенія. Скромная литературная дѣятельность, была тогда единственнымъ дозволеннымъ развлеченіемъ. Такъ какъ ввозъ иностранныхъ книгъ былъ строго запрещенъ, то старались удовлетворять настоятельной потребности въ этомъ смыслѣ либо контрабандой, либо переводами на русскій языкъ. Самъ Карамзинъ, въ послѣдніе годы царствованія Екатерины II

¹⁾ Е. П. Ковалевскій: «Графъ Д. Н. Блудовъ и его время». Слб. 1866.

давший новое движеніе литературѣ своими оригинальными произведеніями въ сантиментальномъ вкусѣ, въ царствованіе Павла I долженъ былъ ограничиться переводами—въ томъ же однако сантиментальномъ направленіи. Мы видѣли, какъ Жуковский, еще ребенкомъ въ домѣ Варвары Аванасьевны Юшковой, совершенно безсознательно увлекался такимъ литературнымъ стремленіемъ современной эпохи. Съ переселеніемъ въ Москву, и особенно поступивъ въ университетскій пансіонъ, онъ попалъ въ самую среду дѣятелей этой школы. Юшковы и Бунины были дружны съ семействомъ директора заведенія, Ивана Петровича Тургенева ¹⁾, вниманіе котораго обратилъ на себя Жуковский прилежаніемъ и даровитостью. Лично онъ здѣсь познакомился съ тѣми людьми, которыхъ прежде читилъ только по наслышкѣ. Сыновья Тургенева, Андрей и Александръ Ивановичи, вмѣстѣ съ другими тогда еще бодрыми и веселыми товарищами, выше нами упомянутыми, внушили ему чувство горячей привязанности. За идиллическою жизнью въ селѣ Мишенскомъ послѣдовали тѣ близкія дружескія связи, которыя такъ могущественно вліяютъ на развитіе душевныхъ силъ.

Первыми плодами умственного и нравственного образованія Жуковского въ этомъ кружкѣ можно считать статьи и стихотворенія, напечатанныя имъ въ разныхъ мелкихъ журналахъ во время пятилѣтняго его пребыванія въ пансіонѣ. Онъ не считалъ ихъ достойными помѣщенія въ разныхъ изданіяхъ своихъ стихотвореній; но мы должны упомянуть о нихъ, чтобы видѣть первые литературные шаги нашего поэта.

Въ первый годъ пребыванія Жуковского въ пансіонѣ—ему было тогда 14 лѣтъ — въ журналѣ «Пріятное и полезное препровожденіе времени» (часть XVI) была уже напечатана статья его въ прозѣ: «Мысли у могилы», съ подписью: «Сочинилъ благороднаго университетскаго пансіона воспитанникъ Василій Жуковской». Второе произведеніе Жуковского, уже въ стихахъ: «Майское утро»—подписано просто: «Василій Жуковской».

¹⁾ Онъ былъ масономъ, членомъ «Дружескаго ученаго общества» и „Типографической компаніи“—пріятелемъ Новикова.

На торжественномъ актѣ университетскаго пансіона въ 1798 году ему было поручено произнести рѣчь (она была напечатана только въ 1847 году, въ «Москвитяинѣ», ч. III, стр. 66—72). Въ вышеупомянутомъ журналѣ, въ томъ же году, мы находимъ еще стихи Жуковскаго: «Добродѣтель», и статьи въ прозѣ: «Миръ и война» и «Жизнь и источникъ». Въ 1799 году, Жуковскій перевелъ статью о сочиненіяхъ Леонарда изъ «Spectateur du Nord» и написалъ стихи М. М. Хераскову; въ 1800 году—«Стихи на новый годъ»; «Могущество, слава и благоденствіе Россіи»; «Къ Тибуллу»; и въ прозѣ: «Къ надеждѣ», «Мысли на кладбищѣ», «Истинный герой», «Добродѣтель»; въ 1801 году—стихи «Платону неподражаемому, достойно славящему Господа».

Въ пансіонѣ содержали Жуковскаго Марья Григорьевна Бунина и Петръ Николаевичъ Юшковъ, но карманныхъ денегъ ему давали мало. Онъ долженъ былъ умножать ихъ своими литературными трудами. Очень встали приписли ему требованія книгопродавцевъ на легко сходящіе съ рукъ товары, а именно, на переводы съ нѣмецкаго и съ французскаго. Книгопродавцы платили за переводъ по тогдашнему очень дорого: они давали Жуковскому и деньги, и иностранныя книги, которыхъ не смѣли держать въ своихъ лавкахъ, а брали изъ библиотекъ людей высшаго круга. Въ 1801 году, онъ перевелъ романъ Коцебу: «Die jüngsten Kinder meiner Laune», который онъ называлъ, неизвестно почему, — „Мальчикъ у ручья“. Книгопродавецъ Зелениновъ заплатилъ ему за 4 части 75 рублей. Вслѣдъ за тѣмъ, онъ удачно перевелъ еще многіе романы Шписа и весь театръ Коцебу. Въ пору лѣтнихъ ваканцій Жуковскій привозилъ эти свои труды въ Мишенское, гдѣ между старыми и молодыми слушателями находилъ самыхъ внимательныхъ поклонниковъ и поощрителей своей литературной дѣятельности. Кромѣ того, во время прогулокъ, онъ неутомимо читалъ въ слухъ дѣвцамъ Юшковымъ и Вельяминовымъ—французскія книги, какъ-то: «De la pluralité des mondes», Фонтенелля; «Études sur la nature» Бернарден-де-Сенъ-Пьера и т. п.

По окончаніи студентскаго экзамена, Жуковский опредѣлился въ московскую контору соляныхъ дѣлъ (должность, надъ которою онъ впоследствии часто потѣшался); но уже въ 1802 году онъ вышелъ въ отставку и возвратился въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ Мишенское.

Ему хотѣлось — самостоятельными занятіями приготовить себя къ литературному поприщу, и библіотека, приобретенная въ Москвѣ, оказала ему въ этомъ отношеніи существенную услугу. Въ списокѣ книгъ его мы видимъ, кромѣ большой французской Энциклопедіи Дидеро, множество французскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ историческихъ сочиненій, переводы греческихъ и латинскихъ классиковъ, стихотворенія и другія произведенія изящной словесности на иностранныхъ языкахъ, полныя изданія Шиллера, Гердера, Лессинга и проч. Все это давало матеріалъ для дальнѣйшаго его самообразованія.

Прежде Жуковский посылалъ свои стихи въ мелкіе журналы, а переводы въ прозѣ безъ подписи имени предоставлялъ на волю издателямъ. Теперь онъ вознамѣрился предпринять что-нибудь для славившагося въ то время журнала Карамзина, — «Вѣстникъ Европы». Онъ перевелъ элегію Грея: «Сельское кладбище». Все мишенское общество молодыхъ дѣвушекъ съ біеніемъ сердца ожидало, приметъ ли Карамзинъ это стихотвореніе, или нѣтъ, для напечатанія въ журналѣ. Элегія была писана на ихъ глазахъ; холмъ, на которомъ Жуковский черпалъ свои вдохновенія, сдѣлался для нихъ Парнассомъ; стихи вызвали ихъ безусловное одобреніе; неоставало одного — выгоднаго отзыва Карамзина, этого «Зевса на литературномъ Олимпѣ»¹⁾, и этотъ верховный судья на Парнассѣ похвалилъ стихотвореніе и напечаталъ его въ VI книгѣ своего журнала, съ полнымъ означеніемъ имени Жуковскаго, перемѣнивъ окончаніе *ой* на *ей*: съ тѣхъ поръ и самъ Жуковской сталъ подписываться Жу-

¹⁾ Изученіе мнѳологіи составляло важную часть тогдашняго образованія. Авдотья Петровна Елагина, будучи не старше 10-ти лѣтъ (въ 1799), въ письмахъ называла Жуковскаго: *Юпитеръ моего сердца*.

ковскій ¹⁾. Очень понятно, что эта удача произвела глубокое впечатлѣніе не только на весь мишенскій кругъ, но и на самого поэта. Прежнія его произведенія какъ-будто перестали существовать для него; даже въ послѣднемъ изданіи своихъ сочиненій (1849 года) онъ говоритъ объ этой элегии слѣдующее:

„Греева элегія переведена мною въ 1802 году и напечатана въ „Вѣстникѣ Европы“, который въ 1802 и 1803 гг. былъ издаваемъ Н. М. Карамзинымъ. Это мое первое напечатанное стихотвореніе. Оно было посвящено тогда Андрею Ивановичу Тургеневу“ (умершему въ 1803 году) ²⁾.

Анна Петровна Зонтагъ также назвала въ своемъ письмѣ къ князю Вяземскому Грееву элегію первымъ напечатаннымъ стихотвореніемъ своего друга. Въ изданіи стихотвореній 1824 г. Жуковскій относитъ эту элегію къ 1801 г., а въ послѣднемъ изданіи—къ 1802, что и вѣрно. Этотъ годъ онъ самъ обозначаетъ, какъ эпоху своего поэтического рожденія, и привѣтствуетъ 29-е января 1803 года торжественнымъ гимномъ, «сочиненнымъ въ день моего рожденія къ моей лирѣ и къ друзьямъ моимъ» ³⁾, поставивъ тѣмъ какъ бы путеводную вѣху на избранной имъ дорогѣ литературной жизни. По этому и мы должны подробнѣе рассмотреть это произведеніе.

По словамъ П. А. Плетнева ⁴⁾, «Сельское кладбище» сразу поставило Жуковского въ ряды лучшихъ поэтовъ русскихъ. Карамзинъ, на другой годъ по напечатаніи этого стихотворенія, говоря о Богдановичѣ, приводилъ въ разборѣ своемъ одинъ стихъ изъ элегіи Жуковского, какъ будто бы это было всѣмъ извѣстное мѣсто изъ Ломоносова или Державина. Необыкновенное благозвучіе стиховъ позволяло безъ утомленія прочесть элегію отъ начала до конца, почти не замѣчая, что однообразное повтореніе александрийскихъ строфъ, каждая въ четыре строки и съ отдѣльною мыслью, не вполне соответствуетъ правиламъ изящной просодіи. Зато каждая строфа представляетъ прекрас-

¹⁾ Французскія и нѣмецкія письма онъ подписывалъ всегда такъ: Joukoffsky.

²⁾ Стих. Жуков. изд. 1878 г., т. I, стр. 29.

³⁾ „Утренняя заря“, II, стр. 169—171.

⁴⁾ О жизни и сочиненіяхъ В. А. Жуковского. Спб. 1853, стр. 25.

но-округленную картину то видовъ природы, то различныхъ душевныхъ ощущеній при раздумьи о смерти, о горестной разлуцѣ съ родными и друзьями. Читая, напримѣръ, описаніе вечерней тишины около сельскаго кладбища, какъ будто самъ видишь предъ глазами село, крестьянъ и мѣсто, гдѣ почиваютъ непробуднымъ сномъ ихъ праотцы.

Разсматривая надписи на урнахъ и на простыхъ крестахъ, поэтъ почти тѣми же словами, какъ и за четыре года предъ тѣмъ, въ одѣ: «Добродѣтель», выражаетъ слѣдующую мысль:

Не слаще мертвыхъ сонъ подь мраморной доскою;
Надменный мавзолей лишь персть ихъ бременить.

Ахъ, можетъ быть, подь сей могилою таятся
Прахъ сердца нѣжнаго, умѣвшаго любить,
И гробожитель-червь въ сухой главѣ гнѣздится,
Рожденной быть въ вѣнцѣ или мыслями парить!

Въ концѣ элегіи, гдѣ поэтъ мечтаетъ о собственной могилѣ, слова Жуковскаго отступаютъ отъ англійскаго оригинала и рисуютъ намъ личное, проникнутое уныніемъ настроеніе души русскаго поэта:

А ты, почившихъ другъ, пѣвецъ уединенный,
И твой ударить часъ послѣдній, роковой;
И къ гробу твоему, мечтой сопровождаемый,
Чувствительный придетъ услышать жребій твой.

Быть можетъ, селянинъ съ почтенной сѣдиною
Такъ будетъ о тебѣ пришельцу говорить:
— Онъ часто по утрамъ встрѣчался здѣсь со мною,
Когда спѣшилъ на холмъ зарю предупредить;

Тамъ въ полдень онъ сидѣлъ подь дремлющею ивой,
Поднявшей изъ земли косматый корень свой;
Тамъ часто въ горести безпечной, молчаливой
Лежалъ, задумавшись, надъ свѣтлою рѣкой;

Прискорбный, сумрачный, съ главою наклоненной...
Онъ часто уходилъ въ дубраву слезы лить,
Какъ странникъ — родины, друзей, всего лишенный,
Которому ничѣмъ души не усладить.

Сравнивъ съ этими строфами то же самое мѣсто изъ другого перевода Греевой элегии, который былъ сдѣланъ Жуковскимъ въ маѣ 1839 года въ Виндзорѣ ¹⁾, при посѣщеніи имъ самимъ того же кладбища, какъ можно ближе къ подлиннику, — мы увидимъ и почувствуемъ значительную разницу:

Ты же, заботливый другъ погребенныхъ безъ славы, простую
 Повѣсть объ нихъ разсказавшій, — быть можетъ, кто-нибудь, сердцемъ
 Близкій тебѣ, одинокой мечтою сюда приведенный,
 Знать пожелаетъ о томъ, что случилось съ тобой, и быть можетъ,
 Вотъ что разскажетъ ему о тебѣ старожилъ посѣдѣлый:
 — Часто видали его мы, какъ онъ на разсвѣтѣ поспѣшнымъ
 Шагомъ, росу отряхая съ травы, всходилъ на пригорокъ
 Встрѣтить солнце; тамъ на мшистомъ, изгнибистомъ корнѣ
 Старога вѣза, къ землѣ преклонившаго вѣтви, лежалъ онъ
 Въ полдень и слушалъ, какъ ближній ручей журчить, извиваясь...
 Также не разъ мы видали, какъ шелъ онъ вдоль лѣса съ какой-то
 Грустной улыбкой и что-то шепталъ про себя, наклонивши
 Голову, блѣдный лицомъ, какъ будто оставленный дѣлнымъ
 Свѣтомъ и мучимый тяжкою думой или безнадежнымъ
 Горемъ любви...

Здѣсь недостаетъ отголоска того личнаго настроенія, той задумчивости, которая такъ восхищаетъ читателя въ первомъ переводѣ русскаго поэта, гдѣ мысли и чувства, хотя и принадлежатъ Грею, но словно вырываются изъ самой души переводчика. Въ 1839 г. Жуковскій пережилъ уже то настроеніе духа, которое владѣло имъ за тридцать семь лѣтъ предъ тѣмъ, когда онъ, по собственнымъ словамъ, «не лежалъ на розахъ». Онъ не только былъ гораздо старѣе, но и не могъ уже намекать на преждевременную кончину, на невѣдѣніе ни славы, ни счастья, ибо пользовался высокимъ уваженіемъ въ свѣтѣ Наслѣдника русскаго престола. Оттого и надпись на гробовомъ камнѣ въ гекзаметрахъ второго перевода кажется будто сочиненною на

¹⁾ Вторичный переводъ изъ Грея находится (изд. 1878 г.) въ т. III, стр. 273, а рисунокъ, сдѣланный Жуковскимъ съ кладбища въ деревнѣ Stock Poges, недалеко отъ Виндзора, помѣщенъ въ заглавіи I тома, изд. 1849 г.; вообще всѣ рисунки, приложенныя къ этому изданію, сдѣланы самимъ Жуковскимъ.

заказъ, тогда какъ въ александрійскихъ стихахъ перваго перевода она отличается трогательною простотою:

— Здѣсь пепель юноши безвременно сокрыли;
 Чтò слава, счастье, — не звалъ онъ въ мiръ семь;
 Но музы отъ него лица не отвратили,
 И меланхоли была печать на немъ.

Онъ кротокъ сердцемъ былъ, чувствителенъ душою—
 Чувствительнымъ творецъ награду положилъ.
 Дарилъ несчастныхъ онъ—чѣмъ только могъ—слезою;
 Въ награду отъ Творца онъ друга получилъ.

Прохожій помолился надъ этою могилою;
 Онъ въ ней нашель приютъ отъ всѣхъ земныхъ тревогъ;
 Здѣсь все оставилъ онъ, чтò въ немъ грѣховно было,
 Съ надеждою, что живъ его спаситель-Богъ.

Если юношескій переводъ Греевой элегии свидѣтельствуетъ объ удивительной способности Жуковского проникаться поэтической мыслью другого до такой степени, что она производитъ на насъ впечатлѣнiе подлинника,—то для биографа эта элегия есть психологическій документъ, опредѣляющій душевное состоянiе поэта. Выше мы удивлялись, — почему молодой человекъ, окруженный товарищами и друзьями, истинно его любящими и уважающими, черпаетъ свои вдохновенiя на кладбищахъ. Нынѣ, возвратясь въ Мишенское, полное прекрасныхъ воспоминанiй его дѣтства, онъ снова выбираетъ кладбище любимымъ мѣстомъ своей музыки. Почему это? Правда, въ началѣ нашего столѣтiя, извѣстное сантиментальное настроенiе духа господствовало въ нашемъ обществѣ; эта наклонность «юныхъ и чувствительныхъ сердецъ» къ мечтательности могла настроить элегически и нашего друга; но кромѣ того, у него могли быть и личныя причины: положенiе его въ свѣтѣ и отношенiя къ семейству Буниныхъ тяжело ложились на его душу. Съ обѣими старшими дочерьми А. И. Бунина онъ былъ не такъ близокъ, какъ съ Варварой Аванасьевной. Марья Григорьевна любила его, какъ собственнаго сына, а дѣвицамъ Юшковымъ и Вельминовымъ онъ былъ самый дорогой братъ. Но родная его мать—

какъ она ни была любима своею госпожей — все-же должна была стоя выслушивать приказанія господъ и не могла почтять себя равноправною съ прочими членами семейства. Вотъ обстоятельства, которыя не могли не наводить меланхоли на поэта, и онъ искалъ себѣ утѣшенія въ поэзіи. Когда онъ пріобрѣлъ въ свѣтѣ то положеніе, символомъ котораго онъ могъ избрать на своемъ перстнѣ лучезарный фонарь, тогда и лира его настроилась веселѣе.

III.

Жуковскій провелъ слѣдующіе два года попеременно въ Мишенскомъ и въ Кунцовѣ, близъ Москвы, у Карамзина, который, овдовѣвъ послѣ перваго брака, пріютилъ его у себя. Кромѣ исторической повѣсти: «Вадимъ Новгородецъ», перевода письма французскаго путешественника, статьи: «О путешествіи въ Малороссіи», и стиховъ: «Человѣкъ», — Жуковскій ничего не напечаталъ за все это время личныхъ сношеній съ Карамзинымъ. Около того же времени, онъ познакомился въ Москвѣ съ Василюмъ Ивановичемъ Кирѣевскимъ, человѣкомъ, соединившимъ съ истинною образованностью никогда не ослабѣвавшее въ немъ стремленіе быть полезнымъ для своихъ соотечественниковъ. Женатый на подругѣ юности Жуковскаго, Авдотѣ Петровнѣ Юпковой, онъ на всю жизнь сошелся съ Жуковскимъ. В. И. Кирѣевскій скончался 1-го ноября 1812 года, заразившись въ больницѣ, которою завѣдывалъ, и гдѣ отличался своими удивительными подвигами милосердія.

Въ 1805 году, Жуковскій, по заказу одного книгопродавца, сдѣлалъ переводъ «Донъ-Кихота», съ французской передѣлки Флоріана, и этотъ переводъ въ 1806 году вышелъ въ свѣтъ въ 6 томахъ въ 12 д. л. (Изданіе 2-е, 1815).

Политическія событія во Франціи значительно охладили восторгъ русской интеллигенціи того времени къ республикѣ, даже вызвали, вслѣдствіе несчастныхъ войнъ, большую ненависть противъ Наполеона, нерѣдко выражавшуюся въ тогдашнихъ повре-

менныхъ изданіяхъ. Общество чуюло, что на западѣ Европы собираются грозныя тучи, которыя скоро разразятся и надъ Россіей. Въ прозѣ и въ стихахъ являлись воззванія къ бдительности за врагами нашего отечества; воинственныя пѣсни напоминали русскимъ ихъ прежнія побѣдоносныя войны съ иноплеменниками. Въ этомъ смыслѣ особенно подвизался въ Москвѣ «Вѣстникъ Европы» своими политическими передовыми статьями. Редакторомъ его былъ тогда профессоръ Каченовскій. Въ такихъ патриотическихъ порывахъ Жуковскій принималъ живое участіе. Онъ писалъ стихи; о нихъ-то именно, при третьемъ изданіи своихъ стихотвореній (1824 года), онъ говоритъ, что они относятся къ военнымъ обстоятельствамъ того времени. Въ «Вѣстникѣ Европы» (ч. XXX, № 24), 1806 года, была напечатана его «Пѣснь Барда надъ гробомъ славянъ побѣдителей, посвященная неустрашимымъ защитникамъ отечества». Замѣчательно и то, что здѣсь въ видѣ эпитафіи помѣщены стихи изъ диографа Деліля: «О безсмертіи души», которые онъ выпустилъ во всѣхъ слѣдующихъ изданіяхъ. Сообщаемъ этотъ эпитафію; онъ не безъ значенія для характеристики духа молодыхъ людей тогдашняго времени:

Si quelquefois la flatterie
 A deshonoré nos chansons,
 Plus souvent nos sublimes sons
 Font respecter les lois, font chérir la patrie.
 Le barde belliqueux courait de rangs en rangs
 Échauffer la jeunesse aux combats élançée;
 Tyrtée embrasait Mars des feux plus dévorants.
 Ne profanons point le feu qui nous anime,
 Laissons des plaisirs les chants voluptueux
 Et leur lyre pusillanime.
 Célébrons l'homme magnanime,
 Célébrons l'homme vertueux! ¹⁾

¹⁾ *Переводъ:* „Если иногда лесть унижала наши пѣсни, — зато чаще наши торжественныя звуки заставляли уважать законы и любить отечество. Воинственный бардъ бѣжалъ изъ строя въ строй, чтобы воодушевлять юношество, устремившееся къ битвамъ; Тиртей пожиралъ Марса своимъ пламенемъ. Не бу-

Въ этомъ стихотвореніи Жуковскій, въ лицѣ барда, воспѣваетъ хвалу священнымъ защитникамъ отечества, юношамъ, погибшимъ въ цвѣтъ лѣтъ, и героямъ, состарѣвшимся подъ лаврами; а затѣмъ, сдѣлавъ намекъ на пораженіе союзныхъ войскъ въ несчастный годъ Аустерлицкой битвы и описавъ опустошеніе селъ и полей, убійства и хищенія, оскверненіе храмовъ и оскорбленіе нравовъ въ Германіи, поэтъ вызываетъ сыновъ славянъ на мщеніе. Этою пламенною гѣсною барда выражается не только благороднѣйшій патріотизмъ поэта, но и тѣ предчувствія всей Россіи, которыя вскорѣ должны были исполниться. Оттого-то «Пѣснь Барда» встрѣчена была громкимъ отголоскомъ въ сердцахъ современниковъ. Съ тѣхъ поръ имя Жуковского сдѣлалось народнымъ, и «Пѣснь Барда» была нѣсколько разъ издаваема отдѣльно. Поэтъ, до тѣхъ поръ заставлявшій звучать однѣ нѣжныя струны дружбы, любви и мечтаній, вдругъ сумѣлъ настроить свои звуки на героическій ладъ бранной оды; вотъ, замѣчательное доказательство, до какой степени душа Жуковского была воспріимчива для всѣхъ высокихъ и прекрасныхъ впечатлѣній.

Въ 1805 году, Екатерина Аванасьевна овдовѣла. Мужъ ея, Андрей Ивановичъ Протасовъ, разорился на спекуляціи и на игру въ карты и оставилъ долги по векселямъ на сумму вдвое или втрое большую противъ того, что по нимъ получено. Несмотря на то, Екатерина Аванасьевна сочла себя обязанною выплатить сполна эти долги, и продала лучшую половину своего наслѣдства. Такъ какъ въ Муратовѣ, деревнѣ, которая ей осталась, она не могла жить по неимѣнію господскаго дома, а предъ родными обязываться не хотѣла, то наняла въ городѣ Вѣлевѣ домъ и жила тамъ весьма скромно съ двумя своими дочерьми, Маріей и Александрой Андреевнами, 12-ти и 10-ти лѣтъ. Наступало время дать имъ образованіе. Екатерина Аванасьевна очень чувствовала, что ей недоставало настоящаго

демъ же позорить пылъ, насъ воодушевляющій; оставимъ сладостныя пѣсни забавъ и ихъ робкую лиру; прославимъ великодушнаго и добродѣтельнаго чело-вѣка!“

образованія, хотя она и читала множество французскихъ книгъ и романовъ. Музыкой она не занималась, но весьма хорошо рисовала и любила вышивать бисеромъ и цвѣтными шелками большія картины по собственнымъ рисункамъ. Будучи замужемъ, она также не занималась хозяйствомъ, но за то имѣла случай развить въ себѣ разнообразныя житейскіе таланты и— что пригодилося ей на всю жизнь—твердый характеръ. Видя разстроенныя дѣла Екатерины Аванасьевны, Жуковский вызвался давать уроки ея дочерямъ и обучать ихъ наукамъ, которыя были ему извѣстны, и тѣмъ, какія онъ еще намѣревался самъ изучить. Дѣло не обошлось безъ составленія обширнаго педагогическаго плана. Преподаваніе Жуковскаго естественно приняло поэтическій характеръ; оно отличалось тѣмъ же и впоследствии, когда онъ сталъ наставникомъ при дворѣ; таково уже было его общее направленіе. Обучая другихъ, онъ, дѣйствительно, самъ учился и расширялъ кругъ своихъ познаній. Всякій день онъ отправлялся пѣшкомъ изъ Мишенскаго въ Бѣлевъ давать уроки, или читать вмѣстѣ съ своими ученицами лучшія сочиненія на русскомъ и иностранныхъ языкахъ; дѣвицы Протасовы болѣе всего и съ большимъ успѣхомъ занимались нѣмецкимъ и французскимъ. Притомъ живопись, словесность, исторія искусства обогащали ихъ вкусъ и познанія. Въ одномъ удѣлѣвшемъ листкѣ тетрадей мы находимъ списокъ занятій ученицъ Жуковскаго:

Занятія: 1) Исторія. 2) Философія. 3) Изящная словесность (языки). 4) Сочиненія. Утромъ: исторія и сочиненія. Вечеръ: философія и литература. Съ начала приготовительныя свѣдѣнія, потомъ классики.

Исторія (Ремеръ, Гаттереръ, Гиблеръ). Вспомогательныя науки.

Философія: предварительныя понятія о натурѣ, о человѣкѣ и логика.

Классики: теологія и нравственность.

Словесность: языки. Грамматика общая и риторика.

Поэты и прозаисты. Эстетика.

Воспитаніе.

Приводимъ еще одно мѣсто, гдѣ Жуковский говоритъ о методѣ изученія словесности:

Читать стихотворцевъ, не каждаго особенно, но всѣхъ одинаковаго рода вмѣстѣ. Частный характеръ каждаго сдѣляется ошутительнѣе отъ сравненія. Напримѣръ, Шиллера, какъ стихотворца въ родѣ балладъ, читать вмѣстѣ съ Бюргеромъ; какъ стихотворца философическаго — вмѣстѣ съ Гёте и другими; какъ трагика — вмѣстѣ съ Шекспиромъ. Чтеніе Расиновыхъ трагедій перемежать съ чтеніемъ Вольтеровыхъ, Корнейлевыхъ и Крестовыхъ. Эпическихъ поэтовъ перечитать каждаго особенно, — потомъ вмѣстѣ тѣ мѣста, въ которыхъ каждый могъ имѣть одинъ съ другимъ общее, дабы узнать образъ представленія каждаго. Сатра Буало съ Горациевыми, Ювеналовыми. Оды Рамлеровы, Горациевы — съ одами Державина, Жанъ-Батиста и прочихъ!

Или не лучше ли читать поэтовъ въ порядкѣ хронологическомъ, дабы это чтеніе шло наравнѣ съ исторіей, и исторія объясняла бы самый духъ поэтовъ, а потомъ уже возобновить чтеніе сравнительное? Первое чтеніе было бы философическое, послѣднее — эстетическое. Изъ обоихъ составила бы идея полная. Надобно распредѣлить лучшихъ поэтовъ хронологически и потомъ по родамъ поэзіи. Послѣ этого распредѣленія назначить порядковъ ихъ чтенія. То же и о прозаикахъ.

Это преподаваніе продолжалось около трехъ лѣтъ, и что оно было не безуспѣшно, доказательствомъ тому служатъ сами ученицы Жуковскаго, которыя впоследствии вступили въ такой кругъ общества, гдѣ требованія относительно образованности были велики. Я имѣлъ счастье знать ихъ обѣихъ въ цвѣтѣ ихъ жизни. Хотя въ теченіе многолѣтней врачебной практики я видѣлъ многихъ прелестныхъ и отлично образованныхъ женщинъ въ разныхъ кругахъ общества, но образы Маріи и Александры Андреевнъ, преждевременно оставившихъ свѣтъ и друзей своихъ, живы въ моей памяти до старости. Вполнѣ понимаю, какъ Жуковскій всею душой привязался къ этимъ существамъ, изъ которыхъ, казалось, онъ ни той, ни другой не давалъ преимущества. Отношеніе его къ нимъ было чисто братское; они употребляли между собою простодушное «ты», тогда какъ матери ихъ онъ оказывалъ сыновнее почтеніе.

Скромная учительская дѣятельность Жуковскаго нисколько не уменьшила меланхоліи его поэтическихъ мечтаній; по крайней мѣрѣ въ стихахъ онъ жалуется:

О, двѣ моихъ весна, какъ быстро скрылась ты,
Съ твоимъ блаженствомъ и страданьемъ!

Вспоминая о своихъ друзьяхъ, ихъ общихъ мечтаніяхъ, любви къ поэзіи и къ свободѣ, онъ груститъ, что —

Всякъ своей тропюю,
Лишенный спутниковъ, влача сомнѣній грузъ,
Разочарованный душею,
Тащиться осужденъ до бездны гробовой.

Ему же «рокъ судилъ брести невѣдомой стезей» въ деревенской глуши, — и онъ оканчиваетъ элегію, восклицая:

Такъ, пѣть есть мой удѣлъ—но долго ль? какъ узнать?
Ахъ, скоро, можетъ-быть, съ Минваною унылой
Придетъ сюда Альпинъ въ часъ вечера мечтать
Надъ тихой юноши могилой!

Эта элегія: «Вечеръ» ¹⁾, написана въ Бѣлевѣ, въ іюлѣ мѣсяцѣ 1806 года, и есть одно изъ лучшихъ его описаній вечерней красоты природы, села Мишенскаго, — и если мы хотимъ слѣдить за развитіемъ лирическаго таланта Жуковскаго, то не должны забывать этой элегіи, знакомящей съ мѣстностью, воспоминаніе о которой, какъ увидимъ, до глубокой старости согрѣвало его фантазію.

Въ теченіе трехлѣтнихъ педагогическихъ занятій Жуковский, кромѣ «Донъ-Кихота», перевелъ еще нѣсколько мелкихъ стиховъ съ французскаго и англійскаго языковъ, а именно: «Гимнъ», «Сонъ Могольца», «Мальвина», «Идиллія» и проч. Глубокое впечатлѣніе произвели на него стихотворенія Шиллера и напали въ душѣ его сочувственный отголосокъ. Идеальное созданіе, Текла, въ трагедіи «Валленштейнъ», осталось навсегда любимымъ предметомъ его нѣжнаго сердца. Послѣ чтенія съ ученицами своими этой трагедіи, онъ разомъ набросалъ на бумагу прекрасную пѣснь Теклы ²⁾, строки которой онъ такъ часто впослѣдствіи повторяли изустно и письменно, то по словамъ Шиллера, то по переводу Жуковскаго, ибо онъ нѣсколько переиначилъ эту пѣсень, отъ того, что въ ту пору

¹⁾ „Вѣстникъ Европы“, 1807 г., ч. XXXI, 278 стр.

²⁾ Изъ „Пикколомини“, дѣйствіе III, явленіе 7.—У Жуковскаго названо: „Тоска по миломъ“, томъ I, стр. 80.

было бы то заключить изъ стиховъ, — не могло имѣть другой причины, кромѣ сознанія, что, собственно говоря, онъ ничего еще не сдѣлалъ значительнаго для общества. Слова донъ-Карлоса ¹⁾: «Мнѣ двадцать-три года, а для безсмертія я ничего не сдѣлалъ!» — какъ будто служили обличеніемъ для даровитаго поэта, поклонника идеальнаго Шиллера, въ томъ, что дарованія свои онъ оставилъ подъ-спудомъ и жилъ до сихъ поръ безъ настоящей цѣли:

Мой другъ, о, нѣжный другъ, когда намъ не дано
Въ семь мірѣ жить для тѣхъ, кѣмъ жизнь для насъ священна,
Кѣмъ добродѣтель намъ и слава драгоценна,
Почтожь, увь! почто судьбой запрещено
За счастье ихъ отдать намъ жизнь сію бесплодную?

IV.

И вотъ, Жуковскій рѣшился принять болѣе дѣятельное участіе въ развитіи русской словесности, дѣйствовать на читателей не только произведеніями вдохновенія, но возвысить духъ публики къ познанію истины, которая, по словамъ его задушевнаго друга Карамзина, «одна служитъ основою счастья и просвѣщенія». Онъ принялъ на себя редакцію «Вѣстника Европы». Переселившись въ 1808 году въ Москву, онъ вступилъ въ среду практической жизни и срочной работы, и здѣсь на время умолкають его жалобныя пѣсни. На прощаніе съ своими ученицами онъ написалъ къ 15-ой годовщинѣ дня рожденія старшей изъ нихъ, Маріи Андреевны, аллегорическую повѣсть: «Три сестры, видѣніе Минваны» ²⁾. Сама Минвана рассказываетъ свое видѣніе. Ей минуло 15 лѣтъ; она при закатѣ солнца гуляла по берегу рѣки. Нечувствительно очутилась она у зеленой дубовой рощи и видитъ передъ собою трехъ молодыхъ дѣвушекъ, совершенно сходныхъ лицомъ, прекрасныхъ и цвѣтущихъ, какъ

¹⁾ „Don Carlos“, Шиллера, дѣйствіе II, явленіе 2.

²⁾ „Вѣстникъ Европы“, 1808 г., ч. XXXVII, стр. 148. — Полн. собран. соч., т. V, 262.

майскій день. Одна сидѣла подъ старымъ дубомъ, облокотившись на урну, обвитую лиліями, незабудками и кипарисомъ. Другая небрежно лежала на травѣ подъ розовымъ кустомъ, а третья смотрѣла на заходящее солнце. То были геніи *Прошедшаго*, *Настоящаго* и *Будущаго*, иначе: *Вчера*, *Нынѣ*, *Завтра*. Та, которая лежала подъ розовымъ кустомъ, подлетѣла къ Минванѣ и, подавая ей розу, сказала: «Подарокъ въ день твоего рожденія». Старшая сестра, которая сидѣла подъ дубомъ, ласково сказала Минванѣ:

„Мы (три сестры) неразлучны; тотъ, кого полюбить одна, становится любезенъ и другимъ; противный одной необходимо долженъ быть противенъ и другимъ. Милая Минвана, прекрасное созданіе природы, ты будешь намъ любезна: ты рождена для счастья, святое Провидѣніе сохранитъ тебя на пути жизни... Дружась съ сестрою моею *Нынѣ*, ты приготовишься любить и меня, и сестру мою *Завтра*. Наступитъ время, когда почувствуешь, что дружба наша для тебя необходима... А если, мой другъ, обманутая красотою розы, уколешься ея шипами, то спокойная довѣренность къ сестрѣ моей *Завтра*, единый взглядъ на очаровательные предметы, которые она открываетъ вдали, должны усладить твое страданіе... Въ минуты испытанія, минуты одиночества души, я буду съ тобою... Во мнѣ ищи утѣшителя и друга. Я твоя. *Прошедшее* съ тобою неразлучно... Близъ урны моей, подъ сумракомъ кипариса, обитаетъ воспоминаніе, которое говоритъ о томъ, что было, и чего уже нѣтъ... Прискорбная *Нынѣ* опять улыбнется, и вѣтреная *Завтра* опять прилетитъ къ тебѣ съ своими мечтами. О, мой другъ, придетъ время оставить *цветущую долину* жизни... Тогда явimsя предъ тобою вмѣстѣ, въ новомъ сіяніи, преобразенныя, навсегда неразлучныя. Какимъ восхитительнымъ блескомъ озарится для тебя отдаленіе будущаго! Безсмертіе, оправданіе надеждъ и вѣры награда... О, Минвана, вся твоя жизнь да будетъ приготовленіемъ къ сей минутѣ... Небесное Провидѣніе—твой хранитель. Вѣрь его присутствію...—Счастіе неотъемлемый удѣлъ непорочности:—но гдѣ, и когда? Это тайна“.

Она замолчала... Закатилось солнце... Привидѣніе исчезло.

Въ этомъ подаркѣ къ дню рожденія виднѣется заря восходящаго солнца любви, которое освѣщало подъ-часъ счастливые дни нашего друга. Геніи *Прошедшаго*, *Настоящаго* и *Будущаго*, введенные въ область его поэтическаго міра, встрѣчаются съ тѣхъ поръ часто въ его стихотвореніяхъ. Онъ намекаетъ на *счастіе*, не обозначая его точнѣе. Но мы находимъ тому объ-

ясненіе въ статьѣ, которую въ то же время онъ написалъ и напечаталъ въ «Вѣстникѣ Европы» ¹⁾, подъ заглавіемъ: «Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ?» Жуковскій прямо отвѣчаетъ: «Одинъ тотъ, кто способенъ наслаждаться семейственною жизнію!» Въ этомъ признаніи хранится ключъ къ объясненію многихъ событій въ жизни Жуковского.

«Вѣстникъ Европы», подъ редакціей Карамзина, пріобрѣлъ всеобщую извѣстность и славу, которыя мало по малу уменьшились, когда редакція перешла въ руки Панкратія Сумарокова (1804 года). Профессоръ М. Т. Каченовскій на силу могъ послѣ него поддержать нѣсколько этотъ журналъ. Карамзинъ и другіе видѣли въ Жуковскомъ лучшую надежду русской литературы и вызвали его для руководства изданіемъ «Вѣстника Европы» въ Москву. Онъ серьезно принялся за дѣло. Какъ программу своего предпріятія, онъ напечаталъ ²⁾ письмо, будто бы писанное «изъ уѣзда» къ издателю «Вѣстника Европы. Въ немъ излагается мнѣніе какого-то любителя самородной русской словесности *Стародума*; онъ жалѣетъ о томъ, что публика занимается единственно чтеніемъ плохихъ романовъ, пустыхъ бездѣлокъ, отъ которыхъ нѣтъ никакой пользы ни для образованности, ни для разсудка. Надобно перемѣнить понятія о чтеніи. При сильной охотѣ въ Россіи къ чтенію, обязанность журналиста состоятъ въ томъ, чтобы подъ маской занимательнаго и пріятнаго скрывать полезное и наставительное. Когда издатель не имѣетъ своего, пусть снабжаетъ читателя чужимъ. Хорошій журналъ можетъ служить приготовленіемъ для уразумѣнія произведеній философіи и твореній поэта, распространяетъ скорѣе всякой другой книги полезныя идеи и привлекаетъ къ занятіямъ болѣе труднымъ. Любить истинное и прекрасное, наслаждаясь ими, умѣть ихъ изображать, стремиться къ нимъ самому и силою краснорѣчія увлекать за собою другихъ—вотъ благородное назначеніе писателя. Счастливъ онъ, если Провидѣніе, наградивъ

¹⁾ „Вѣстникъ Европы“, 1808, ч. XXXIX, стр. 220.—Собр. соч., т. V, стр. 220.

²⁾ Въ XXXVII томѣ „Вѣстника Европы“, 1808 г., стр. 3: „Объ обязанностяхъ журналиста“.

его талантомъ, одарило и сердцемъ, способнымъ любить высокое и чуждымъ привязанностей унижительныхъ. Ему придется отказываться отъ общественныхъ выгодъ, ему нельзя гоняться за слѣпымъ одобреніемъ толпы. Онъ не долженъ унижать себя исканіемъ награды недостойной; увѣренность внутренняя, что онъ исполняетъ свой долгъ, какъ человѣкъ, совершенствуя свою натуру, какъ гражданинъ, трудясь съ намѣреніемъ приносить отечеству пользу,—вотъ его лучшая награда.

Въ другой статьѣ: «Писатель въ обществѣ» ¹⁾ Жуковскій ратуетъ pro domo sua, доказывая, что напрасно думаютъ, что писателей менѣе уважаютъ въ свѣтѣ, нежели ихъ книги. Если это и случается, то отъ трехъ причинъ: отъ страстной привязанности писателей къ своему искусству, отъ самолюбія и отъ ограниченности состоянія. Бичуя преимущественно тѣхъ, которые ловкими прикрасами или наружнымъ щегольствомъ стараются подкупать общество въ свою пользу, Жуковскій предостерегаетъ противъ педантическаго проявленія или противъ шумнаго хвастовства талантами въ обществѣ. Писатель, которому вмѣстѣ съ дарованіемъ досталась въ удѣлъ и бѣдность, принужденъ являться въ общество изрѣдка, и то не иначе, какъ зритель, не имѣющій никакой тѣсной связи съ дѣйствующими на сценѣ лицами. Но не имѣя способовъ наслаждаться удовольствіями большого свѣта, онъ въ тишинѣ души довольствуется скромнымъ своимъ удѣломъ, будетъ счастливъ, любимъ и любить въ тѣсномъ кругѣ друзей, соединенныхъ съ нимъ одинаковою дѣятельностію, сходствомъ жребія, склонностей и дарованій. Ихъ строгая разборчивость образуетъ его, ихъ благотельное соревнованіе животворитъ въ немъ творческій пламень; въ ихъ искренней похвалѣ его воздаяніе и слава; тамъ наконецъ его семейство. Этими замѣчаніями онъ, безъ сомнѣнія, намекаетъ на самого себя и опять выражаетъ страстное желаніе семейной жизни въ такихъ словахъ:

„Для писателя болѣе, нежели для кого-нибудь, необходимы семейственныя связи... Въ уединенномъ жилищѣ своемъ, послѣ продолжительнаго ум-

¹⁾ „Вѣстникъ Европа“, 1808 г., ч. XLII, стр. 118.—Собр. соч., т. V, стр. 271.

ственного труда, онъ долженъ слышать трогательный голосъ своихъ любезныхъ; онъ долженъ въ кругу ихъ отдыхать, въ кругу ихъ находить новыя силы для новой работы... Вселенная, со всѣми ея радостями, должна быть заключена въ той мирной обители, гдѣ онъ мыслить и гдѣ онъ любить“.

Впослѣдствіи мы будемъ имѣть случай вспомнить объ этихъ характеристическихъ словахъ поэта.

Еще съ болѣе возвышенной точки зрѣнія Жуковский разбираетъ задачу жизни писателя въ третьей статьѣ, напечатанной также въ «Вѣстникѣ Европы» 1809 года, т. XLIII, стр. 161. Это—письмо къ Филалету: «О нравственной пользѣ поэзіи». Оставляя въ сторонѣ его взгляды на правила въ теоріи поэзіи, взглянемъ на понятія Жуковского касательно нравственности (моральности) предмета и самого сочинителя, такъ какъ эти понятія были незыблемымъ основаніемъ всей его поэтической дѣятельности:

„Поэтъ долженъ усиливать воображеніе не со вредомъ разсудку; онъ долженъ давать остроумію пищу, но не на счетъ добродѣтелей общественныхъ; онъ долженъ живописать любовь, [не дѣлая привлекательными ни чувственности, ни сладострастія... Искусство требуетъ отъ поэта, чтобы онъ не оскорблялъ непосредственно чувства моральнаго, чтобы онъ не противорѣчилъ морально-изящному, которое почитается однимъ изъ главныхъ источниковъ красоты стихотворческой. Если онъ и описываетъ чувства и страсти, которыя отвергаются разсудкомъ, если и украшаетъ характеры недостойные цвѣтами поэзіи,—то онъ не долженъ обращать эти моральные недостатки въ совершенное моральное безобразіе... Стихотворецъ никогда не долженъ перестать быть человѣкомъ, почитателемъ Бога, членомъ общества, сыномъ отечества, не долженъ пренебрегать должностей, соединенныхъ съ этими отношеніями. Всякій читатель, будучи критикомъ стихотворца, есть въ то же время и судія человѣка—и горе поэту, если одобреніе судіи не будетъ для него столь же важно, какъ и одобреніе критика! 1)“.

Мы сочли эти выписки самыми лучшими чертами для характеристики тѣхъ требованій отъ писателя, которыя задавалъ себѣ Жуковский.

1) Въ посланіи къ Батюшкову онъ выражаетъ тѣ же мысли:

О, другъ, служенье Музъ
 Должно быть ихъ достойно:
 Лишь съ добрымъ ихъ союзъ.

Жуковскій самъ украшалъ свой журналъ множествомъ разнообразнѣйшихъ стихотвореній и статей въ прозѣ. Исторія изящныхъ искусствъ съ изображеніями знаменитыхъ произведеній живописцевъ и ваятелей, рядъ гравюръ Гогартовыхъ съ объясненіями Лихтенберга, этнографія съ иллюстраціями—познакомили публику съ предметами, существующими внѣ области вседневной жизни, и возбудили охоту познакомиться съ подлинниками. Сотрудники, которымъ ввѣрена была политическая часть журнала (между ними, Карамзинъ, Каченовскій), зоркимъ окомъ слѣдили за происшествіями отечественными и заграничными. Словомъ, въ журналѣ, по словамъ Плетнева, «ничто не упущено, чтобы возвратить изданію ту жизнь и занимательность, которыми оно всѣхъ привлекло къ себѣ при его основаніи». Въ сообщеніи собственныхъ поэтическихъ трудовъ Жуковскій, кажется, слѣдовалъ обдуманному плану. Какъ образецъ формы просодической для балладъ, онъ напечаталъ въ «Вѣстникѣ Европы» 1808 г., ч. XXXIX, стр. 41, чудесную свою «Людмилу», которую, несмотря на то, что основа разсказа заимствована изъ Бюргера, должно назвать оригинальною балладою Жуковскаго, такъ какъ она имѣетъ всѣ качества подлинника.

Двадцать лѣтъ спустя, Жуковскій переложилъ Бюргерову «Ленору» слово въ слово, и въ разнообразныхъ стопосложеніяхъ, какъ у Бюргера, ему удалось схватить характеръ оригинала столь изящно, что знающій оба языка съ равнымъ удовольствіемъ читаетъ балладу на русскомъ языкѣ, какъ и на нѣмецкомъ.

Жуковскій въ ту пору предпочиталъ Бюргеровы баллады балладамъ Шиллера. Это мы видимъ изъ одной тетради, по которой онъ давалъ уроки словесности своимъ Бѣлевскимъ ученицамъ. Замѣчанія его по этому предмету не лишены интереса:

„Бюргеръ въ родѣ балладъ единственный, ибо онъ имѣетъ истинно прекрасный тонъ избранному имъ роду стихотворенія—ту простоту разсказа, которую долженъ имѣть повѣствователь. Его характеръ: счастливое употребленіе выраженій простонародныхъ и въ описаніяхъ, и въ выраженіяхъ чувства, краткость и живость, приличіе и разнообразіе метровъ. Въ особенности изображаетъ онъ очень счастливо ужасное, то ужасное, которое при-

надлежитъ къ ужасу, производимому въ насъ предметами мрачными, призраками мрачнаго воображенія. Картины свои заимствуетъ онъ отъ таинственной природы того свѣта, который не есть идеальный свѣтъ, созданный фантазією древнихъ поэтовъ, но мрачное владычество суетвѣрія.—Шиллеръ менѣ живописенъ; языкъ его не имѣетъ привлекательной простонародности Бюргерова языка; но онъ благороднѣе и пріятнѣе. Онъ не представляетъ предметы такъ вѣрно, но онъ украшаетъ ихъ красками блестящими. Бюргеръ дѣйствуетъ на воображеніе, Шиллеръ—на фантазію (то же воображеніе, но только такое, которому всѣ предметы представляются сквозь призму поэзіи, слѣдственно, не въ собственномъ, а въ нѣкоторомъ заимствованномъ образѣ). Вообще Шиллеровъ языкъ ровнѣе, но онъ не такъ живъ, и совершенство дѣлаго повредило нѣсколько разительности частей, тогда какъ въ Бюргерѣ его живость есть, можетъ быть, слѣдствіе свободы, менѣ ограниченной. Въ Бюргерѣ найдемъ менѣ картинъ стихотворныхъ, нежели въ Шиллерѣ; за то онъ ближе къ простой, обыкновенной природѣ. Шиллеръ болѣе философъ, а Бюргеръ—простой повѣствователь, который, занимаясь предметомъ своимъ, не заботится ни о чемъ постороннемъ“.

Несмотря, однако, на то, что Бюргеровы баллады весьма нравились Жуковскому, онъ не перевелъ болѣе ни одного изъ его стихотвореній, и любимцемъ его поэтическихъ занятій сдѣлался Шиллеръ. Баллады «Кассандра» и «Счастіе», и диоирамбъ изъ Гете: «Моя богиня», можно считать написанными нарочно для журнала, такъ какъ въ нихъ мы не находимъ никакого признака собственнаго расположенія духа, субъективныхъ ощущеній, характеризующихъ оригинальныя стихотворенія Жуковскаго. Все это—образцовые рисунки, изъ которыхъ всего лучше удались «Кассандра» и «Моя богиня». Слабѣ всѣхъ намъ кажется «Счастіе». Жуковский пытался переложить Шиллеровы гексаметры въ простые пятистопные дактили—размѣръ, котораго онъ не употреблялъ болѣе. Вышеупомянутыя стихотворенія Жуковский подписывалъ своимъ именемъ, другія же, въ которыхъ, какъ мы сказали, выражается собственное его настроеніе духа, являлись безъ подписи, или просто: «отъ N. N.». Таковы на примѣръ: «Пѣснь Араба надъ могилою коня», «Посланіе къ Блудову» («Вѣстникъ Европы», Л, 1809 года) и слѣдующая прелестная «Пѣсня» ¹⁾:

¹⁾ Соч. т. I, стр. 105.

Мой другъ, хранитель-ангелъ мой,
 О, ты, съ которой нѣтъ сравненья,
 Люблю тебя, дышу тобой;
 Но гдѣ для страсти выраженья?
 Во всѣхъ природы красотахъ
 Твой образъ милый я встрѣчаю,
 Прелестныхъ вижу—въ ихъ чертахъ
 Одну тебя воображаю.
 Беру перо—нимъ начертать
 Могу лишь имя незабвенной;
 Одну тебя лишь прославлять
 Могу на лирѣ восхищенной;
 Съ тобой, одинъ, вблизи, вдали,
 Тебя любить—одна мнѣ радость;
 Ты мнѣ всѣ блага на земли,
 Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.
 Въ пустынѣ, въ шумѣ городскомъ
 Одной тебѣ внимать мечтаю;
 Твой образъ, забываясь сномъ,
 Съ послѣдней мыслию сливаю;
 Приятный звукъ твоихъ рѣчей
 Со мной во снѣ не разстается;
 Проснусь, и ты въ душѣ моей
 Скорѣй, чѣмъ день очамъ коснется.
 Ахъ, мнѣ-ль разлуку знать съ тобой?
 Ты всюду спутникъ мой незримый;
 Молчишь—мнѣ взоръ понятенъ твой,
 Для всѣхъ другихъ неизъяснимый;
 Я въ сердцѣ твой приѣмлю гласъ:
 Я пью любовь въ твоемъ дыханьѣ.
 Восторги, кто постигнетъ васъ, —
 Тебя, души очарованье?
 Тобой и для одной тебя
 Живу и жизнью наслаждаюсь;
 Тобою чувствую себя,
 Въ тебѣ природѣ удивляюсь.
 И съ чѣмъ мнѣ жребій мой сравнить?
 Чего желать въ толь сладкой долѣ?
 Любовь мнѣ жизнь... ахъ, я любить
 Еще стократъ желать бы болѣ!

1-е апрѣля былъ день ангела Марьи Андреевны Протасовой, той *Минваны*, съ которою, въ ея 15-й день рожденія, Жуковский простился, посвятивъ ей аллегорическую повѣсть: «Три сестры». Солнце нѣжной любви восходило на небосклонъ поэта! ¹⁾).

По истеченіи года труды по редакціи и столкновенія съ писателями, которые неохотно принимали сужденія редактора о ихъ произведеніяхъ, вынудили Жуковского снова принять къ себѣ въ сотрудничество профессора Каченовскаго. Это былъ человѣкъ съ большимъ характеромъ. Родившись въ 1775 году въ Харьковѣ, онъ сначала служилъ по гражданской части, потомъ по военной; былъ по недоразумѣнію осужденъ на строгое заключеніе на нѣсколько лѣтъ и воспользовался этимъ для пріобрѣтенія положительныхъ познаній въ исторіи, археологіи и изящныхъ искусствахъ, такъ что послѣ могъ занять каведру по этимъ наукамъ въ московскомъ университетѣ. Какъ самоучка, онъ былъ нрава скептическаго и любилъ высказывать положенія, противныя общему мнѣнію. Такому человѣку было сподручнѣе, чѣмъ Жуковскому, вести переговоры съ журнальными сотрудниками. Притомъ политическія событія стали въ то время обращать на себя большое вниманіе, а Каченовскій умѣлъ направлять общественное мнѣніе.

Хотя Жуковский до самаго конца 1810 года считался еще редакторомъ «Вѣстника Европы» и печаталъ въ немъ свои стихи и статьи въ прозѣ («О баснѣ и басняхъ Крылова», «О сатирѣ и сатирахъ Кантемира»); но въ «Письмѣ къ издателямъ «Вѣстника Европы» о критикѣ» онъ какъ будто бы простился съ своимъ журналомъ. Онъ опять приводитъ разговоры и мысли Стародума, который, между прочимъ, спрашиваетъ его: «Много ли найдете случаевъ примѣнять свой идеаль изящнаго къ произведеніямъ нашихъ писателей и художниковъ?» На это Жуковский отвѣчаетъ:

¹⁾ Пѣсня Жуковскаго впоследствии была переведена въ Дерптѣ на нѣмецкій языкъ и положена на музыку Вейраухомъ. Жуковский всякій разъ вслушивался, когда пѣли ее. Съ какимъ чувствомъ читалъ онъ ее, когда черезъ 40 лѣтъ приготавливалъ послѣднее изданіе своихъ стихотвореній!

„Правда, мы еще не богаты произведениями превосходными; наша словесность едва начинаетъ выходитьъ изъ младенчества; оригинальныхъ русскихъ книгъ весьма немного (я говорю объ однѣхъ хорошихъ): за то какое множество переводовъ, и какихъ переводовъ! Ихъ смѣло можно назвать *оригиналами*, ибо они совершенно никакого не имѣютъ сходства съ подлинниками. Что же дѣлать критику посреди сего наводненія, въ которомъ утопаеъ наша несчастная словесность? Говорить объ искусствѣ и слогѣ, разсматривая такія книги, въ которыхъ нѣтъ и слѣдовъ искусства и слога значило бы сражаться съ вѣтренными мельницами“..

V.

Итакъ, Жуковскій, разочарованный въ своемъ намѣреніи преобразовать вкусъ публики, возвратился въ Мишенское, съ тѣмъ, чтобы посвятить себя исключительно поэзіи. Этому возврату къ музамъ мы обязаны цѣлымъ рядомъ стихотвореній, въ которыхъ Жуковскій является рѣшительнымъ приверженцемъ нѣмецкой романтической школы, отцомъ которой на Руси онъ иногда и называлъ себя. Однакоже, мечтательность, чувствительность, меланхолія, встрѣчаемая въ его стихахъ, не были въ немъ слѣдствіемъ подражанія, но составляютъ выраженіе собственнаго его настроенія и слѣдствіе обстоятельствъ. Этотъ характеръ лиризма образовался у Жуковского уже съ юности. Умственная возвышенность, нравственная красота, идеальное благородство въ сочиненіяхъ Шиллера привлекали Жуковского, и онъ искренно полюбилъ этого поэта. Въ стихотвореніяхъ Гёте онъ восхищался умѣньемъ автора въ жизни и предметахъ матеріальныхъ найти поэтическія жемчужины и вставить ихъ въ великолѣпную оправу. Съ Шиллеромъ онъ навѣрное подружился бы на всю жизнь, еслибъ имѣлъ возможность съ нимъ познакомиться. Въ Гёте онъ не могъ надивиться его строгой красотѣ, подобно тому, какъ удивляешься красотѣ мраморной античной статуи ¹⁾.

¹⁾ Подъ портретомъ Гёте Жуковскій написалъ:

Свободу смѣлую принявъ себѣ въ законъ,
 Всезрящей мыслию надъ міромъ онъ носился,
 И въ мірѣ все постигнувъ онъ —
 И ничему не покорился.

Возвратясь на родину, Жуковский занялся составленіемъ «Сборника лучшихъ русскихъ стихотвореній», который и вышелъ въ пяти частяхъ въ Москвѣ въ 1810—11 годахъ; кромѣ того, онъ перевелъ много балладъ изъ Шиллера, Парни, Местра и написалъ одну первую часть повѣсти «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ».

Между тѣмъ, Екатерина Аванасьевна Протасова задумала строить въ своей деревнѣ, Муратовѣ, жилой домъ. Жуковский сдѣлалъ планъ этому строенію и взялъ на себя завѣдываніе работами. Для этого онъ купилъ маленькую, смежную съ Муратовымъ, деревню за доставшіеся ему отъ Буниныхъ 10,000 р. и переселился теперь въ свой собственный Тускулумъ, гдѣ часто навѣщали его подруги дѣтства, дѣвицы Юшковы и Протасовы. Завелись у него и новыя знакомства съ сосѣдями орловской губерніи; такимъ образомъ, около Жуковского вскорѣ составилось общество, отличавшееся образованностью и веселымъ характеромъ. Верстахъ въ 40 отъ Муратова жила въ деревнѣ Черни фамилія Плещеевыхъ. Владѣлецъ Черни, А. А. Плещеевъ, былъ настоящій образецъ русскаго помѣщика начала XIX столѣтія. Страстный любитель музыки, игравшій на виолончели, онъ перелагалъ на ноты романсы, которые отлично пѣла сама Анна Ивановна Плещеева. На домашнемъ его театрѣ представлялись комедіи и оперы, имъ самимъ сочиненныя и положенныя на музыку. Плещеевъ, обладая прекраснымъ талантомъ читать и играть драматическія сочиненія, руководилъ театральными представленіями съ рѣдкимъ искусствомъ. Смуглое лицо его, съ толстыми губами и черными кудрявыми волосами (за что Жуковский въ письмахъ часто называлъ его: «черная рожа» и «мой Негръ»), казалось некрасивымъ, пока при чтеніи или въ игрѣ онъ не воспламенялся трагическими или комическими порывами. Эта артистическая, веселая натура привлекла Жуковскаго всею симпатіей поэтической души. И Плещеевъ крѣпко полюбилъ его. Переписывались они всегда стихами—Плещеевъ по-французски, Жуковский по

русски ¹⁾. Плещеевъ сочинилъ музыку на всѣ романсы Жуковскаго, а жена его пѣла ихъ прекраснымъ своимъ голосомъ. Къ сожалѣнію, всѣ эти драгоценные памятники дружескихъ связей Жуковскаго съ Плещеевымъ погибли въ пожарѣ господскаго дома въ Черни. Къ такому любезному хозяину со всей окружности охотно съѣзжались гости, которые даже играли и пѣли вмѣстѣ въ домашней труппѣ. Конечно, и Василій Андреевичъ участвовалъ въ этихъ художественныхъ увеселеніяхъ; словомъ, здѣсь, въ глуши Россіи, въ орловской губерніи, осуществилось то, что Гете въ то самое время представлялъ въ извѣстномъ своемъ романѣ «*Wilhelm Meister*», и что онъ видѣлъ при изящномъ и просвѣщенномъ дворѣ въ Веймарѣ.

У Жуковскаго, мать котораго умерла въ одно почти время съ Марьей Григорьевной Буниной, грустное настроеніе смѣнилось веселою бодростью и любовью къ жизни. Ученицы его, Марья и Александра Андреевны Протасовы, достигли 17 и 15-лѣтняго возраста. Онѣ выросли подъ строгимъ надзоромъ вмѣстѣ съ ними образовавшей себя матери «на лонѣ дремлющей природы» и могли, при необыкновенной своей воспримчивости къ научнымъ и изящнымъ впечатлѣніямъ, свободно развивать свои дарованія ²⁾. Кто станетъ удивляться, что у Жуковскаго то самое серьезное расположеніе, зарю котораго мы уже замѣтили, какъ предвѣстницу восходящаго солнца любви, потребовало непременно какого-нибудь обнаруженія или проявленія? Тогда только возникла у него мысль о женитьбѣ на Марьѣ Андреевнѣ Протасовой. Но долго онъ хранилъ въ глубинѣ души это желаніе, ни съ кѣмъ не говорилъ объ этомъ ни слова, и чувства свои передавалъ только въ стихахъ и посланіяхъ къ друзьямъ:

Есть одна во всей вселенной—
Къ ней душа, и мысль объ ней;

¹⁾ См. „Русскій Архивъ“ 1866 года, стр. 874, гдѣ кн. Вяземскій сообщаетъ нѣкоторыя изъ этихъ писемъ.

²⁾ Дѣйствительно, Екат. Аван., только присутствуя на урокахъ дочерей, начала поправлять пробѣлы своего воспитанія.

Къ ней стремлю, забывшись, руки—
 Милый призракъ прочь летить.
 Кто-жъ мои услышать муки,
 Жажду сердца утолить? ¹⁾.

Немного людей осталось въ живыхъ изъ тѣхъ, кто зналъ лично предметъ этой *жалобы*; но пусть не знавшіе угадываютъ изъ слѣдующихъ стиховъ, что это было за созданіе, которое наполняло душу Жуковскаго святынею смиренной любви. Онъ пишетъ Батюшкову ²⁾:

И что, мой другъ, сравнится
 Съ невинною красой?
 При ней цвѣтемъ душой!
 Она, какъ ангель милой,
 Одной явленья силой
 Могущая, собой
 Вливаетъ въ сердце радость.
 О, скромныхъ взоровъ сладость,
 Движеній тишина,
 Стыдливое молчанье,
 Гдѣ вся душа слышна!
 Рѣчей очарованье,
 Безпечность простоты,
 И прелесть безъ искусства,
 Которая для чувства
 Прекраснѣй красоты!..
*Любовь есть неба даръ,
 Въ ней жизни цвѣтъ хранится;
 Кто любитъ, тотъ душой,
 Какъ день весенній ясенъ...*
 Она—въ семь словъ миломъ
 Вселенная твоя...
 Заря-ли угасаетъ,
 Летятъ-ли вѣтерокъ
 Отъ дремлющія рощи,
 Или покровомъ нощи

¹⁾ «Жалоба», Соч. т. I, стр. 190—191.

²⁾ Посланіе Батюшкову, т. I, стр. 240.

Одъянный потокъ
 Въ водахъ являетъ тѣни
 Недвижныхъ береговъ,
 И тихихъ рощей сѣни,
 И темный рядъ холмовъ—
Она передъ тобою,
 Съ природы красотою
 Совсѣмъ въ душѣ слита,
 Любимая мечта...
Она—твой другъ, твоя
 Невинность, добродѣтель!
 Лишь счастьемъ *Ея*
 Ты счастье измѣряешь.
 Лишь въ немъ соединяешь
 Всѣ блага бытія...

Въ этихъ словахъ, въ которыхъ не знающіе обстоятельствъ видѣли одну неопредѣленную мечту, одну сантиментальную романтику, таятся прекрасная дѣйствительность, истинный образъ того лица, которому поэтъ въ то время посвятилъ слѣдующую пѣсню, найденную въ портфелѣ Марьи Андреевны послѣ ея смерти:

КЪ НЕЙ.

Имя гдѣ для тебя?
 Не сильно смертныхъ искусство
 Выразить прелесть твою!
 Лиры нѣтъ для тебя!
 Чтѣ пѣсни? Отзывъ невѣрный
 Поздней молвы объ тебѣ!
 Еслибъ сердце могло быть
 Имъ слышно, каждое чувство
 Было бы гимномъ тебѣ.
 Прелесть жизни твоей,
 Сей образъ чистый, священный,
 Въ сердцѣ, какъ тайну, ношу.
 Я могу лишь любить,
 Сказать же, какъ *ты* любима,
 Можетъ лишь вѣчность одна! ¹⁾.

¹⁾ Соч. т. I, стр. 134.

Въ этомъ тихомъ расположеніи духа онъ занимался обработкою старинной повѣсти: «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ». Первая часть, или баллада первая: «Громобой», была напечатана въ 1811 году, въ «Вѣстникѣ Европы», т. LV, 254, съ эпиграфомъ, взятымъ изъ «Орлеанской дѣвы» Шиллера:

Намъ въ области духовъ легко проникнуть;
Насъ ждуть они и молча стерегутъ,
И тихо внемя, въ буряхъ вылетаютъ.

Посвящая эту первую балладу меньшей своей ученицѣ, Александрѣ Андреевнѣ Протасовой, поэтъ говоритъ ей между прочимъ:

Цвѣти, мой несравненный цвѣтъ,
Сердце очарованье;
Печаль по слуху только знай,
Будь радостію свѣта;
Моихъ стиховъ хоть не читай,
Но другомъ будь поэта.

Вторую часть, или балладу «Вадимъ», Жуковский написалъ, спустя пять или шесть лѣтъ, совершенно въ другомъ расположеніи духа (какъ увидимъ ниже). Поэтому и замѣтна разница въ обоихъ произведеніяхъ, долженствовавшихъ составлять одно цѣлое, вышедшее въ 1817 году.

Насталъ роковой 1812 годъ ¹⁾. Вездѣ въ Россіи чувствовали приближеніе предстоявшей политической бури. Общія несчастія скорѣе сближаютъ людей и тѣснѣе соединяютъ друзей между собою. Такъ и Жуковский рѣшился наконецъ открыть свою любовь и свои намѣренія жениться на Марьѣ Андреевнѣ: онъ рѣшился переговорить съ матерью и просить руки Маши, рѣшился выполнить, что считалъ необходимымъ для счастья чело-вѣка и писателя — связать себя тѣсными семейными узами; завѣтныя мечты поэта близились такимъ образомъ къ осуществленію. Но Екатерина Аванасьевна не только рѣшительно отказала ему, но и запретила говорить объ этомъ съ кѣмъ бы то ни

¹⁾ Въ началѣ года Жуковский былъ въ Москвѣ; но шаферомъ на свадьбѣ Блудова—какъ пишетъ Ковалевскій—онъ не былъ.

было, а всего менѣе съ дочерью ея. Она объявила, что по родству эта женитьба невозможна. Напрасно Василий Андреевичъ доказывалъ ей, что законнаго препятствія не существуетъ, что по церковнымъ книгамъ онъ ей не братъ и даже не родственникъ. Но она, опираясь на уставы церкви, не согласилась завѣдомо нарушить ихъ. Жуковскій покорился приговору сведенной сестры—и замолчалъ.

Послѣ этой сердечной катастрофы, разстроившей судьбу его, замолкаютъ и радостныя его пѣсни; съ упованіемъ на будущее, на «очарованное Тамъ», онъ сочиняетъ стихи, которые отмѣчаетъ, неизвѣстно почему, годомъ позже въ своихъ изданіяхъ. Объ одной пѣснѣ мы навѣрное знаемъ, что она была сочинена уже въ 1812 году: это было стихотвореніе «Пловецъ»¹⁾. Въ Россію уже вторглись несмѣтные полки французовъ; но въ орловской губерніи, въ домѣ Плещеева, сосѣди еще собирались праздновать день рожденія хозяина, 3-го августа. Были приготовлены концертъ и представленіе на театрѣ. Всѣ Муратовскія дамы, конечно, тоже были приглашены. Жуковскій пѣлъ вышеупомянутую пѣсню, положенную на музыку самимъ Плещеевымъ:

Вихремъ бѣдствія гонимый,
 Безъ кормла и весла,
 Въ океанъ несходимый
 Буря челнъ мой занесла.
 Въ тучахъ звѣздочка свѣтилась;
 Не скрывайся!—я зывалъ.
 Непреклонная сокрылась,
 Якорь былъ—и тотъ пропалъ.

Безъ надежды на спасеніе, пловецъ унываетъ душой и начинаетъ роптать. Но мощный ангель-хранитель ведетъ его сквозь ревущіе валы и грозящія скалы; вдругъ на берегу онъ видитъ трехъ ангеловъ Небесъ:

О, кто прелесть ихъ опишетъ,
 Кто—ихъ силу надъ душой?
 Все окрестъ ихъ небомъ дышетъ
 И невинностью святой.

¹⁾ Соч. т. I, стр. 219.—Напечат. въ „Вѣстн. Евр.“ 1813 г.

Жуковскій, К. К. Зейдлица.

Поэтъ разумѣетъ здѣсь, конечно, трехъ ангеловъ: Вѣру, Надежду и Любовь, и продолжаетъ:

Неиспытанная радость
Ими жить, для нихъ дышать,
Ихъ рѣчей, ихъ взоровъ сладость
Въ душу, въ сердце принимать!
О, судьба, одно желанье:
Дай всѣ блага имъ вкусить!
Пусть имъ радость—мнѣ страданье,
Но—не дай ихъ пережить!

Съ намѣреніемъ или безъ намѣренія былъ выставленъ этотъ странный переворотъ въ идеяхъ,—не знаемъ; но онъ показался Екатеринѣ Аванасьевнѣ непопозволительнымъ нарушеніемъ ея приказаній—ни съ кѣмъ не говорить о своей привязанности къ ея дочери; она была очень огорчена и принудила Жуковского на слѣдующій же день оставить Муратово. Вѣроятно, еще вслѣдъ за обнаруженіемъ манифеста о составленіи военныхъ силъ (въ іюлѣ 1812 года) онъ возымѣлъ намѣреніе уѣхать въ Москву и вступить въ военную службу; но во всякомъ случаѣ была и частная причина его внезапнаго отъѣзда изъ Муратова. Послѣ отъѣзда Жуковского, Екатерина Аванасьевна сама объявила племянницамъ, дѣвицамъ Юшковымъ, о любви его и о ея отказѣ. Онѣ всѣ горячо вооружились противъ матери, приняли сторону Василя Андреевича и рассказали о всемъ Плещеевымъ, а тѣ уже сообщили все самой Марьѣ Андреевнѣ.

12-го августа 1812 года Жуковский поступилъ въ московское ополченіе въ чинѣ поручика. Въмѣстѣ съ сформированнымъ наскоро мамоновскимъ полкомъ, онъ, 26-го августа, въ день бородинской битвы, находился позади главной арміи, въ двухъ верстахъ за гренадерскою дивизіей.

«Названуѣ сраженія (25-го августа),—пишетъ Жуковский великой княгинѣ Маріи Николаевнѣ въ 1839 году,—все было спокойно: раздавались одни ружейныя выстрѣлы, которыхъ безпрестанный звукъ можно было сравнить со звукомъ топоровъ, рубящихъ въ лѣсу деревья. Солнце сѣло прекрасно; вечеръ наступилъ безоблачный и холодный, ночь овладѣла небомъ, которое было темно и ясно, и звѣзды ярко горѣли; зажглись костры; наконецъ, армія

заснула вся съ мыслию, что на другой день быть великому бою. И тишина, которая тогда воцарилась повсюду, неизобразима. Въ этомъ всеобщемъ молчаніи и въ этомъ глубокомъ темномъ небѣ, полномъ звѣздъ и мирно распростертомъ надъ двумя арміями, гдѣ столь многіе обречены были на другой день погибнуть, было что-то роковое и несказанное. И съ первымъ просвѣтомъ дня грянула русская пушка, которая вдругъ пробудила повсемѣстное сраженіе. Описывать это сраженіе здѣсь не у мѣста, да я и не умѣлъ бы этого сдѣлать, ибо не видалъ подробностей кровавой свалки. Мы стояли въ кустахъ на лѣвомъ флангѣ, на который напиралъ непріятель; ядра, невидимо откуда, къ намъ прилетали; все вокругъ насъ страшно гремѣло; огромные клубы дыма подымались на всемъ полуокружін горизонте, какъ будто отъ повсемѣстнаго пожара, и наконецъ ужасною бѣлою тучею охватили половину неба, которое тихо и безоблачно сіяло надъ бьющимися арміями. Во все продолженіе боя насъ мало-по-малу отодвигали назадъ. Наконецъ съ наступленіемъ темноты, сраженіе, до тѣхъ поръ не прерывавшееся ни на минуту, утихло. Тутъ намъ велѣно было двинуться впередъ, и мы очутились на возвышеніи посреди арміи; вдали царствовалъ мракъ; все покрыто было густымъ туманомъ, смѣшавшимся съ дымомъ, и костры непріятельскихъ биваковъ горѣли въ этомъ туманѣ тусклымъ огнемъ, какъ огромныя раскаленные ядра. Но мы недолго остались на мѣстѣ; армія тронулась и въ глубокомъ молчаніи пошла къ Москвѣ, покрытая темною ночью».

На этомъ переходѣ узналъ Жуковскаго товарищъ его со временъ университетскаго пансіона, Андрей Сергѣевичъ Кайсаровъ, директоръ полковой типографіи въ главной квартирѣ. Онъ черезъ брата своего, полковника Паисія Сергѣевича Кайсарова, отрекомендовалъ Жуковскаго фельдмаршалу Кутузову для лучшаго употребленія таланта поэта въ канцеляріи, нежели во фронтальной службѣ. Итакъ, находясь постоянно при дежурствѣ главнокомандующаго арміями, Жуковскій, какъ Тиртей, сопровождалъ русское войско, и только сочинялъ бюллетени о тѣхъ девяти сраженіяхъ, въ которыхъ онъ будто бы участвовалъ, по словамъ какого-то біографа ¹⁾. Поэтъ самъ подтверждаетъ это въ «Полномъ Отчетѣ о Лунѣ» (томъ IV, 118), гдѣ описываетъ вечеръ, когда въ лагерѣ передъ Тарутинымъ (въ началѣ октября 1812 года) онъ воспѣлъ извѣстную свою военную пѣснь:

¹⁾ Ермоловъ говорилъ П. И. Бартеневу, что Жуковскій помогалъ Скобелеву писать бюллетени и по своей скромности дозволилъ ему пользоваться незаслуженною славой.

Въ рядахъ отечественной рати,
 Пѣвецъ, *по слуху знавшій бой*,
 Стоялъ я съ лирой боевой
 И Мщенье пѣлъ для ратныхъ братій.

Достопамятнѣйшимъ событіемъ въ военной исторіи остается походъ арміи нашей послѣ бородинской битвы, когда она двинулась отъ запада къ востоку въ Москву, а потомъ, покинувъ столицу и совершивъ большое обходное движеніе, пошла сначала на югъ, а затѣмъ почти параллельно съ прежнимъ движеніемъ,—но только съ востока на западъ.

Во время этихъ переходовъ Жуковский успѣлъ прискакать на пару дней въ Муратово, но потомъ вновь возвратился въ дѣйствующую армію.

Наполеонъ, въ развалинахъ сожженной Москвы, тщетно ожидалъ предложеній мира или изъявленія покорности, какъ казалось ему, побѣжденнаго народа. И вотъ онъ вынужденъ былъ подумать объ отступленіи, чтобы высвободиться изъ западни, въ которую попалъ, слишкомъ пылко преслѣдуя Кутузова. Какъ извѣстно, армія наша преградила ему путь на южныя хлѣбородныя губерніи и принудила идти по опустошеннымъ мѣстностямъ, какъ бы сквозь строй между двумя рядами русской арміи. Кутузовъ воздерживался отъ напраснаго кровопролитія. Непрiятель и такъ терялъ каждодневно сотни людей, бросалъ орудія, снаряды, подводы, нагруженные кладью. Эти, хотя и легко добываемые, трофеи возвышали духъ арміи и народа. Всякому становилось яснымъ, что непрiятель долженъ былъ совершенно погибнуть отъ изнуренія и терпимыхъ недостатковъ. Наша армія, напротивъ, сохраняемая мудрыми распоряженіями полководца, бодрствовала. Въ лагерьъ подъ Тарутинымъ было изобиліе всѣхъ припасовъ и маркитантовъ. Всеобщее убѣжденіе, что скоро настанетъ конецъ бѣдствіямъ отечества, укрѣпляло духъ низшихъ и высшихъ чиновъ.

Таково было нравственное слѣдствіе отступленія Кутузова, поэтическимъ памятникомъ котораго была «Пѣснь во станѣ русскихъ воиновъ». Она и въ этомъ значеніи важна для потомства.

Мы слышимъ въ ней не только мысли и вдохновеніе поэта, но и отголосокъ ожиданій, понятій и надеждъ русской арміи и народнаго ополченія. Поэтъ выразилъ ихъ вдохновенными словами. Смотри съ этой точки зрѣнія на «Пѣснь во станѣ русскихъ воиновъ», мы понимаемъ энтузіазмъ, съ которымъ она была принята всѣми сословіями русскаго народа, отъ простаго ополчанина до царскаго семейства. Императрица Марія Ѳеодоровна, прочитавъ это стихотвореніе, поднесенное ей И. И. Дмитріевымъ, приказала просить автора, чтобъ онъ доставилъ ей экземпляръ стиховъ, собственною рукою его переписанный, и приглашала его въ Петербургъ. Онъ отправилъ требуемый экземпляръ съ письмомъ въ стихахъ:

Мой слабый даръ царица ободряетъ.
Владычица, въ сіяніи вѣнца,
Съ улыбкой слухъ отъ гимновъ преклоняетъ
Къ гармоніи безвѣстнаго пѣвца...
Могу ль желать славнѣйшія награды? ¹⁾

Въ собраніи своихъ сочиненій 1849 г., Жуковскій представилъ въ маленькой виньеткѣ своего *тѣнца*, то-есть самого себя, безъ бороды въ казачьей курткѣ съ лирой, стоящимъ передъ бородачами-товарищами, расположившимися на землѣ около сторожевого огня. Пѣвецъ поетъ. На небѣ видна полная луна, про которую Жуковскій разсказалъ впоследствии въ «Полномъ Отчетѣ о Лунѣ»:

Еще была воспѣта мною
Одна прекрасная луна,
Когда пылала надъ Москвою
Святая русская война.

Пѣвецъ взываетъ къ своимъ товарищамъ:

Наполнимъ кубокъ круговой!
Дружнѣ руку въ руку,
Запьемъ виномъ кровавый бой
И съ падшими разлуку...

¹⁾ Слуста 38 лѣтъ (въ 1850 г.) Жуковскій писалъ изъ Баденъ-Бадена: „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ — теперь самому мало нравится“.

Воины подхватываютъ:

Кто любить видѣть въ чашахъ дно
Тотъ бодро ищетъ боя....
О, всемогущее вино,
Веселіе героя!

Первый кубокъ пѣвецъ приглашаетъ выпить во славу предковъ: вспоминаетъ Святослава, Петра Великаго, Суворова—и воодушевившіеся воины, подхватывая послѣднія слова пѣвца, восклицаютъ:

Наполнимъ кубокъ! мечъ во длань!
Внимай намъ, вѣчный мститель!
За гибель—гибель, брань—за брань,
И казнь тебѣ, губитель!

И вновь поетъ пѣвецъ, поднимая кубокъ за родину, за близкихъ сердцу, за царя русскаго, за вождя увѣнчаннаго сѣдинами, за многихъ славныхъ полководцевъ. Онъ ихъ называетъ по именамъ и къ каждому обращается съ подходящимъ словомъ. Наконецъ, взываетъ ко всѣмъ:

Вожди славянъ, хвала и честь!
Свершайте истребленье!
Отчизна къ вамъ взываетъ: мечь!
Вселенная: спасенье! ⁴⁾.

Затѣмъ пѣвецъ обращается къ героямъ, падшимъ на брани, и увѣренный въ близкомъ торжествѣ народномъ въ борьбѣ съ пришельцемъ-завоевателемъ онъ бросаетъ ему вызовъ:

⁴⁾ Эти слова надо считать за изъясненія общаго настроенія въ лагерьъ подъ Тарутинимъ. Приводимъ здѣсь, какъ иллюстрацію общаго настроенія умовъ въ Россіи, выдержку изъ письма А. И. Тургенева къ П. А. Вяземскому: «Ея (Москвы) развалины будутъ для насъ залогомъ нашего искупленія, нравственнаго и политическаго; а зарево Москвы, Смоленска и проч. рано или поздно освѣтитъ намъ путь къ Парижу. Это не пустыя слова, но я въ этомъ совершенно увѣренъ, и событія оправдаютъ мою надежду. Война, сдѣлавшись національною, приняла теперь такой оборотъ, который долженъ кончиться торжествомъ сѣвера и блистательнымъ отмщеніемъ за безполезныя злодѣяства и преступленія южныхъ варваровъ... Намъ досталось играть послѣдній актъ въ европейской трагедіи, послѣ котораго авторъ ея долженъ быть непременно освистанъ». «Русскій Архивъ», 1866 г., стр. 251.

Веди жь своихъ царей-рабовъ
 Съ ихъ стаей въ область хлада...
 Отвѣдай хищникъ, кто сильнѣй:
 Духъ алчности или мщенье?...
 Зима, союзникъ нашъ, гряди!
 Имъ запертъ путь возвратный;
 Пустыни въ пеллѣ позади;
 Предъ ними сонмы ратны.

Среди строкъ о борьбѣ, славѣ и мщеньѣ, поэтъ не забываетъ и дружбу, и любовь, которая должна воспламенять идущаго на бой:

Люби сей полный кубокъ въ даръ!
 Среди борьбы кровавой,
 Друзья, святой питайте жаръ:
 Любовь — одно со славой...

Каждому должна быть близка память о близкомъ, дорогомъ ему существѣ. Для Жуковского и здѣсь представился случай выразить свою преданность Машѣ и воспѣть ее.

Ахъ! мысль о той, кто все для насъ,
 Намъ спутникъ неизмѣнный;
 Вездѣ знакомый слышимъ гласъ,
 Зримъ образъ незабвенный;
 Она на бранныхъ знаменахъ,
 Она въ пылу сраженья;
 И въ шумѣ стана, и въ мечтахъ
 Веселыхъ сновидѣнья.
 Отвѣдай, врагъ, исторгнуть щить,
 Рукою данный милой,
 Святой обѣтъ на немъ горитъ:
 „Твоя и за могилой!“

Таковы небольшія выдержки, которыя мы сочли нужнымъ сдѣлать изъ 642, богатыхъ картинами, стиховъ. Нѣмецкій писатель Кенитъ (Literarische Bilder aus Russland. Stuttgart. 1837) говоритъ, что пѣснь Жуковского напоминаетъ произведенія Теодора Кёрнера. Но это замѣчаніе невѣрно. Стихи Кёрнера явились годомъ позже; они также проникнуты возвышеннымъ чувствомъ борьбы за отечество, но цѣль ихъ другая: вызовъ къ неустрашимости личной, между тѣмъ какъ Жуковскій, въ увѣренности

близкаго изгнанія враговъ изъ предѣловъ Россіи, уже торжествуетъ ея побѣду.

Жуковскому не суждено было сопровождать побѣдоносную нашу армію до границъ отечества; послѣ сраженія подъ Краснымъ, едва кончилъ онъ свое посланіе: «Вождю побѣдителей» ¹⁾, какъ заболѣлъ (въ ноябрѣ) горячкою, которую перенесъ, благодаря одной силѣ своей природы. Уже въ декабрѣ онъ отправился изъ Краснаго на родину для окончательнаго поправленія, и прибылъ туда 6-го января 1813 года ²⁾.

Здѣсь, кромѣ любви подругъ его дѣтства, многое уже измѣнилось. Друга своего В. И. Кирѣевского поэтъ уже не засталъ въ живыхъ, а вдова его, Авдотья Петровна, вполне предалась отчаянію. Жуковский, самъ глубоко огорченный не только потерю друга, но и душевными страданіями вдовы, устно и письменно старался успокоить ее и вернуть къ дѣятельности. Марья Андреевна Протасова видимо слабѣла отъ неопредѣленной грудной болѣзни. Такъ какъ сестры или Плещеевы открыли ей любовь и намѣреніе Жуковскаго, отвергнутыя матерью, а онъ все не объяснялся съ нею, то взаимныя отношенія между ними сдѣлались какими-то неловкими. Онъ хотѣлъ заниматься, какъ въ прежнія времена, «но безъ душевнаго спокойствія нельзя трудиться», писалъ онъ къ Авдотьѣ Петровнѣ. Словомъ, онъ не видѣлъ исхода изъ горестнаго своего положенія. Быть можетъ, никто о томъ не догадывался; но въ дневникѣ своемъ, когда онъ въ тишинѣ ночи давалъ просторъ своимъ мечтамъ, мы видимъ его душевную скорбь и сочувствуемъ ей:

«Вотъ мнѣ тридцать лѣтъ, — пишетъ онъ въ ночь съ 25-го на 26-е февраля 1813 г., — а то, что называется истинною жизнію, мнѣ еще незнакомо. Я не успѣлъ быть сыномъ моей матери; въ то время, когда началъ чувствовать счастье сыновняго достоинства, она меня оставила; я думалъ отдать права

¹⁾ Соч. I, 271.

²⁾ А. И. Тургеневъ, не имѣя никакого извѣстія о Жуковскомъ, послалъ въ октябрѣ мѣсяцѣ въ главную квартиру въ Вильну курьера, чтобы навести о немъ справку. По справкамъ оказалось, что какой-то Жуковский, но не нашъ другъ, по выдержаніи въ университетѣ экзамена, уѣхалъ въ армію и произведенъ въ капитаны.

ея другой матери, но эта другая мать дала мнѣ уголь въ своемъ домѣ, а отдалена была отъ меня вѣчнымъ подозрѣніемъ. Семейнаго счастья для меня не было, всякое чувство надобно было стѣснять въ глубинѣ души; не смотря на нѣкоторые признаки дружбы, я сомнѣвался часто, существуетъ ли дружба, и всегда оставался въ нерѣшимости чрезмѣрно тягостной — сказать себѣ: *дружбы нѣтъ*. На что было рѣшиться? Скрывать все въ самомъ себѣ и терпѣть, и даже показывать видъ, что всѣмъ доволенъ, — принужденіе слишкомъ тяжелое, при откровенности моего характера, который, однако, отъ навыка сдѣлался и скрытнымъ. Я не желаю ни невозможнаго, ни непозволенаго. Въ этомъ никто не переувѣритъ меня; исполнится ли то, что одно можетъ дать мнѣ счастье, это, къ несчастію, зависитъ не отъ меня, а отъ другихъ. Но я искалъ его не въ низкомъ, не въ томъ, что противно Творцу и человѣческому достоинству, а въ лучшемъ и благороднѣйшемъ; я привязывалъ къ нему *все лучшее* въ жизни. Жаль жизни такой, какою я ее представилъ, тихой, ясной, дѣятельной, посвященной истинному добру! Покорностию и терпѣніемъ думалъ купить себѣ исполненіе своей надежды. И это исполненіе не было бы дорого куплено, хотя во всѣ послѣдніе годы не имѣлъ дня *истинно счастливаго* — сколько же печальныхъ! *А все емъ* — удѣлъ незавидный! Мысль, что все можетъ переѣниться, была моею подпорой. Но эта мысль не помѣшала мнѣ приобрести совершеннаго равнодушія къ жизни, которое убійственно для всякой дѣятельности. *Другимъ нужно несчастіе, чтобы привести въ силу ихъ душевныя качества; мнѣ, напротивъ, нужно счастье, то счастье, которое можетъ быть моимъ.*

«Такое мое прошедшее. Что же въ настоящемъ?»

«Все еще одна надежда, которая не можетъ быть виновною, потому что ею пробуждаются лучшія чувства, и не знаю, какая-то живая, *сладостная тѣра*, необходимость любить Провидѣніе и на него полагаться. Какъ былъ счастливъ для меня тотъ день, въ который рѣшился говорить съ Иваномъ Владиміровичемъ Лопухиннымъ¹⁾, дабы узнать мнѣніе истиннаго христианина и уважаемаго всѣми мужа. 12-го февраля, я ѣхалъ изъ Муратова на нѣсколько дней и рѣшился ему открыться. Дорога казалась мнѣ короткая. Богѣе, нежели когда-нибудь, мнѣ весело было смотрѣть на ясное небо, которое было такъ же прекрасно, какъ надежда, которую въ ту минуту украшалось мое будущее; я не молился, но чувствовалъ, что Богъ меня видѣлъ, и это чувство было сильнѣе всякой молитвы. Я, право, съ восхищеніемъ давалъ Создателю своему обѣщаніе быть Его достойнымъ своею жизнію, въ благодарность за то счастье, которое Онъ давалъ мнѣ предчувствовать въ

1) И. В. Лопухинъ, извѣстный своими общепольными и добрыми дѣлами, мазонъ, любимый императоромъ Александромъ. Онъ былъ очень уважаемъ Екатериной Аванасьевной.

этой живой надеждѣ. Другая мысль несказанно меня радовала: я видѣлъ въ будущемъ не одно неизъяснимое счастье принадлежать *ей*, дѣлить съ *ней* жизнь и все; я видѣлъ тамъ себя совсѣмъ не такимъ, каковъ я теперь, но лучшимъ, новымъ, живымъ, а не мертвымъ. Надежда восхитительная! Спокойствіе, душевная тишина, довѣренность къ Провидѣнію, все это ожидаетъ меня въ союзѣ съ *нею*, съ моимъ ангеломъ-спутникомъ, участникомъ чистой, невинной жизни. Такъ, ангелъ Маша, вѣра, источникъ всякаго добра, освятитель всякаго счастья! Что сравнится съ такимъ приобрѣтеніемъ? И какъ не обожать того, кому будешь имъ обязанъ, а это *ты*! Вѣрить вмѣстѣ съ тобою благому Провидѣнію и ему вручить въ тебѣ свою жизнь и всѣ свои надежды! До сихъ поръ я часто со страхомъ замѣчалъ какое-то отдаленіе отъ религіи—я ея никогда не отвергалъ, но она казалась мнѣ причиной всѣхъ утратъ моей жизни, и я не отдѣлилъ ея отъ предразсудка, который лишалъ меня всего. Но суевѣріе—не религія!

«Но будущее? »¹⁾.

«Оно пугаетъ меня одною неизвѣстностію, а если скажутъ: не желай невозможнаго!—я невозможности здѣсь не вижу, не видалъ и никогда видѣть не буду. Самъ бросить своего счастья не могу: пускай его у меня вырвутъ, пускай его мнѣ запретятъ, тогда по крайней мѣрѣ я не буду причиной своей утраты. Но я вѣрю, я вѣрю съ чувствомъ, что Богъ меня хранить, и что Онъ готовъ причислить меня къ семьѣ своихъ избранныхъ, которые *Его узнаютъ по своему счастью*».

Одобреніе Лопухина оживило и успокоило Жуковскаго. Онъ перевелъ нѣсколько балладъ изъ Саути, Маттисона, Гольдсмита (т. II, 1, 19, 12). Но все-таки весь 1813 годъ прошелъ въ смѣнѣхъ порывовъ надежды и отчаянія. Тутъ онъ черезъ Анну Ивановну Плещееву въ первый разъ объяснился съ Марьей Андреевной. Мать, узнавъ объ ихъ объясненіи, сильно разгнѣвалась, и въ семействѣ послѣдовали горькія сцены.

Въ концѣ 1813 года, новое лицо явилось въ кругу обитателей Муратова и Черни. Это былъ Александръ Федоровичъ Воейковъ. Жуковскій зналъ его, какъ сочинителя остроумныхъ критикъ и сатирическихъ стиховъ, которые печатались въ разныхъ журналахъ, въ томъ числѣ и въ «Вѣстникѣ Европы». Воейковъ имѣлъ нѣкоторую литературную извѣстность, и публика благоклонно принимала его колкія сочиненія. Пріѣхавъ въ Мура-

¹⁾ Ср. „Уединеніе“, т. I, стр. 300, гдѣ слова: прошедшее, настоящее и будущее замѣнены словами: вчера, нынѣ, и завтра.

тово и поселившись на короткое время у Жуковского, онъ отрекомендовался также въ семействахъ Протасовой, Плещеевыхъ и др. Благодаря своей любезности, ловкости и остроумію, онъ, хотя не имѣлъ никакой наружной привлекательности, вскорѣ освоился въ скромномъ кружкѣ, намъ уже знакомомъ. Онъ умѣлъ выставить себя на первый планъ, занимательно рассказывая о своихъ путешествіяхъ на Кавказѣ и въ другихъ мѣстностяхъ Россіи, такъ что Жуковский, изображая эти рассказы еще болѣе свѣтлыми красками, составилъ длинное свое «Посланіе къ Воейкову» ¹⁾, въ которомъ нашъ поэтъ говорить:

Ты былъ подъ знаменами славы,
Ты видѣлъ, другъ, слѣды кровавы
На Русь нахлынувшихъ враговъ,
Ихъ казнь и ужасъ ихъ побѣга;
Ты, строя свой бивакъ изъ снѣга,
Себя смиренню научалъ,
И хлѣбъ водою запивалъ,—
„Хвала, умѣренность златая!“
Съ пѣвцомъ Тибурскимъ восклицалъ.

Добродушный Жуковский, который умѣлъ замѣчать только хорошія свойства въ характерѣ своихъ знакомыхъ, не могъ однакоже въ самомъ началѣ своего посланія не проронить слѣдующихъ словъ, какъ бы невольно руководимый нравственнымъ чутьемъ:

Добро пожаловать, пѣвецъ,
Товарищъ-другъ, *хотя и мстецъ*,
Въ смиренную обитель брата;
Поставь въ мой уголъ посохъ свой
И умиленною мольбой
Почти домашняго пената!

Отъ Воейкова не могли ускользнуть отношенія Жуковского къ Марьѣ Андреевнѣ, и онъ, будто принимая дружеское участіе въ нихъ, написалъ тайкомъ въ его дневникъ нѣсколько стиховъ, касающихся этихъ отношеній. Жуковский, вмѣсто того,

¹⁾ Соч., т. I, 319.

чтобы дать строгій выговоръ лазутчику чужихъ книгъ, написаль:

Да кто, скажи мнѣ, научилъ
Тебя предречь осмью стихами
Въ сей книгѣ съ бѣлыми листами
Весь сокровенный жребій мой?

Онъ даже обѣщаль подарить ему этотъ дневникъ, когда тетрадь будетъ исписана. Но это обѣщаніе осталось неисполненнымъ, ибо спустя нѣсколько мѣсяцевъ, когда Воейковъ попросилъ руки Александры Андреевны Протасовой и вопреки всѣмъ предостереженіямъ сталъ всемогущимъ у Екатерины Аванасьевны, то онъ съ надменностію началъ преслѣдовать своего гостепріимнаго хозяина. Жуковский удалился на время въ Чернь къ друзьямъ своимъ, Плещеевымъ. Ободренный совѣтами Лопухина и письменными отзывами знатныхъ духовныхъ лицъ изъ С.-Петербурга и Москвы ¹⁾, онъ поѣхаль въ апрѣлѣ съ Плещеевымъ въ Муратово, чтобы попытать еще разъ счастья у Екатерины Аванасьевны, которую нѣкоторые знакомые взялись расположить въ его пользу. Но она сдаться на представленія не могла и осталась при своихъ взглядахъ внѣшняго формализма ²⁾, а ходатаи измѣнили Жуковскому.

«Съ полною довѣренностію, — пишетъ онъ 16-го апрѣля 1814 года къ Авдотѣ Петровнѣ, — я сунулся-было просить дружбы тамъ, гдѣ было одно притворство, и меня встрѣтило предательство со всѣмъ своимъ отвратительнымъ безобразіемъ».

¹⁾ Тургеневъ сообщилъ Жуковскому письмо Филарета, въ которомъ этотъ святитель говорилъ, что къ женитбѣ Жуковского на Марьѣ Андреевнѣ нѣтъ препятствія. См. „Русск. Арх.“ 1866 г., стр. 51. Жуковский отвѣчалъ Тургеневу своимъ „Посланиемъ“, напечатаннымъ въ т. I, 237, изд. 1848, и помѣченныиъ 1810 годомъ, между тѣмъ какъ оно писано именно въ 1813 году. Г. Ефремовъ въ изд. соч. Жуковского 1878 года исправилъ эту ошибку. Ср. I, стр. 502, примѣч. къ стр. 582.

²⁾ Эта черта характера Екатерины Аванасьевны побудила Жуковского къ горькимъ словамъ въ дневникѣ (25 февр. 1813 г.): „говѣть не значить ѣсть грибовъ, въ известныя часы власть земныя поклоня и тому подобное — это одинъ пустой обрядъ... если имъ ограничить говѣнье...“

На дорогѣ, ночуя у одной родственницы, онъ узналъ, что Воейковъ посватался за Александру Андреевну, что свадьба уже назначена 2-го іюля, и что послѣ свадьбы всѣ ѣдутъ въ Дерптъ.

«Я поглядѣлъ на своего спутника, больную, одержимую подагрой *надежду*, которая, скрѣпя сердце, тащится за мною на костыляхъ и часто отстаётъ. — Что скажешь, товарищъ? — «Что сказать — намъ не долго таскаться вмѣстѣ по бѣлу свѣту. Послѣ втораго іюля, что бы ни было, мы разстанемся. Или пошлю тебя одного, и бреди, какъ хочешь; или оставлю тебѣ свою сестрицу—*исполненіе*. Съ нею дурной человѣкъ становится хуже, а добрый гораздо добрѣе. Она приготовитъ тебя къ тому обѣтованному краю—

Гдѣ вѣра не нужна, гдѣ мѣста нѣтъ надеждѣ,
Гдѣ царство вѣчное одной любви святой!

— А если останусь одинъ?

— Тогда готовься, какъ умѣешь самъ, къ переселенію въ этотъ край; но едва-ли удастся получить пропускной билетъ—

Развѣ чудо путь укажетъ
Въ сей прелестный край чудесъ.

— Но ждать чуда? Кто его дождется?

— И я то же думаю,

— Что же дѣлать?

— Не знаю, а для меня вѣрно только то, что мы *разстанемся*.

«Вотъ мой разговоръ съ надеждой.

«Поутру рано пріѣзжаю. Я былъ принять по обыкновенному; но давая мнѣ руку, смотрѣли на Пещеева. А мой подагрикъ шепнулъ мнѣ на ухо: «*Терпи*, тебя будутъ *любить*, когда получишь свободу быть тѣмъ, какимъ быть хочешь и можешь». И сердце скрѣпилось, но было-ли оно довольно такъ, какъ бываетъ довольнымъ у человѣка, возвратившагося въ тотъ кругъ, гдѣ его счастье, гдѣ его настоящая жизнь? Нѣтъ! Нѣтъ! Сиротство и одиночество ужасно въ виду счастья и счастливыхъ; гораздо легче быть одинокимъ въ лѣсу съ звѣрями, въ тюрьмѣ съ цѣпями, нежели подлѣ той милой семьи, въ которую хотѣлъ бы броситься и изъ которой тебя выбрасываютъ. Пещеевъ уѣхалъ; у Воейкова заболѣла голова, его положили въ кабинетъ; сами подкладывали ему подъ ноги, подъ голову подушки. Я сидѣлъ спичкой, и на меня поглядывали съ торжествующимъ, радостнымъ видомъ — въ самомъ дѣлѣ торжество и радость! Я посматривалъ изъ подлобья: не замѣчу-ли гдѣ въ углу христіанской *любви*, внушающей сожалѣніе, пощаду, кротость? Нѣтъ! Одно холодное *жестокосердіе* въ монашеской рясѣ, съ кровавою надписью на лбу: *должность* (выправленною весьма неискусно изъ слова:

суевѣріе), сидѣло противъ меня, и страшно сверкало на меня глазами, и мнѣ стало страшно, и я ушелъ къ себѣ отвѣдать ничтожества, то-есть, какъ-нибудь *заснуть*—и заснулъ, и проснулся къ *утѣшенію*—къ вашей запискѣ, которая и всегда бы меня обрадовала, а тутъ утѣшила. Голосъ друга слышался въ пустынѣ. Въ ней стоитъ: *милой братъ мой!* Это слово имѣеть совсѣмъ иной смыслъ въ минуты тяжелаго горя. Да это же слово прилетѣло съ *родины*, гдѣ было много моего *собственного!* Было — и нѣтъ!...»

Конечно, не будучи встревоженнымъ и душевно взволнованнымъ нашъ другъ посмотрѣлъ бы на Муратовскія событія совсѣмъ иными глазами; въ этомъ, вполнѣдствіи времени, онъ и самъ сознается; но мы должны были привести и эти порывы горестныхъ чувствъ, чтобы обозначить вполнѣ душевное его настроеніе въ ту пору, когда онъ потерялъ довѣріе къ словамъ людей, называвшихъ себя его друзьями.

„И эти люди называютъ себя христіанами? Чтò это за религія, которая учитъ предательству и вымораживаетъ изъ души всякое состраданіе? Эти люди-эгоисты, подъ святымъ именемъ христіанъ, смотрятъ на людей съ высокова. „Однимъ несчастнымъ болѣе или менѣе въ порядкѣ созданія — какое дѣло! *Рѣжь во имя Бога, и будь спокоенъ!*“ Я презираю ихъ отъ всей души, — и съ тою религіей, которую они такъ пышно выдаютъ за истинную!“

Оставаться долѣе въ Муратовѣ было нестерпимо. И когда Воейковъ 30-го августа, въ день своихъ именинъ, которыя праздновались въ Муратовѣ, позволилъ себѣ презрительно обращаться съ Жуковскимъ и не былъ унять Екатериной Аванасьевной, то нашъ другъ рѣшился совсѣмъ покинуть свое мѣстопребываніе въ сосѣдствѣ съ Муратовымъ и поселиться въ Долбинѣ, у искреннѣйшихъ друзей его и Маріи Андреевны, — у Анны и Авдотьи Петровнѣ. Здѣсь онъ началъ жить, какъ въ добровольномъ изгнаніи, со всѣми пенатами своего потеряннаго рая, и сочинилъ цѣлый рядъ прекраснѣйшихъ балладъ, посланій и другихъ стихотвореній, которыя онъ самъ и его подруги назвали «Долбинскими стихотвореніями». Тетрадь ихъ, напечатанная въ «Русскомъ Архивѣ» за 1864 годъ, содержитъ въ себѣ только такъ-сказать домашніе стишки, и то не всѣ; для печати они назначены не были, но и изъ нихъ видно, какой цѣлительный бальзамъ для сердечной раны Жуковского сумѣли составить Долбинскія жительницы, и

какъ нѣжная ихъ дружба сохранила для русской словесности нашего лучшаго лирическаго поэта, и притомъ поэта, исполненнаго благороднѣйшимъ патріотизмомъ, въ высшемъ смыслѣ этого слова.

Итакъ, простясь съ надеждою, которую Жуковский однако не переставалъ лелѣять въ сердцѣ, онъ мало-по-малу началъ приравливать къ обстоятельствамъ и къ окружающимъ его людямъ. Шуточная и серьезная переписка въ стихахъ, равно какъ возвышенныя творенія и переводы Долбинскіе содержатъ въ себѣ богатый матеріалъ для біографа, а въ изложенныхъ нами событіяхъ заключается ихъ лучшій комментарий. Кто безъ сочувствія прочтетъ теперь его «Пѣснь» (томъ I, 297):

О, милый другъ, теперь съ тобою радость,
А я одинъ — и мой печалень путь;
Живи, вкушай невинной жизни сладость,
Въ душѣ не измѣнись, достойна счастья будь;
Но не отринь въ толпѣ плѣняемыхъ тобою
Ты друга прежняго, увядшаго душою;
Веселья ихъ дѣли — ему отрадой будь,
Его, мой другъ, не позабудь!

О, милый другъ, намъ рокъ велѣлъ разлуку:
Дни, мѣсяцы и годы пролетать;
Вотще къ тебѣ простру отъ сердца руку,
Ни голосъ твой, ни взоръ меня не усладятъ.
Но и вдали моя душа съ твоей согласна;
Любовь ни времени, ни мѣсту не подвластна;
Всегда, вездѣ ты мой хранитель-ангелъ будь,
Меня, мой другъ, не позабудь!

О, милый другъ, пусть будетъ прахъ холодный
То сердце, гдѣ любовь къ тебѣ жила:
Есть лучшій міръ; тамъ мы любить свободны;
Туда моя душа ужъ все перенесла.
Туда всечасное влечетъ меня желанье;
Тамъ свидимся опять; тамъ — наше воздаянье,
Сей вѣрой сладкою полна въ разлугѣ будь, —
Меня, мой другъ, не позабудь!

Читатель пойметъ вполне и послѣднюю строфу другой «Пѣсни» (т. I, 111):

Для души моей плѣненной
Здѣсь одинъ и былъ цвѣтокъ,
Ароматный, несравненной;
Я сорвать... но что же рокъ?
— Не тебѣ имъ насладиться,
Не твоимъ ему доцвѣсть!
— Ахъ, жестокой, чѣмъ же льститься?
Гдѣ подобный въ мѣрѣ есть?

Въ балладѣ: «Эльвина и Эдвинъ» (I, 362) мы читаемъ какъ будто содержаніе разговоровъ Жуковского съ Екатериной Ана-насьевной:

Съ холодною смотрѣлъ старикъ суровой
На ихъ любовь, на счастье двухъ сердецъ.
Разстаньтесь!— роковое слово
Сказалъ онъ наконецъ.

И далѣе, когда Эдвинъ рѣшительно отдаетъ себя родитель-ской волѣ, онъ говорить:

Увы, Эдвинъ, въ какой борьбѣ въ немъ страсти!
И ни одной нѣтъ силы побѣдить...
Какъ не признать отцовской власти?
Но какъ же не любить?

Стихотвореніе: «Эолова арфа» (I, 374), плѣняющее всѣхъ, кто только можетъ хоть сколько-нибудь оцѣнить романтиче-скую прелесть тоски о минувшемъ, — именно оттого такъ и нравилось, что поэтъ говорилъ въ минуту собственныхъ ощу-щеній сердечной боли:

Будь, арфа, для милой
Залогомъ прекрасныхъ минувшаго дней;
И сладкіе звуки
Любви не забудь,
Услада разлуки
И вѣстникъ души неизмѣнный будь ¹⁾.

¹⁾ Плещеевъ положилъ эту балладу на музыку, «понеже она вступила въ за-краины его сердца назидательною трогательностью».

Выборъ стиховъ для перевода въ точности соотвѣтствуетъ настроенію духа Жуковскаго. Таковы, на примѣръ, «Путешественникъ» Шиллера (I, 129) и «Алина и Альсимъ» Монкрифа (I, 339).

VI.

Свадьбу Александры Андреевны, назначенную въ іюлѣ мѣсяцѣ, пришлось отложить, потому что на приготовленіе приданаго недоставало самаго существеннаго—денегъ. И вотъ, Жуковскій продалъ свою деревню возлѣ Муратова одному сосѣду и всѣ деньги, 11,000 рублей асс., отдалъ въ приданое своей племянницѣ, и еще съ восторгомъ благодарилъ Екатерину Аванасьевну за принятіе этого подарка.

„Теперь поддерживаетъ меня мысль,—пишетъ онъ Долбинскимъ подругамъ,—что я уже ни отъ кого и ни отъ чего независимъ. Тетушка не даетъ мнѣ ничего, ни отнять у меня ничего не можетъ. Развѣ мы съ Машей не на одной землѣ и не подъ однимъ отеческимъ правленіемъ? Развѣ не можемъ другъ для друга жить и имѣть всегда въ виду другъ друга? Одинъ домъ—одинъ свѣтъ; одна кровля—одно небо. Не все-ли равно? А будущее все еще наше. То, что мы желали, не исполнилось, вѣроятно, не исполнится! *Желанія* можно переменить; а цѣль останется все одна и та же. Будучи у васъ, я объ этомъ къ ней напишу. Отъ нея единственно зависитъ дать мнѣ еще много счастья. Она одна можетъ заставить меня или уважать жизнь, или ее презирать. Надобно быть выше судьбы своей, а я еще много ниже: могу сохранить всѣ свои чувства—теперь на нихъ инаго имѣть права не можете; я могу свободно презирать и несправедливости, и кровожадное суевѣріе, и эгоизмъ, украшенные мнимымъ добродушіемъ“.

Отплативъ такимъ образомъ любовью за оскорбленія, онъ чувствовалъ теперь необходимость писать для славы:

„Слава для меня—имя теперь святое. Хочу писать къ Царю—предметъ высокій, и я чувствую, что теперь моя душа ближе къ всему высокому. Въ ней живѣе всѣ прекрасныя мысли—о Провидѣніи, о добрѣ, о настоящей славѣ. Кому я всѣмъ этимъ обязанъ? Право, не знаю, что сильнѣе въ моемъ сердцѣ, любовь или благодарность? Не безпокойтесь обо мнѣ; не представляйте себѣ моего состоянія низкимъ уныніемъ. Жизнь безъ счастья кажется мнѣ теперь чѣмъ-то священнымъ и величественнымъ. Я могу теперь ее цѣнить, и какъ пророкъ, знаю будущее. А Провидѣніе, которое во

всемъ для меня видимо и слышно — какое величіе даетъ оно и свѣту, и жизни. Дружба, да—и только. Чего мнѣ болѣе?»

Въ это-то время онъ написалъ извѣстное свое «Посланіе императору Александру», дѣйствительно приготовившее ему путь къ тому высокому поприщу, котораго онъ достигъ черезъ нѣсколько лѣтъ. Во октябрѣ отправилъ онъ свою рукопись къ А. И. Тургеневу въ С.-Петербургъ для поднесенія императрицѣ Маріи Феодоровнѣ. Тургеневъ, представивъ государынѣ передъ чтеніемъ прекрасно переписанный и переплетенный экземпляръ стиховъ, читалъ внятно и съ чувствомъ по своей рукописи, а государыня слѣдила глазами по своей и безпрестанно съ восхищеніемъ останавливалась на тѣхъ стихахъ, которые невольно поражали ее. Великая княжна Анна Павловна и великіе князья Николай и Михайль Павловичи прерывали чтеніе восклицаніями: «Прекрасно, превосходно, *c'est sublime!*» Чтеніе происходило 30-го декабря 1814 года, вечеромъ, въ комнатахъ ея величества, въ присутствіи еще другихъ особъ: графини Ливень, Нелидовой, Нелединскаго-Мелецкаго, Вилламова, Уварова и проч. Легко можно себѣ представить, что вся обстановка, свѣжесть событій, о которыхъ упоминается въ «Посланіи», и выразительное чтеніе тронутаго до слезъ друга сочинителя придавали еще особенный блескъ пламенному генію поэта. Государыня приказала немедленно сдѣлать великолѣпное изданіе этого стихотворенія въ пользу Жуковскаго и пожелала, чтобъ онъ непременно самъ пріѣхалъ въ С.-Петербургъ, и чтобы всѣ новые стихи его были сообщены ей поскорѣе ¹⁾.

Въ то время, послѣ взятія Парижа, въ провинціяхъ читали вездѣ вдохновенные стихи Жуковскаго передъ обвитымъ свѣжими цвѣтами бюстомъ императора, какъ торжественный манифестъ русскаго народа къ спасенной отъ Наполеона Европѣ, и колѣнопреклоняясь, внимали послѣднимъ словамъ поэта къ русскому царю:

Прими жь, въ виду Небесъ, свободный нашъ обѣтъ:
За благодѣяніе царскую, краснѣйшую побѣду;

¹⁾ См. письмо А. И. Тургенева въ „Русск. Архивъ“, 1864 г., стр. 448.

За то величіе, въ какомъ явилъ Ты міру
 Столъ древле славную отцовъ *Твоихъ* порфиру;
 За вѣру въ страшный часъ къ народу Твоему;
 За имя данное на всѣ вѣка ему,—
 Здѣсь, окружая *Твой* престолъ *Благословенной*,
 Подъемлемъ руку всѣ къ рукѣ Твоей священной;
 Какъ предъ ужасною святыней алтаря,
 Обѣтъ нашъ передъ ней: *все въ жертву за Царя!*

Въ этомъ же настроеніи духа Жуковскій dokonчилъ начатый еще въ 1813 году извѣстный народный гимнъ.

Къ 25-му декабря 1814 года было назначено праздновать воспоминаніе избавленія церкви и державы російской отъ нашествія галмовъ и съ ними двадцати языкъ. Жуковскій началъ писать для этого праздника, и кончилъ въ Дерптѣ стихи: «Пѣвецъ въ Кремлѣ» (I, 407). Въ нихъ представленъ пѣвецъ русскихъ воиновъ, возвратившійся на родину и поющій пѣснь освобожденія въ Кремлѣ, среди гражданъ московскихъ, въ виду жертвы, принесенной за отечество, и въ тотъ самый день, когда торжествующая Россія преклоняетъ съ благодарностью колѣни предъ Промысломъ, спасшимъ черезъ нее всѣ народы Европы и всѣ блага свободы и просвѣщенія.

Какъ ни благозвучны стихи «Пѣвца въ Кремлѣ», и какъ ни разнообразны соотвѣтствующія обстоятельствамъ мысли и картины, но, читая эти стихи, чувствуешь въ нихъ что-то искусственное и нѣкоторый недостатокъ сердечной искренности. Пѣснь пѣвца въ Кремлѣ течетъ медленно, какъ широкій потокъ лавы, который свѣтится пурпуровымъ блескомъ лишь въ потьмахъ. И не мудрено! Жуковскій началъ свою Кремлевскую пѣснь въ Болховѣ:

„Но здѣсь не Долбино,—пишетъ онъ къ Авдотѣ Петровнѣ,—не низкой уголокъ, гдѣ есть бюро и надъ бюро милой ангелъ; не сижу я въ Долбинскомъ домѣ подлѣ вашихъ дѣтей, подлѣ моей шифоньеры, гдѣ лежатъ Машины волосы, глядя на четверолиственникъ, вырѣзанный на вашей печати“.

Онъ написалъ всю пѣснь отрывками то въ Черни, то въ Москвѣ, и кончилъ ее въ Дерптѣ въ 1816 году, а напечаталъ

отдѣльнымъ изданіемъ уже въ С.-Петербургѣ въ томъ же году. Последняя строфа, которая должна была бы гремѣть какъ раскатъ грома, похожа на лирическую мечту, напоминающую *тоску по милой*:

ПѢВЕЦЪ И НАРОДЪ.

Свѣти, свѣти, звѣзда небесъ!
 Къ ней взоры, къ ней желанья!
 Къ ней, къ ней за тайну сихъ завѣсь,
 Земныя упованья!
 Тамъ все, что здѣсь плѣнило насъ
 Явленіемъ мгновеннымъ,
 Что взялъ у жизни смертный часъ,
 Воскреснетъ обновленнымъ.
 Рука съ рукой, вождю во слѣдъ,
 Въ одну, друзья, дорогу!
 И съ нами въ братскомъ хорѣ свѣтъ
 Пой: слава въ вышнихъ Богу!

Перечитывая ироническіе стихи, которые Жуковский ради развлечения отъ мысли о приближающемся часѣ разлукъ съ родными набросалъ на летучіе листки ¹⁾, и сравнивая съ ними стихи, писанные Жуковскимъ въ то же время на прощаніе Долбинскимъ, Чернскимъ и Муратовскимъ друзьямъ, мы видимъ подтвержденіе того психологическаго наблюденія, что въ человѣческой душѣ часто совпадаютъ противоположныя чувства, что горе часто сживается съ юморомъ. Вотъ, на примѣръ, рассказы Жуковскаго о томъ, какъ однажды поэтъ Пестовъ разсуждалъ съ какою-то ученою дамой о безвременной смерти Пиндара:

Съ печали дама зарыдала,
 Съ печали зарыдалъ поэтъ!..
 За что, за что судьба сослала
 Пиндара къ Стиксу въ тридцать лѣтъ!

¹⁾ Напечатаны въ „Русск. Арх.“ за 1864 годъ; на примѣръ, „Къ Воейкову“, 21-го декабря 1814 года и 1-го января 1815; „Плачь о Пиндарѣ“, 20-го декабря 1814 года.

Лакей съ метлою тутъ случился,
 Въ слезахъ ихъ вида, прослезился,
 И въ дѣтской нянька стала выть,
 Заплакалъ съ нянькою ребенокъ,
 Заплакалъ поварь, поваренокъ,
 Буфетчикъ, бросивъ чашки мыть,
 Заголосилъ при самоварѣ;
 Въ конюшнѣ конюхъ зарыдалъ;
 И словомъ, цѣлый дождь стоналъ
 О пѣснопѣвцѣ, о Пиндарѣ.
 Да признаюся вамъ, друзья,
 Едва и самъ не плачу я!
 Что жъ вышло? Всѣ такъ громко вили,
 Что все сосѣдство взгомозили.

Въ торопяхъ бѣжить къ нимъ сосѣдъ: «Что случилось?»
 Узнавъ изъ отвѣта, что все несчастье отъ поэта, который болѣе
 трехъ тысячъ лѣтъ скончался—

Поджавъ бока свои, сосѣдъ
 Смѣяться началъ, и смѣяться
 Такъ, что отъ смѣха надорваться.
 И смотримъ: за сосѣдомъ вслѣдъ
 Всѣ, кучерь, поварь, поваренокъ,
 Буфетчикъ, нянька и ребенокъ,
 Лакей съ метлою и самъ поэтъ,
 И дама—въ запуски смѣяться!
 И хоть я радъ бы удержаться,
 Но признаюся вамъ, друзья,
 Смѣюсь за ними вслѣдъ и я.

Въ посланіи къ Воейкову, котораго онъ пугаетъ предстоящимъ
 наказаніемъ за дурные стихи, Жуковскій перебираетъ многихъ
 изъ современныхъ поэтовъ не по именамъ, а по сочиненіямъ.
 Но вдругъ онъ видитъ множество стихотворцевъ, которые кри-
 чать громогласно:

Брань и смерть Карамзину!..
 Зубы грѣшнику порвемъ:
 Осрамимъ хребетъ строптивый,
 Задъ во утро избіемъ,
 Намъ обиды сотворивый!

«Что-жъ это предвѣщаетъ?»—спрашиваетъ Жуковский:—«видно, и намъ помышлять объ исправленіи!»

Мы достойны этихъ мукъ!
 Я за вѣдьмъ, за привидѣнья,
 За чертей, за мертвецовъ,
 Ты жъ за то, что въ переводѣ
 Очутися изъ Садовъ ¹⁾
 Подъ капустой въ огородѣ.

Это было писано 1-го января 1815, а 6-го января, день, въ который два года тому назадъ онъ возвратился изъ арміи на родину, онъ пишетъ къ Авдотѣ Петровнѣ:

Друзья, въ сей день былъ мой возвратъ;
 Но онъ дѣя насъ и день разлуки.
 На дружбу вѣрную дадимъ другъ другу руки!
 Кто братъ любовію, тотъ и въ разлукѣ братъ!
 О, нѣтъ! Не можетъ быть для дружбы разстоянья!
 Вдали, какъ и вблизи, я буду вашъ родной,
 А благодарныя объ васъ воспоминанья
 Возму на самый край земной!
 Васъ, добрая сестра, на жизнь другъ вѣрный мой,
 Все, что здѣсь мое, со мною раздѣлите-ль!
 Васъ братъ вашъ, Долбинскій минутный житель,
 Благодарить растроганной душой
 За тѣ немногія мгновенья,
 Которыя при васъ, въ тиши уединенья,
 Спокойно музамъ онъ и дружбѣ посвятилъ.
 Что-бъ рокъ ни присудилъ,
 Но съ Долбинской моей семьей
 Разлука самая меня не разлучитъ!
 Она лишь дружескій союзъ нашъ утвердитъ.

Отказавшись отъ надежды на брачный союзъ съ племянницей своею, Жуковский хотѣлъ по крайней мѣрѣ сохранить себѣ права дяди, быть прямымъ братомъ матери ея и покровителемъ ея семьи. Прежде чѣмъ уѣхать въ Петербургъ, онъ при прощаніи съ Муратовскими жителями хотѣлъ еще разъ объясниться съ Ека-

¹⁾ Воейковъ переводилъ Варгиліевы Georgica, нѣкоторыя поэмы аббата Деллия и пр.

териной Аванасьевной и увѣдомилъ объ этомъ свою племянницу, Марью Андреевну:

„Сказавъ маменькѣ рѣшительно, что я ей братъ, мнѣ должно быть имѣ не на однихъ словахъ, не для того единственно, чтобы получить этимъ имениемъ право быть вмѣстѣ. Если я ей говорилъ искренно о моей къ тебѣ привязанности, если объ этомъ и писалъ, то для того, чтобы не носить маски,—я хотѣлъ только свободы и довѣренности. Это насъ рознило съ нею. Теперь, когда все, и самое чувство пожертвовано, когда оно переѣвилось въ другое лучшее и нѣжнѣйшее, насъ съ нею ничто не будетъ рознить. Чего я желалъ? Быть счастливымъ съ тобою! Изъ этого теперь должно выбросить только одно слово, чтобы все замѣнить. Пусть буду счастливъ—тобою! Моя привязанность къ тебѣ теперь точно безъ примѣси собственного, и отъ этого она живѣе и лучше. Если же на минуточку и завернется старая мысль, то всегда съ своимъ дурнымъ старымъ товарищемъ, грустью; сбѣги уйди къ себѣ, чтобы опять себя отыскать такимъ, какимъ надобно, а это еще теперь, когда я отъ маменьки ничего не имѣю, когда я ей еще не братъ“.

Пріѣхавъ въ Муратово, онъ напередъ письменно изложилъ Екатеринѣ Аванасьевнѣ свои требованія и потомъ объяснился съ нею словесно.

„Мы говорили! Этотъ разговоръ можно назвать холоднымъ толкованіемъ въ прозѣ того, что написано съ жаромъ въ стихахъ. Смыслъ тотъ же, да чувства нѣтъ. Она мнѣ сказала, чтобы я до юля остался въ С.-Петербургѣ, потому что увидитъ; однимъ словомъ, той сестры нѣтъ для меня, которой я желаю, и которая сдѣлала мое счастье. Еще она сказала: „Дай время мнѣ опять сблизиться съ Машей, ты насъ совсѣмъ разлучить!“ Признаюсь, противъ этого не имѣю возраженія, и если это такъ, то мнѣ нѣтъ оправданія, и я поступаю, какъ эгоистъ, желая съ вами остаться. Довольно! Твердость и спокойствіе, а все прочее—Промыслу!“

Такъ онъ уѣхалъ, и останавливался въ Москвѣ у Карамзина. Черезъ нѣсколько времени Протасовы на пути въ Дерптъ пріѣхали тоже въ Москву—проститься съ родными. На силу, съ помощью друзей, Жуковский могъ получить позволеніе провозжать ихъ въ Дерптъ, дабы помочь имъ устроиться въ новомъ ихъ мѣстопребываніи. Вѣроятно, отъѣздъ его изъ Дерпта въ Петербургъ нѣсколько замедлился, можетъ-быть, въ той надеждѣ, что ему можно было бы остаться въ Дерптѣ. Но Екатерина Аванасьевна настояла на своемъ и требовала, чтобы Жуковский поскорѣе уѣхалъ.

Мы не можем кончить первый отдѣлъ нашего очерка, не включивъ въ него выдержки изъ замѣчательнаго письма Жуковскаго къ Маріи Андреевнѣ; оно есть живой образецъ благородства и возвышенности мыслей ихъ обоихъ; говорю: «обоихъ», потому что съ этой поры начинается личное мое съ ними знакомство. Вотъ что Жуковский пишетъ къ Маріи Андреевнѣ:

„Расположеніе, въ какомъ къ тебѣ пишу, увѣрило меня, что я не нарушаю своего слова тѣмъ, что къ тебѣ пишу. Надобно сказать все своему другу. Я долженъ непремѣнно тебѣ открыть настоящій образъ своихъ мыслей. Мама моя (теперь моя богѣе, нежели когда-нибудь), поняла ли ты то, что заставило меня *рѣшительно* отъ тебя отказаться? Ангелъ мой, совѣтъ не мысль, что я желаю незаконнаго. Нѣтъ! я никогда не перемѣню на этотъ счетъ своего мнѣнія, и вѣрю, что я былъ-бы счастливъ, и что Богъ благословилъ бы нашу жизнь. Совѣтъ другое и гораздо лучшее побужденіе произвело во мнѣ эту перемѣну: твое собственное счастье и спокойствіе! Рѣшившись на эту жертву, я входилъ во всѣ права *твоего отца*. Другая, новѣйшая связь! Право, эти минуты были для меня божественныя; и если можно слышать на землѣ голосъ Божій, то, конечно, въ ту минуту онъ мнѣ послышался! Съ этимъ чувствомъ все для меня перемѣнилось, всѣ отношенія къ тебѣ сдѣлались другія: я почувствовалъ въ душѣ необмѣновенную ясность; то, чего я никогда не имѣлъ въ жизни, вдругъ сдѣлалось *моимъ*: я видѣлъ подлѣ себя *сестру* и сдѣлался другомъ, покровителемъ, товарищемъ ея дѣтей; я готовъ былъ глядѣть на маменьку другими глазами, и право, восхищался тѣмъ чувствомъ, съ какимъ бы назвалъ ее *сестрой*. Ничего еще подобнаго не бывало у меня въ жизни! Имя *сестры* въ первый разъ въ жизни меня тронуло до глубины сердца! Я готовъ былъ ее обожать; ни въ комъ не имѣла бы она такого неизмѣннаго друга, какъ во мнѣ. До сихъ поръ имя: *сестра*—только меня пугало, оно казалось мнѣ разрушителемъ моего счастья; послѣ совершеннаго пожертвованія себя, оно показалось мнѣ самымъ лучшимъ утѣшеніемъ, совершенною всему замѣной. Боже мой, какая прекрасная жизнь мнѣ представилась! Самое дѣятельное, самое ясное усовершенствованіе себя всѣмъ добромъ. Можно ли, милый другъ, измѣнить великому чувству, которое насъ вознесло выше самихъ себя! Жизнь, освѣщенная этимъ великимъ чувствомъ, казалась мнѣ прелестною! Быть вашимъ *отцомъ* (братъ вашей матери имѣетъ на это имя право), назвать васъ *своими* и заботиться о вашемъ счастьи—чѣмъ для этого не пожертвуешь. Стоило ей только вообразить, что братъ ея всталъ изъ гроба и просится опять въ ея домъ, или лучше вообразить, что вашъ отецъ живъ, и что онъ съ полною къ вамъ любовью хочетъ съ вами быть опять на свѣтѣ. Осмотрѣвшись въ Дерптѣ, я увѣренъ, что здѣсь работалъ бы я такъ, какъ нигдѣ

нельзя работать: никакого разсѣянія, тѣмъ пособій и ни малѣйшей заботы о томъ, чтобы прожить день, и при всемъ этомъ первое и единственное мое счастье: *семья*. Съ такимъ чувствомъ пошелъ я къ ней, къ *моей сестрѣ*. Что же въ отвѣтъ? „Разстаться!“ Она увѣряетъ меня, что не отъ недовѣрчивости, а для сохраненія твоей и ея репутаціи! Нѣтъ, эта причина несправедливая! Но все равно, я не раскаяваюсь въ своемъ пожертвованіи. „Служить!“—спрашиваю, для какихъ выгодъ? Гдѣ тутъ имѣть занятіе? Трудиться изъ-за денегъ? Прощай, энтузіазмъ! Ремесленничество не сходно ни съ какимъ энтузіазмомъ; но и безъ него разсѣяніе погубило бы энтузіазмъ. Нѣтъ, милая, голосъ брата не дошелъ до ея сердца. Теперь что мнѣ осталось? Начинать новую жизнь безъ цѣли, безъ бодрости и за какимъ счастіемъ гнаться? Такъ и быть! Все въ жизни къ прекрасному средство. Но сердце рвется, когда подумаешь, чего и для чего меня лишили“.

Наконецъ, при отъѣздѣ изъ Дерпта, 29-го марта 1815 года, онъ еще разъ писалъ:

„Милый другъ Маша, надобно сказать тебѣ что-нибудь въ послѣдній разъ. У тебя есть добрый товарищъ—твоя смиренная покорность Провидѣнію! Она у тебя не на словахъ, а въ сердцѣ и на дѣлѣ. Да утѣшаетъ тебя Фенелонъ, котораго ты понимать можешь. Я благодарю тебя за то, что ты его мнѣ вчера прислала. Въ дополненіе къ Фенелону я пришлю тебѣ Масильяона. Пусть это чтеніе напоминаетъ тебѣ обо мнѣ, о человѣкѣ, который желаетъ быть твоимъ товарищемъ во всемъ добромъ. Я никогда не забуду, что всѣмъ тѣмъ счастіемъ, какое имѣю въ жизни, обязанъ тебѣ, что ты давала лучшія намѣренія, что все лучшее во мнѣ было соединено съ привязанностью къ тебѣ, что наконецъ тебѣ же я былъ обязанъ самымъ прекраснымъ движеніемъ сердца, которое рѣшилось на пожертвованіе тобою. Сама можешь судить, что въ этомъ *воспоминаніи* о тебѣ заключены будутъ всѣ мои дѣятельности. Пропади оно—я все потеряю. Я сохраняю его какъ свою лучшую драгоценность. Я вѣрю себя этому воспоминанію, и право, не боюсь будущаго. Въ мысляхъ и чувствахъ постараюсь быть тебя достойнымъ.

„Все въ жизни къ прекрасному средство! Я прошу отъ тебя только одного: *не позволяй тобою жертвовать*, а заботься о своемъ счастіи. Этимъ не обмани меня. Я желалъ бы, чтобы ты болѣе имѣла свободы заниматься собственнымъ. Выпроси у маменьки нѣсколько часовъ въ день для чтенія. Въ этомъ чтеніи прямая твоя жизнь. Но не читай ничего, что бы было только для пустого развлеченія,—но милое, питательное для такого сердца, какъ твое. Меня утѣшаетъ теперь мысль, что маменька будетъ теперь къ тебѣ болѣе прежняго привязана. Противъ остальнаго: *терпѣніе* и *твердость*. Мои тетради береги. Въ нихъ ничего не перемѣнять, кромѣ развѣ одного—

вездѣ: *сестра*. Помни же своего брата, своего истиннаго друга; но помни такъ, какъ онъ того требуетъ, то-есть, знай, что онъ, во всѣ минуты жизни, если не живетъ, то по крайней мѣрѣ желаетъ жить такъ, какъ велитъ ему привязанность къ тебѣ - теперь вѣчная и болѣе, нежели когда-нибудь, чистая и сильная!

„О Воейковъ скажу только одно. Мнѣ ему прощать нечего. Слепому человѣку нужно ли прощать его слѣпоту? Человѣкъ, который имѣетъ полную власть счастливить тебя, и который не только этого не дѣлаетъ, но еще дѣлаетъ противное, можетъ ли постичь названіе человѣка? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться отъ ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между имъ и мною нѣтъ ничего общаго.

„Ты мнѣ напомнишь: все въ жизни къ прекрасному средство! Дай мнѣ способъ сдѣлать ему добро, я его сдѣлаю. Но называть бѣлое чернымъ, и черное бѣлымъ, и уважать и показывать уваженіе къ тому, что (здѣсь вычеркнуто многое)... Въ этомъ нѣтъ величія, это притворство передъ собою и другими. Въ этомъ письмѣ мнѣ и довольно бы было говорить о Воейковѣ, но должно было отвѣчать на твое письмо. Я никакъ не ожидалъ, чтобы мое пожертвованіе было такъ принято. Нѣтъ! Меня хотѣли лишить всякаго счастья! Но ты не бойся! Жизнь моя будетъ тебя достойна. Выключаю напередъ изъ нея минуты унылости и сомнѣнія. Все прочее будетъ такъ, какъ тебѣ надобно.

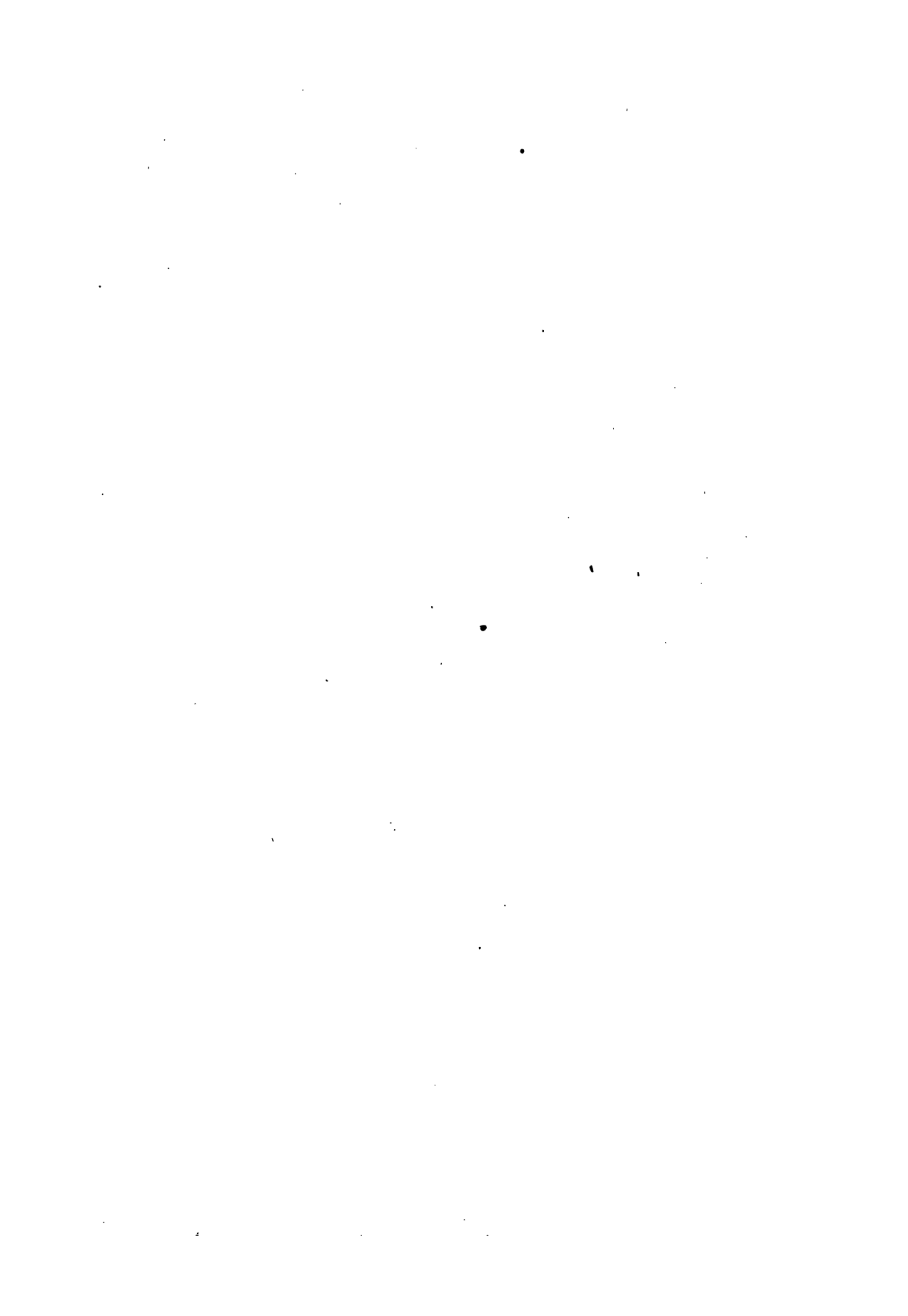
„Тургеневъ зоветъ меня къ себѣ, мы будемъ жить вмѣстѣ. У меня есть много друзей и твое уваженіе—я богатъ, остальное—Провидѣнію! Дурного быть не можетъ, если самъ не будешь дурень. А у меня есть вѣрная защита отъ всего: воспоминаніе и persévérance!

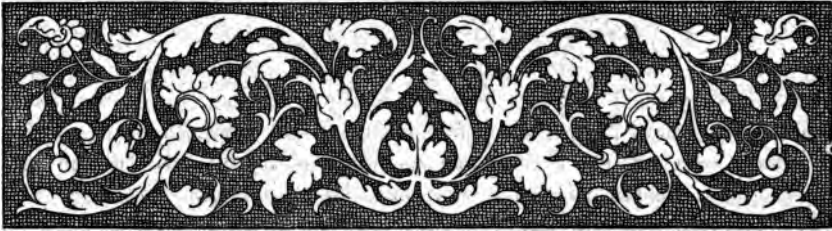
„Я бы желалъ, чтобы ты написала мнѣ побольше. Я отъ тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось. Ради Бога, открой мнѣ глаза. Мнѣ кажется, что я все потеряю!“



ПЕРІОДЪ ВТОРОЙ

1815 ÷ 1841.





„Все въ жизни къ прекрасному средство“.
Жуковский.

I.

СЪ ПЕРЕСЕЛЕНИЕМЪ семейства Протасовыхъ въ Дерптъ родина опустѣла для Жуковского, хотя тамъ и оставалось у него много друзей и много прекрасныхъ воспоминаній прошедшаго. Въ маѣ 1815 года, онъ ѣздилъ на короткое время въ Петербургъ, гдѣ Уваровъ представилъ его императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ ¹⁾; затѣмъ Жуковский воротился въ Дерптъ съ намѣреніемъ воспользоваться здѣсь научными пособіями для нѣкоторыхъ работъ. Въ іюлѣ, Уваровъ сталъ настоятельно требовать, чтобы Василій Андреевичъ переселился въ Петербургъ; но Жуковскому очень не хотѣлось этого.

„Чтобы сдѣлать для меня то, что мнѣ надобно,—пишетъ Жуковский къ Тургеневу, отъ 4-го августа 1815 года,—вы должны имѣть о немъ настоящее понятіе, то-есть, о томъ, что мнѣ надобно. Боюсь я этихъ grands projets. Могутъ составить себѣ за меня какой-нибудь планъ моей жизни, да и убьютъ ее! Ты можешь обо мнѣ переговорить и съ Нелединскимъ. Онъ въ состояніи все понять и все объяснить государынѣ просто. Переговорите съ Уваровымъ, и съ нимъ объясните все между собою. Тебѣ, кажется, не нужно имѣть отъ меня комментарія на то, что мнѣ надобно: независимость—да и только! Способъ писать, не заботясь о завтрашнемъ днѣ. Что, и гдѣ, и

¹⁾ „Русск. Архивъ“, 1864 года, стр. 456—457.

когда писать—мнѣ на волю. Я не буду жильцомъ петербургскимъ; но каждый годъ буду въ Петербургѣ непременно. Вотъ главная мысль; остальное можешь придумать самъ. Еще скажу одно: мнѣ бы хотѣлось въ половинѣ будущаго года сдѣлать путешествіе въ Кіевъ и Крымъ. Это нужно для „Владимира“. Первые полгода я употребилъ бы на приготовленіе, а послѣдніе на путешествіе. Но еще уговоръ: чтобы не давать чувствовать, что я пишу „Владимира“, пишу покровительства для „Владимира“. Если писать сдѣлается для меня обязанностію непременно, то сказываю напередъ, что написано ничего не будетъ... Прости. Обними за меня твоего несравненнаго Сергѣя и Николая ¹⁾. На свѣтѣ много прекраснаго и безъ счастья! Давеча по утру я нечаянно развернулъ Бутервека и прочиталъ написанное на одной страницѣ карандашомъ: *Le bonheur consiste dans la vertu qui aime, et dans la science qui éclaire.* Это стало мнѣ теперь понятнѣе. Душа добродѣтельная наслаждается, то-есть, любить съ чистотой и безкорыстіемъ; душа просвѣщенная судитъ себя и все, что ее окружаетъ; истина даетъ прочность наслажденію; великія мысли усовершенствуютъ великія чувства. удерживаютъ ихъ на полетѣ. Произведеніе всего этого есть счастье. Помнишь ли, что говоритъ Миллеръ: *Lesen ist Nichts; lesen und denken—Etwas; lesen, denken und fühlen—die Vollkommenheit.* На мѣсто *lesen* — поставитъ *leben*—и прощай!“

Наконѣцъ, 24-го августа, Жуковскій отправился въ Петербургъ, гдѣ 4-го сентября вторично былъ представленъ императрицѣ. Болѣе четырехъ мѣсяцевъ, однако, онъ не могъ прожить въ этой столицѣ. «О, Петербургъ, проклятый Петербургъ, съ своими мелкими, убійственными разсѣянiями! — пишетъ онъ осенью 1815 года къ роднымъ въ Долбино,—здѣсь право нельзя имѣть души! Здѣшняя жизнь давитъ меня и душитъ. Радъ бы бросить и убѣжать къ вамъ, чтобы приняться за доброе настоящее, котораго у меня здѣсь нѣтъ и быть не можетъ» и т. д.

Въ январѣ 1816 года, важныя событія въ семействѣ Протасовыхъ (о которыхъ мы будемъ говорить впослѣдствіи) требовали присутствiя его въ Дерптѣ. Съ тѣхъ поръ, за вычетомъ нѣсколькихъ недѣль, онъ почти два года безвыѣздно провелъ въ Дерптѣ. Въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ, Жуковскій велъ странную, двойную жизнь, имѣвшую замѣчательное вліяніе на

¹⁾ Братъ А. И. Тургенева.

развитіе умственныхъ его наклонностей. Въ Дерптѣ общество и университетъ отдавали ему полную справедливость, какъ образованному человѣку и какъ знаменитому русскому поэту; университетъ поднесъ ему дипломъ почетнаго члена. Въ Петербургѣ, напротивъ того, литераторы стараго вѣка нападали на него и задѣвали довольно пошлыми выходками, даже на театрѣ. Въ Дерптѣ близкіе родные показывали ему нѣкоторую холодность и недовѣрчивость, а въ Петербургѣ посторонніе люди, даже при дворѣ, ласкали и уважали его. Въ Дерптѣ онъ погружался въ изученіе нѣмецкаго языка и словесности, тогда какъ въ Петербургѣ ратоборствовалъ въ рядахъ молодыхъ писателей на пользу русскаго слова.

Въ 1815 году, когда Жуковский прибылъ въ Дерптъ, тамошній университетъ переживалъ только тринадцатый годъ своего существованія. Заведеніе было юно и имѣло всѣ добрыя и худыя качества, свойственныя первой эпохѣ развитія университета. Скучность и несовершенство матеріальныхъ и научныхъ средствъ замѣнялись нѣкоторымъ образомъ свѣжею образовательною силой, которая изъ невыдѣланнаго сока производить зародыши, одаренные иногда болѣею способностью дальнѣйшаго развитія, чѣмъ въ болѣе позднее время. Съ глубокою благодарностью именно бѣдные классы жителей балтійскихъ губерній приняли монаршую милость—основаніе университета въ здѣшнемъ краю. Отнынѣ и для бѣдныхъ людей оказалась возможность образовывать своихъ дѣтей въ высшемъ учебномъ заведеніи, что прежде было доступно только для людей богатыхъ, которые могли посылать своихъ дѣтей за-границу. Наука сразу прочно принялась въ молодомъ учрежденіи. Только одинъ разъ въ годъ праздновался общій студентскій коммершъ, одинъ разъ только во время вакацій студенты развѣзжались по домамъ. Обхожденіе между профессорами, студентами и жителями города было свободное; не знали никакихъ формальностей, ни науки о визитахъ и глазетовыхъ перчаткахъ; жили съ убѣжденіемъ, что въ маленькомъ городѣ, въ будущемъ разсадникѣ образованности, старый и малый должны дѣйствовать къ до-

стиженію одной образовательной цѣли. Это настроеніе общества было по сердцу Жуковскому. Воспоминанія о жизни въ Москвѣ ожили въ немъ; онъ познакомился съ профессорами и съ нѣкоторыми дворянскими семействами. Люди, кончившіе курсъ въ Дерптскомъ университетѣ, составляли пріятные семейные кружки. Жуковский съ благодарностью вспоминалъ всегда о пріятныхъ часахъ, проведенныхъ имъ въ домахъ Мантейфеля, Левенштерна, Брюнинга, Нолькена, Липгардта, Штакельберга, Липенфельда, Крюднера. Научныя сношенія имѣлъ онъ съ профессорами физики Парротомъ, археологіи и эстетики Моргенштерномъ, исторіи Эверсомъ младшимъ, философіи Эшемъ, съ бібліотекаремъ К. Петерсономъ, съ основателемъ училища по системѣ Песталоцци Асмусомъ и съ литераторомъ фонъ-дерборгомъ, который переводилъ лучшія русскія стихотворенія на нѣмецкій языкъ. Въ мастерской профессора живописи Зенфа Жуковский занимался искусствомъ гравированія на мѣди; съ любителями музыки онъ устраивалъ у Екатерины Аванасьевны музыкальные вечера. Сношенія съ этими лицами не кончились съ трехлѣтнимъ пребываніемъ Жуковскаго въ Дерптъ, но продолжались и впослѣдствіи, когда онъ снова возвратился въ Дерптъ изъ Петербурга. Парротъ, уроженецъ Эльзаса и товарищъ Кювье, владѣвшій въ совершенствѣ французскимъ языкомъ, изъ бесѣдъ своихъ съ Протасовыми о физикѣ составилъ тогда планъ своего сочиненія: «Entretiens sur la physique», напечатаннаго въ шести томахъ. Профессоръ Моргенштернъ охотно бесѣдовалъ съ Жуковскимъ о нѣмецкой словесности, думая руководить русскаго стихотворца въ пониманіи ея красоты, и былъ ему весьма полезенъ въ отношеніи нѣмецкой бібліографіи. Кромѣ того, на вечернихъ собраніяхъ, на которыхъ Петерсонъ, прозванный «толстымъ», и Асмусъ превосходно читали новѣйшія произведенія нѣмецкой словесности и часто забавляли своихъ слушателей собственными стихотворными произведеніями, на примѣръ, ѣдкою сатирическою комедіей (Петерсона): «Принцесса со свинымъ рыломъ»,—Жуковский укрѣплялся въ знаніи нѣмецкаго языка и литературы. Въ боль-

шомъ ходу были въ ту пору творенія Жанъ-Поля, Гофмана, Тика, Уланда и др., съ которыми Жуковскій здѣсь впервые познакомился. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, Дерптъ еще пользовался возможностью слушать всѣхъ артистовъ, которые на пути изъ чужихъ краевъ въ Петербургъ останавливались здѣсь и давали концерты. Вкусъ и таланты, подъ вліяніемъ этихъ обстоятельствъ, могли счастливо развиваться. Были здѣсь артисты, не хуже иностранныхъ, и между любителями. Какъ нѣкогда у Плесеева въ Черни, Жуковскій и въ Дерптѣ наслаждался музыкою своихъ стиховъ, положенныхъ на ноты Вейраухомъ ¹⁾. Кромѣ того поэтъ посѣщаль нѣкоторыя изъ университетскихъ лекцій, напримѣръ, Эверса младшаго, извѣстнаго автора «Исторіи древняго русскаго права». Эверсъ стоялъ за гипотезу хазарскаго происхожденія Руси. Его умныя замѣчанія и обширныя свѣдѣнія были вообще привлекательны и полезны для Жуковскаго, который самъ занимался всеобщю и русскою исторіей. Въ это же время жилъ въ Дерптѣ, у своего тестя Левенштерна, баварскій графъ Л. де Брэ (L. de Bray), написавшій этудь: «Essai critique sur l'histoire de la Livonie», посвященный императору Александру I (Dorpat. 1817, 3 части). Жуковскій, переведившій ему нѣкоторыя страницы изъ исторіи Карамзина, съ большимъ интересомъ изучалъ притомъ и исторію балтійскихъ провинцій. Изъ лекцій профессора Епэ, прямого ученика Канта, автора книги: «Der Pantheismus», Жуковскій вынесъ мало пользы, потому что отвлеченные философскіе вопросы, сами по себѣ темные, еще болѣе были затемнены изложеніемъ, не вполне доступнымъ для поэта.

Несмотря, однако, на свои ученые и художественныя занятія, Жуковскій охотно входилъ въ знакомство со студентами и не отказался отъ посѣщенія торжественнаго фуксъ-коммерша, на который онъ былъ приглашенъ вмѣстѣ съ профессорами, какъ

¹⁾ У меня есть одиннадцать пѣсень Жуковскаго, положенныхъ на музыку Вейраухомъ и напечатанныхъ въ Дерптѣ, и въ томъ числѣ пѣсня: „Къ востоку, все къ востоку“ (Соч. I, 470), музыку которой ошибочно приписываютъ Францу Шубергу.

почетный гость. Это было 14-го августа 1815 года. Студенты, по принятому обычаю, почтили поэта братскимъ тостомъ, и онъ также отдалъ долгъ этому обычаю. Но когда почтеннѣйшій ветеранъ между профессорами, 80-лѣтній Эверсъ, профессоръ богословія, вздумалъ съ нимъ пить *братство*, «то я,—пишетъ Жуковский къ Авдотѣ Петровнѣ Елагиной изъ Петербурга 16-го сентября 1815 года,—былъ тронуть до глубины души и отъ всей души поцѣловалъ *братскую* руку. На другой день послѣ студентскаго праздника отправился я съ Воейковымъ, съ Машей и Сашей, въ коляскѣ за городъ. Солнце заходило самымъ прекраснымъ образомъ, и я вспомнилъ объ Эверсѣ и о завѣщаніи Эверса. Я часто любовался этимъ старикомъ, который всякій вечеръ ходилъ на гору смотрѣть на захожденіе солнца. Заходящее солнце въ присутствіи старца, котораго жизнь была святая, есть что-то величественное, есть самое лучшее зрѣлище на свѣтѣ. Мой добрый *шептунъ* принялъ образъ добродѣтельнаго старика и утѣшилъ меня въ этомъ видѣ. Я написалъ стихи: «Къ Старцу Эверсу», которые вскорѣ пришло къ вамъ. Они должны быть дерптскія повторенія моего «Теона и Эскина». Въ обоихъ много для меня *добра*»¹⁾).

Этими словами объясняется происхожденіе посланія «Къ Старцу Эверсу», и то, почему во второй половинѣ этого стихотворенія Жуковский говорить:

Я зрѣлъ вчера: сходя на край небесъ,
Какъ Божество, насъ солнце покидало и пр.

Кому неизвѣстны обстоятельства и невеселое настроеніе духа Жуковскаго, тотъ не пойметъ, отчего онъ могъ сказать:

Вступая въ кругъ счастливецъ молодыхъ,
Я мыслить тамъ—на мигъ товарищъ ихъ—
Съ веселыми весельемъ подѣлиться
И юношей блаженствомъ насладиться;
Но въ семь кругу меня мой геній ждалъ:
Тамъ Эверсъ мнѣ на братство руку далъ...
Благодарю, хранитель-Провидѣнье!

¹⁾ Письмо къ Авд. Петр. Елагиной изъ Петерб., отъ 16 сент. 1815 г.

Могу-ль забыть священное мгновенье,
 Когда, мой братъ, къ рукѣ твоей святой
 Я прикоснуть дерзнулъ уста съ лобзаньемъ,
 Когда стоялъ ты, старецъ, предо мной
 Съ отеческимъ мнѣ счастья желаньемъ!...

Не мудрено, что мы, свидѣтели этой трогательной встрѣчи знаменитаго русскаго поэта съ почтеннымъ дерптскимъ профессоромъ, съ восторгомъ пожали руки нашему дерптскому гостю и считали его съ тѣхъ поръ и *нашимъ братомъ*; не мудрено также, что онъ сохранилъ по смерти доброе расположеніе къ дерптскому обычаю и даже совѣтовалъ многимъ землякамъ своимъ учиться въ дерптскомъ университетѣ. Но лучше всего, то, что, поживя въ Дерптѣ, Жуковскій не сдѣлался однако чуждымъ своему родному языку и коренной Россіи, какъ не сдѣлались имъ чуждыми вполнѣдствіи Языковъ, Соллогубъ, Даль, Пироговъ, Овсянниковъ, Хрептовичъ, Киселевъ, Якубовичъ и множество другихъ русскихъ, учившихся въ Дерптѣ ¹⁾.

II.

Такова была внѣшняя сторона дерптской жизни Жуковскаго. За то невесела была внутренняя душевная сторона его тогдашней жизни. Это мы узнаемъ изъ многихъ писемъ къ Авдотѣ и Аннѣ Петровнамъ. Екатерина Аеанасьевна, какъ уже сказано, не хотѣла, чтобъ онъ оставался въ Дерптѣ. Жуковскій, пожертвовавъ своимъ счастьемъ и всею правдой, обѣщавшись быть ей братомъ, а дѣтямъ ея вѣрнымъ отцомъ, надѣялся приобрести ея довѣріе къ его нравственнымъ правиламъ и обѣщаніямъ; но въ этомъ-то онъ и ошибся! Воейковъ, поступки котораго, какъ уже было видно и прежде, не обнаруживали въ немъ добраго семьянина, все-таки пользовался расположеніемъ

¹⁾ Желаящій знать, кто изъ русскихъ, учившихся въ Дерптѣ, отличился впоследствии въ наукахъ и на службѣ, можетъ прочесть объ этомъ въ книгѣ: Rückblick auf die Wirksamkeit der Universität Dorpat von 1802—1865. Dorpat. 1866.

тѣщи, потому что потакалъ ея предрассудкамъ. «Его я совершенно вычеркнулъ изъ всѣхъ моихъ расчетовъ», пишетъ Жуковский. «Будучи товарищемъ и роднымъ Маши, я могъ бы и его любить, какъ Сапина мужа; теперь же онъ для меня не существуетъ». Екатерина Аванасьева не оцѣнила вполнѣ высокой добродѣтели ни Жуковского, ни дочери своей, этого ангела кротости и любви! Обоимъ она показала недовѣрчивость и тѣмъ глубоко ихъ оскорбила. Нѣкоторыя весьма почтенныя лица изъ высшаго духовенства продолжали словесно и письменно увѣрять Екатерину Аванасьевну, что нѣтъ препятствій къ исполненію желаній Жуковского; но несмотря на то, Екатерина Аванасьева повторяла дочери, что совѣсть матери не позволяетъ ей нарушить церковный уставъ, и какъ ангелъ доброты, дочь покорилась волѣ матери.

Послѣ второго представленія при дворѣ, о которомъ мы упомянули выше, Жуковский вскорѣ опять пріѣхалъ въ Дерптъ. Его ласково приняли въ домѣ Екатерины Аванасьевны, но все-таки положеніе его тамъ было самое несносное.

„Съ самаго моего пріѣзда,—пишетъ онъ въ Долбино,—я веду жизнь занятую, то-есть, сижу въ своей горницѣ за работой, а къ нимъ являюсь только на минуту по утру, за обѣдомъ и за чаемъ. Изъ этого заключаютъ, что все кончилось, что петербургская жизнь меня совсѣмъ перемѣнила, и платять мнѣ ласкою, думая, что мнѣ уже болѣе ничего *не нужно*, и что съ ихъ стороны *все* уже сдѣлано. Я пріѣхалъ сюда съ твердымъ намѣреніемъ ничего не требовать, а довольствоваться собственнымъ,—изъ этого заключаютъ, что я всѣмъ *доволенъ*. Но можно ли быть довольнымъ? Съ Машею мы розно по старому; по старому нѣтъ между нами ничего общаго. Непринужденной связи между нею и мною нѣтъ, а я только для этого могъ бы всѣмъ пожертвовать. Я сказалъ, что хочу быть братомъ, и, право, могъ бы имъ быть во всей силѣ этого слова; но я въ то же время сказалъ: *для чего и на какихъ условіяхъ* хочу быть имъ. Это „*для чего*“ забыто; а помнить только одно слово: *братъ*, которое все *мое* у меня отымаешь, а мнѣ отъ нихъ не даетъ ничего, кромѣ одной формы. Здѣсь остаться иначе не могу, какъ исполнивъ въ точности свое обѣщаніе; но при тѣхъ обстоятельствахъ, каковы теперь, я не могу, да и не хочу исполнить его. Вотъ одно, что поддерживаетъ мое намѣреніе здѣсь *не оставаться*. Но причины, для которой *не останусь*, не пойметъ никто. Припишутъ капризу и даже неблагодарности! Мнѣ нужна довѣренность одного человѣка, и я ее имѣю.

Я чувствую самъ, и ясно, что въ Дерптѣ мнѣ быть не должно! Такъ жить, какъ жилъ прежде, какъ живемъ теперь, — нельзя! Убьемъ Машу, тетюшку и себя! Не надобно и отъ тетюшки требовать многого, не надобно и къ ней быть несправедливымъ; нельзя же перемѣнить въ ней образа своихъ мыслей, слѣдовательно, нельзя и надѣяться, чтобы принужденіе когда-нибудь миновалось. Надобно жалѣть о тѣхъ обстоятельствахъ, которыя и ее, и меня, лишаютъ способа дать другъ другу какое-нибудь счастье, и не силиться *побѣдить непобѣдимаго*. Ласки ея точно ко мнѣ искреннія; но болѣе не можетъ она дать ничего, и виноваты въ томъ обстоятельства. Мы смотримъ на вещи разными глазами, мы не согласны въ образѣ чувствъ нашихъ; *безъ этого согласія*, быть вмѣстѣ — нельзя; будемъ только мучить другъ друга. *И такъ, разстаться* и не обвинять ея несправедливо! Она такъ же достойна сожалѣнія, какъ и я!⁴

Въ послѣднихъ числахъ іюля, Уваровъ снова потребовалъ, чтобы Жуковский пріѣхалъ въ Петербургъ. «Признаюсь,—писалъ по этому поводу Василій Андреевичъ въ Долбино,—мнѣ страшны эти *grands projets*, о которыхъ Уваровъ пишетъ. Не готовятъ ли мнѣ неволи? Тогда плохо придетъ моей музѣ!» И повинуваясь этому чувству недовѣрія, онъ медлил отъѣздомъ въ столицу. Изъ всего сказаннаго намъ становится совершенно понятнымъ, почему встрѣча со старцемъ Эверсомъ на веселомъ студентскомъ праздникѣ бросила такой элегическій отгѣнокъ на написанное къ нему посланіе, и почему эта мрачность души, это колебаніе между надеждой и отреченіемъ, долго не покидали нашего друга, который наконецъ, 24-го августа 1815 года, отправился изъ Дерпта, «*fermeement résolu de ne plus y paraître*» ¹⁾).

„Тамъ быть невозможно—писалъ онъ 16-го сентября—какъ ни тяжело розно, какъ ни порывается къ нимъ душа, какъ ни украшаетъ отдаленіе все то, что такъ печально вблизи, но быть тамъ нельзя. Въ этомъ я теперь увѣренъ. Самое бѣдственное, самое низкое существованіе, убійственное для Маши и для меня! Быть рабомъ, и что еще хуже, сносить молча рабство Маши—такая жизнь хуже смерти! Но вотъ что диво! На половинѣ дороги отъ Дерпта мой *шептунъ* шепнулъ мнѣ, что все еще можетъ перемѣниться, и я принялся писать къ Екатеринѣ Аванасьевнѣ письмо, воображая, что оно подѣйствуетъ. Во всю дорогу думалъ о томъ, что писать; на

¹⁾ „Твердо рѣшившись не появляться тамъ болѣе“. Письмо въ Долбино изъ Петербурга, отъ 16-го сентября 1815 года.

каждой станціи писалъ то, что думалъ: воображалъ, что меня зовутъ назадъ, что на все соглашаются, что мы всё становимся дружны, что между нами съ уничтоженіемъ всёхъ препятствій поселяется искренность, согласіе, покой—однимъ словомъ, воображеніе загуляло, и только на послѣдней станціи остановилось. Я перечитывалъ свое письмо, нашелъ въ немъ все то же, что говорено и писано было двадцать разъ; и все, что казалось такъ возможнымъ за минуту, вдругъ сдѣлалось невозможностью! И я рѣшился спрятать это письмо за нумеромъ въ архивѣ разрушенныхъ химеръ и вѣхалъ въ Петербургъ съ самымъ грустнымъ, холоднымъ настоящимъ и съ самымъ пустымъ будущимъ въ своемъ чемоданѣ! Но теперь опять что-то загомонилось для меня въ будущемъ: что-то похожее на надежду! Вотъ въ чемъ дѣло: я пріѣзжаю къ Павлу Ивановичу (Протасову); онъ по одному письму Екатерины Аѳанасьевны сталъ меня спрашивать обо мнѣ и Машѣ. Я въ этотъ разъ ничего ему не сказалъ ясно, но лицо мое и нѣсколько слезъ сказали за меня яснѣе. Между тѣмъ, Алексѣй Павловичъ Плещеевъ все сказалъ своей матери, которая—подивитесь!—говоритъ, что она не находитъ ничего непозволеннаго, что между нами нѣтъ родства. Важная побѣда! Хотя Павелъ Ивановичъ и не согласенъ еще съ нею, но онъ вѣрно согласится. Я уже два раза съ нимъ говорилъ, одинъ разъ съ нею одною, другой разъ съ нею и съ нимъ вмѣстѣ. Марья Николаевна (Протасова) почти общала писать; между тѣмъ, узнавши отъ нихъ рѣшительное ихъ мнѣніе, и если согласятся [написать письмо къ Екатеринѣ Аѳанасьевнѣ, я напишу и къ Еленѣ Ивановнѣ (баронессѣ Черкасской), чтобы она съ своей стороны написала. Это единственное намъ остается средство: если оно не поможетъ, то поджать руки и ждать съ терпѣніемъ the great teacher! Изъ этихъ обстоятельствъ вы можете заключить, въ какомъ я волнующемъ положеніи. Не дѣлаю никакихъ плановъ и не имѣю никакого занятія. Между тѣмъ, разсѣяніе, въ которомъ нѣтъ ничего привлекательнаго. Вотъ уже я двѣ недѣли слишкомъ въ Петербургѣ, а еще не принимался ни за что. И не знаю, когда примусь. Къ новой моей надеждѣ я совсѣмъ не привязываюсь; я смотрю на нее, какъ на волка во овечьей кожѣ, и не подхожу къ ней близко. Если ничто не сбудется, то выползу къ вамъ, на вашъ берегъ, къ друзьямъ и къ уединенію. Здѣсь во всякомъ случаѣ должно мнѣ пробыть по крайней мѣрѣ до конца февраля 1816, чтобы кончить изданіе своихъ стиховъ и еще кое-какія работы. А скоро ли примусь за нихъ—не знаю! Здѣсь не Долбино! Да и перспективы прежней жизни уже нѣтъ. Думаю, что голова и душа не прежде, какъ у васъ, прійдетъ въ нѣкоторый порядокъ; у васъ только буду имѣть свободу оглядѣться послѣ моего пожара, выбрать мѣсто, гдѣ бы поставить то, что отъ него уцѣлѣло, и вмѣстѣ съ вами держать на готовѣ заливную трубу. Здѣсь безпрестанно кидаетъ меня изъ одной противности въ другую, изъ мертваго холода въ убійствен-

ный огонь, изъ равнодушія въ досаду. Я имѣлъ здѣсь и пріятныя минуты— и гдѣ же? Тамъ гдѣ никакъ не воображалъ имѣть ихъ,—во дворцѣ царицы!“

III.

Мы уже видѣли, какимъ образомъ судьба, то-есть, обстоятельства, таланты и нравъ поэта, военныя событія и друзья приготовили ему путь ко двору, и онъ, какъ пророкъ, давно твердилъ:

Все въ жизни къ прекрасному средство!

4-е сентября 1815 года мы считаемъ началомъ вступленія его въ число близкихъ людей къ царскому семейству, и еще поутру этого самаго дня Жуковскій писалъ къ А. И. Тургеневу: «я не буду жильцемъ петербургскимъ». Дня черезъ два по пріѣздѣ Жуковскаго въ Петербургъ, Нелединскій увѣдомилъ Василю Андреевича, что они должны вмѣстѣ ѣхать въ Павловскъ для новаго представленія Жуковскаго императрицѣ Маріи Ѣеодоровнѣ.

„Я отправился туда одинъ, 4-го числа поутру,—пишетъ Жуковскій,— и пробылъ тамъ три дня, обѣдалъ и ужиналъ у царицы, и возвратился съ сердечною къ ней привязанностію, съ самымъ пріятнымъ воспоминаніемъ ласки необыкновенной. Въ эти три дня не было ни одной минуты, для меня неловкой. Простота ея въ обхожденіи такъ велика, что я никогда не думалъ, гдѣ я, и съ кѣмъ я. Однимъ словомъ, было весело, потому что сердце было довольно. Въ первый день было чтеніе моихъ балладъ въ ея кабинетѣ въ приватномъ обществѣ, составленномъ изъ великихъ княгинь, двухъ или трехъ дамъ, Нелединскаго, Вилламова и меня. Читалъ Нелединскій сперва *Золочу арфу*, потомъ *Людмилу*, потомъ опять *Золочу арфу*, которая особенно понравилась; потомъ *Варешка*, потомъ *Ивика*. На слѣдующемъ чтеніи, которое происходило уже въ большомъ круту, читалъ я самъ *Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ*; потомъ, Нелединскій — *Старушку* и *Святлану*, и наконецъ *Посланіе къ царю*.

„Эти минуты были для меня пріятны, но не самыя пріятныя: здѣсь вмѣшивалось беспокойное самолюбіе автора. Но то, что было для меня особенно пріятно, есть чувство благодарности за самое трогательное вниманіе, за добродушную ласку, которая нѣкоторымъ образомъ уничтожила разстояніе между мною и государыней. Эта благодарность навсегда останется въ душѣ моей. Очень весело принесть ее изъ того круга, въ который

другихъ заманиваетъ суетное честолюбіе, не дающее никакихъ чистыхъ наслажденій. У меня его нѣтъ. Добрый сторожъ бережетъ отъ него душу! И тѣмъ лучше! Можно безъ всякаго безпокойствія предаваться простому, чистому чувству! Я не былъ ослѣпленъ ни на минуту, но за то часто былъ тронутъ. У меня былъ и проводникъ прелестный—Нелединскій, рѣдкое явленіе въ нынѣшнемъ свѣтѣ. Онъ взялъ меня на руки, какъ самый нѣжный родной, и ни на минуту не забылъ обо мнѣ; ни на минуту его вниманіе не покидало меня. Гдѣ-бъ я ни былъ, онъ всюду слѣдовалъ за мною глазами, все самъ за меня придумывалъ, предупреждалъ меня во всемъ и входилъ со мною въ самыя мелкія подробности.

„Еще одно важное обстоятельство. Въ первый день моего пребыванія въ Павловскѣ, пошедши представляться государынѣ, мы должны были нѣсколько времени дожидаться ея, потому что она писала письмо къ государю. Мы усѣлись съ Нелединскимъ въ залѣ, и не знаю какъ—дошелъ разговоръ до того, что онъ у меня спросилъ о моихъ обстоятельствахъ, то-есть, о родствѣ, какое у меня съ Екатериной Аванасьевною. Я сказалъ, въ чемъ оно состоитъ. Онъ принялся чертить кружки и линейки, и по рисунку вышло, что между мною и Машей родства *нѣтъ*. Но тѣмъ это и кончилось. Я не рассказывалъ ничего, и не нужно. Дѣло состоитъ въ томъ, чтобы *тетушка сама* согласилась; не будетъ этого, не будетъ семейнаго покоя! А какъ же безъ него искать чего-нибудь? И государыня знаетъ обо мнѣ, но я къ этому способу не прибѣгну. Никакой власти не должно требовать, кромѣ власти убѣжденія. Если сердце тетушки молчитъ, то чѣмъ его говорить заставить? Голосъ родныхъ будетъ дѣйствительнѣе, но и на него плоха надежда. Сердце ея молчитъ крѣпко. Чтò ей *надобно*, то ей и мило, хотя бы оно было и отвратительно; я этому видѣлъ примѣры! Для меня, и надобно. признаться, для Маши—она глазъ не имѣетъ. Иначе, какъ бы смотрѣть съ такимъ равнодушіемъ на наши потери? Какъ бы не употребить всего усилія, чтобы хотя не страдать за нихъ. Все въ ея власти, все ей легко, и не смотря на это, все у насъ взято! Mais trêve aux lamentations! Мнѣ пора кончить. Надобно еще писать къ Вяземскому, отъ котораго получилъ милое письмо и прекрасные стихи“ ⁴⁾.

Таковъ отчетъ поэта о третьемъ его представленіи государынѣ. Но любопытно и то, что вслѣдъ за этимъ рассказомъ, въ припискѣ къ тому же письму, у Жуковскаго начинается разигрываться фантазія въ слѣдующихъ мечтаніяхъ:

„Знаете ли, что мнѣ приходитъ въ голову? Купить у васъ десятины три земли, построить на нихъ домикъ и жить въ не чѣ доходомъ съ денегъ. Кажется, это бы можно. Чтò мнѣ нужно? Свобода, работа и маленькій до-

⁴⁾ Письмо отъ 16 сент. 1815 г.

статокъ. Право, я не почитаю этого Аркадіей-химерою. Клокъ земли подгѣ *Мишенскаго* или подгѣ *Долбина*, но клокъ *собственный*, чтобъ было довольно для сада и огорода. На содержаніе себя — деньги, которыхъ немного нужно, и которыя легко бы было выработывать, и при всемъ этомъ забвеніе о *будущемъ* и жить для *настоящаго*. Если разъ залѣзу въ этотъ уголъ, то ужъ изъ него будетъ трудно меня вытащить“.

Въ такомъ настроеніи духа Жуковскій въ самомъ Павловскѣ написалъ элегію: «Славянка», и тотчасъ же послалъ ее къ Авдотѣ Петровнѣ съ примѣчаніями, напечатанными во II томѣ полного собранія его сочиненій ¹⁾. Гуляя вечернею порой по Павловскому парку, поэтъ описываетъ нѣкоторые виды береговъ рѣки Славянки и памятники, воздвигнутые императрицей Маріей Ѳеодоровною императору Павлу и великой княгинѣ Александрѣ Павловнѣ. Возвратясь уже въ полночь съ прогулки, поэтъ останавливается у *урны судьбы*, поставленной въ молодой березовой рошѣ:

И нѣкто урнѣ сей безмолвной присѣдигъ;
И мнится, на меня вперилъ онъ темны очи:
Безъ образа лицо, и зракъ туманны слитъ
Съ туманнымъ мракомъ полуночи.
Смотрю... и мнится, все, что было жертвой лѣтъ,
Опять въ видѣніи прекрасномъ воскресаетъ;
И все, что жизнь судить, и все, чего въ ней нѣтъ,
Съ надеждой къ сердцу прилетаетъ.

Но вдругъ все скрылось, и поэту кажется, будто незнакомый геній указываетъ ему путь къ свиданью въ небесахъ, куда улетѣла изображенная на памятникѣ юная великая княгиня вмѣстѣ со звѣздою новой жизни надъ головой. Но вотъ—

. призракъ исчезъ,
И небеса покрыты мглою.
Одна лишь смутная мечта въ душѣ моей:
Какъ будто міръ земной въ ничто преобразился,
Какъ будто та страна знакомѣй стала ей,
Куда сей чистый ангелъ скрылся.

¹⁾ Здѣсь опять находимъ ошибку въ замѣткѣ о времени, когда написана эта элегія: Жуковскій относить ее къ 1816 году, а писана она въ 1815.

Жуковский получил назначеніе быть чтецомъ у государыни Маріи Ѳеодоровны. Павловскъ въ то время былъ средоточіемъ лучшихъ писателей нашихъ. Карамзинъ, Крыловъ, Дмитріевъ, Нелединскій-Мелецкій, Гнѣдичъ, Жуковский—являлись на вечернихъ бесѣдахъ августѣйшей покровительницы отечественныхъ талантовъ. Кромѣ того, нерѣдко приглашаемы были въ Павловскъ Клингеръ, Шторхъ, Вилламовъ, Аделунгъ. Но Жуковский, живя у своего задушевнаго друга Блудова, и несмотря на самый милостивый пріемъ у государыни, все-таки писалъ на родину:

„Мое *теперь*—хуже *прежняго*. Здѣшняя жизнь мнѣ тяжела, и я не знаю, когда отсюда вырвусь. *Все*, меня окружающее, ничтожно, или я самъ *ничто*, потому что у меня ни къ чему не лежитъ сердце, и рука не подымается взяться за перо, чтобъ описывать то, что мнѣ какъ чужое. И воображеніе поблѣднѣло; поэзія отъ меня отворотилась. Не знаю, когда она опять на меня взглянетъ. Думаю, что она бродитъ теперь или около Васковской горы, или у Гремячаго, или въ какой-нибудь Долбинской рощѣ, не смотря на снѣгъ и холодъ. Когда-то я начну ее тамъ отыскивать? А здѣсь она откликается рѣдко, да и то осиплымъ голосомъ.

„О Дерптѣ не хочу писать ни слова. Но когда же удастся говорить? Авось!... Все еще авось! Если рассказывать, то хоть забавное. Здѣсь есть авторъ князь Шаховской. Извѣстно, что авторы не охотники до авторовъ. И онъ поэтому не охотникъ до меня. Вздумалъ онъ написать комедію и въ этой комедіи смѣяться надо мною. Друзья за меня вступились. Дашковъ напечаталъ жестокое письмо къ новому Аристофану; Блудовъ написалъ пре-забавную сатиру, а Вяземскій разразился эпиграммами. Теперь страшная война на Парнассѣ. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы и всѣ молчали. Городъ раздѣлился на двѣ партіи; и французскія волненія забыты при шумѣ парнасской бури“¹⁾.

Но литературная война, о которой упоминаетъ Жуковский, началась ранѣе времени этого письма и продолжалась еще много лѣтъ позже его. Это была борьба между представителями старыхъ литературныхъ преданій, славянофилами, и духомъ литературной новизны. Новизна, которая вызвала борьбу, состояла въ сантиментальномъ направленіи Карамзина, въ романтизмѣ Жуковского и въ оживленіи слога, произведенномъ школою Карамзина и его послѣдователей.

¹⁾ Письмо Ж. къ роднымъ въ Бѣлевѣ осенью 1815. см. „Русск. Арх.“ 1864, стр. 458 (2-е изд. 893).

„Ревнители стараго (литературнаго) порядка, — пишетъ Ковалевскій ¹⁾, — спохватились уже тогда, когда раздалась живая, понятная и гладкая рѣчь Карамзина, когда плавные стихи Дмитріева, гармоническіе—Жуковскаго, звучный стихъ Батюшкова и бойкій—Крылова, пробудили, оживили публику, усипленную стихами Хвостова и его предшественниковъ. Громомъ и бурей разразились они противъ нововводителей въ литературѣ, видя въ нихъ не только людей, глумящихся надъ русскимъ словомъ, извращающихъ его, но растлѣвающихъ русскіе нравы,—людей, вредныхъ общественному порядку, угрожающихъ святынь религіи... Партіи обозначались ясно. Такъ-называемые въ то время славянофилы или шишковисты соединились дружно между собою, составили общество и устроили бесѣды „Любителей русскаго слова“ у Державина (1811 года). Уставъ этихъ бесѣдъ писанъ Шишковымъ. Засѣданія были ежемѣсячныя и происходили публично. Общество имѣло характеръ чисто бюрократическій: министры, епископы, генералы, все, что было знатнаго и имѣвшаго вліяніе въ службѣ и обществѣ, добивалось чести участвовать въ „Бесѣдахъ“. Въ собраніе пріѣзжали въ мундирахъ и лентахъ, дамы—въ бальныхъ платьяхъ. Всѣ скучали невыносимо, но пріѣзжали: это была мода!... Все, что было читано въ „Бесѣдѣ“, печаталось подъ названіемъ: „Чтеній“. Сухость, педанство, скудость дарованія, за немногими исключеніями, составляютъ характеръ ихъ“.

Въ противоположность славянофиламъ, послѣдователи Карамзина были по большей части молодые и очень даровитые люди, съ современнымъ образованіемъ. Что они были добрыми патріотами, это они несомнѣнно доказали въ отечественную войну, въ которой приняли живое участіе, и которая на время прервала литературныя распри; но кончилась война, и литературная распря возникла пуще прежняго. Мы видѣли, что Жуковскій уже въ молодости подружился со всѣми жаркими защитниками и поклонниками Карамзина. Стихотворенія его съ восторгомъ были приняты повсюду. Шишковисты именно на него и обратили свой гнѣвъ. Одинъ изъ самыхъ рьяныхъ представителей партіи славянофиловъ, князь А. А. Шаховской, вывелъ его на сцену въ комедіи: «Урокъ кокеткамъ, или Липецкія воды», подражаніе французской піесѣ «la Coquette». Въ числѣ каррикатурныхъ лицъ этой комедіи выставленъ былъ жалкій балладникъ Фіалкинъ: это былъ явный намекъ на Жуковскаго и его стихи. Въ одной изъ сценъ піесы, Фіалкинъ

¹⁾ „Блудовъ и его время“, стр. 102 и слѣд.

ночью является съ гитарою подъ окнами графини Лелевой, но какой-то шорохъ въ кустарникахъ пугаетъ его; оказывается, что шорохъ произведенъ прохожимъ—Семеномъ, и Фіалкинъ восклицаетъ:

На силу я дышу, ахъ, вы мнѣ показались
Тѣмъ мертвецомъ, что въ гробъ невѣсту...

СЕМЕНЪ. Таеъ мертвецами гдѣжъ науганы?

ФІАЛКИНЪ. Въ стихахъ,
Въ балладахъ: мни я свой нѣжный вкусъ питаю.
И полночь, и пѣтухъ, и звонъ костей въ гробахъ
И чу!.. Все страшно въ нихъ; но милымъ все приятно,
Все восхитительно, хотя не вѣроатно!

СЕМЕНЪ. И въ сказкахъ та же гиль!..

Наконецъ, графиня прогоняетъ Фіалкина:

Пропу васъ, ради Бога,
Гомера не влюблять, не мучить мертвецовъ,
И не смѣшнть живыхъ плаксивыми стихами.

При первомъ представленіи этой комедіи въ Петербургѣ на Маломъ театрѣ, 23-го сентября 1815 года, присутствовали Жуковский и всѣ друзья его, потому что знали уже о нападкахъ Шаховского на нашего «балладника». Тутъ-то и рѣшено было дѣйствовать совокупно, основать особое литературное общество и издавать журналъ. Хоть изданіе журнала и не состоялось, но эпиграммами, сатирическими статьями и рѣзкою критикой карамзинисты не остались въ долгу у «Любителей русскаго слова». Друзья собирались по субботамъ у Блудова и читали тамъ, передъ печатаніемъ, свои статьи; но формально организованнаго общества и публичныхъ собраній у нихъ не было. Когда Блудовъ написалъ шуточный разказъ: «Видѣніе въ Арзамасѣ, изданное обществомъ ученыхъ людей», въ которомъ мѣтко отвѣчалъ на выходки князя Шаховского и пишковистовъ,— то для шутки друзья назвали свои веселыя вечеринки: «собраніями Арзамасской академіи», и положили прави-

ломъ: съѣдать за ужиномъ хорошаго арзамасскаго гуся ¹⁾). При этой церемоніи пѣли соответствующія пѣсни, на примѣръ, известную кантату на Шаховскаго, сочиненную Дашковымъ, и каждый куплетъ которой оканчивался стихомъ:

Хвала тебѣ, о, Шутовской!

За этимъ основнымъ правиломъ послѣдовали вскорѣ другія правила, собранныя Блудовымъ и Жуковскимъ въ видѣ устава; тутъ, между прочимъ, было постановлено слѣдующее: по примѣру всѣхъ другихъ обществъ, каждый вновь выбранный членъ долженъ читать похвальное слово своему умершему предшественнику; но такъ какъ всѣ члены «Арзамаса», безъ сомнѣнія, бессмертны, то они положили брать на прокатъ покойниковъ между халдеями «Бесѣды» и «Россійской Академіи». По примѣру же ученыхъ обществъ составлялись и протоколы засѣданій, конечно, въ шуточномъ смыслѣ; тутъ отличался Жуковский: онъ составлялъ изъ фразъ осмѣянныхъ сочинителей забавную галиматью. Говорятъ, что они находились въ бумагахъ А. И. Тургенева. Кое-что изъ этихъ *литературныхъ шалостей*, какъ назвалъ ихъ Блудовъ на юбилеѣ князя Вяземскаго, напечатано въ «Русскомъ Архивѣ» 1866 и 1868 годовъ ²⁾.

Эти «шалости» предохранили Жуковскаго отъ совершеннаго упадка духа, который обнаруживается изъ переписки его съ Авдотьей Петровною:

„Я теперь люблю поэзію, какъ милаго человѣка въ отсутствіи, о которомъ безпрестанно думаешь, къ которому безпрестанно хочется, и котораго все нѣтъ, какъ нѣтъ! Я здѣсь живу очень уединенно; никого, кромѣ своихъ немногихъ, не вижу, и несмотря на это, все время просакиваетъ между пальцевъ. И этой немногой разсѣянности для меня слишкомъ много. При-

¹⁾ Городъ Арзамасъ, Нижегородской губерніи, славится искусствомъ откармливать гусей. Члены общества придумали особый родъ просьбы „ради величественнаго арзамасскаго гуся“.

²⁾ Письмо Д. В. Дашкова къ князю Вяземскому, отъ 26-го ноября 1815 года, напечатанное въ „Русск. Архивѣ“ 1866 г., стр. 498 и сл., даетъ весьма хорошее понятіе о веселомъ духѣ членовъ „Арзамаса“.—См. также о литературномъ значеніи „Арзамаса“ въ „Современникѣ“ 1851 года, № 6.

бавьте къ ней какую-то неспособность заниматься, которая меня давитъ, и отъ которой не могу отдѣлаться — жестокая сухость залѣзла въ мою душу!

„О, рожи, о, друзья, когда увижу васъ?“ ¹⁾

„Но что-жь, если не удастся сгородить себѣ какого-нибудь состоянія? Если надобно будетъ рѣшиться здѣсь оставаться и служить, тогда прощай, поэзія и все! *Авось!* Неотвязное слово! Какъ оно теперь для меня мало значитъ! А все не разстанешься съ нимъ“.

Но вдругъ на голову нашего друга неожиданно грянулъ громъ съ той стороны, куда устремлены были всѣ мечты поэта, — изъ Дерпта. Тамъ думали, что новые петербургскіе виды и отношенія совершенно успокоили душу его, и что онъ отказался уже отъ прежнихъ желаній и надеждъ. Отъѣзжая изъ Дерпта въ Петербургъ, онъ поручилъ семейство Протасовыхъ покровительству одного пріятеля, котораго въ короткое время своего перваго пребыванія въ Дерптѣ успѣлъ дружески полюбить. Это былъ профессоръ Мойеръ, домашній врачъ Протасовыхъ. Жуковскій откровенно разсуждалъ съ нимъ о своихъ отношеніяхъ къ разнымъ лицамъ семейства, о необходимости съ ними разстаться, и ввѣрилъ судьбу ближайшихъ къ сердцу родственникововъ челоѣку, на котораго онъ полагался, какъ на надежную опору для нихъ въ новомъ мѣстопребываніи.

Мойеръ, по желанію своего отца, бывшаго ревельскаго суперъ-интендента, посвятивъ три года (1803—1805) изученію богословія въ Дерптѣ, по окончаніи этого курса отправился въ чужіе края для изученія медицины. Шесть лѣтъ провелъ онъ тамъ съ этою цѣлью, преимущественно въ Павіи, гдѣ подружился съ знаменитымъ профессоромъ хирургіи Скарпою, и въ Вѣнѣ, гдѣ посѣщалъ практическія заведенія подъ руководствомъ хирурга Руста и офталмолога Бэра. Кромѣ того, будучи отличнымъ піанистомъ, онъ очень коротко познакомился въ Вѣнѣ съ Бетговенемъ. Возвратясь на родину, Мойеръ въ 1812 году завѣдывалъ хирургическимъ отдѣленіемъ военныхъ госпиталей, сначала въ Ригѣ, потомъ при университетской клиникѣ въ Дерптѣ, и въ 1815 году выбранъ здѣсь былъ профессоромъ хи-

¹⁾ Стихъ изъ басни Жуковскаго: „Сонъ Могольца“, Соч., I, 17.

рургіи. Онъ пользовался въ Дерптѣ большимъ уваженіемъ не только сослуживцевъ, но и общества, и привлекалъ всѣхъ образованностью и привѣтливымъ своимъ характеромъ. Принадлежа къ какой-то масонской ложѣ, Мойеръ сдѣлался въ Дерптѣ главою всѣхъ приверженцевъ масонскихъ идей. По увольненіи Клингера отъ должности попечителя дерптскаго университета (въ 1817 году), піэтистическое направленіе, господствовавшее въ тогдашнемъ министерствѣ народнаго просвѣщенія, коснулось и дерптскаго университета и повело войну противъ раціонализма; но несмотря на эти обстоятельства, Мойеръ остался профессоромъ и впоследствии былъ выбранъ ректоромъ университета.

Такая личность, по отъздѣ Жуковскаго, могла своимъ спокойнымъ и рѣшительнымъ характеромъ усмирить душевныя волненія въ домѣ Протасовыхъ. Мать и дочери искренно уважали его, а зятю стало какъ-то неловко при такомъ домашнемъ другѣ; онъ сталъ нерѣдко уѣзжать изъ Дерпта и наконецъ отпросился на службу въ Петербургъ. Удостоившись въ дружескомъ расположеніи Протасовыхъ къ себѣ, Мойеръ пожелалъ упрочить эти отношенія родственнымъ союзомъ: онъ посватался за Марію Андреевну Протасову. Екатерина Аванасьевна благосклонно приняла его предложеніе, а дочь попросила нѣсколько времени на размышленіе; она написала къ Жуковскому и просила его совѣта. Это-то письмо и грянуло, какъ громъ, среди веселой жизни нашего Арзамасца и потрясло до основаній построенныя на *авось* его надежды и намѣренія! Такъ какъ письмо Маріи Андреевны даетъ самое ясное понятіе о благородствѣ и величіи души ея, то мы должны сообщить его здѣсь. Намъ станетъ еще понятнѣе, какъ привязанность къ такому «неземному созданію» ¹⁾ могла на всю жизнь освѣщать и наполнять душу поэта вѣрою въ доброе и прекрасное:

„Дерптъ. 8-го ноября 1815.—Мой милый, безцѣнный другъ! Последнее письмо твое къ маменькѣ утѣшило меня гораздо болѣе, нежели я сказать могу, и я рѣшаюсь писать къ тебѣ, просить у тебя совѣта такъ, какъ у са-

¹⁾ Слова Плетнева въ его біографіи Жуковскаго.

маго лучшаго друга послѣ маменьки. Vous dites, que vous voulez me servir lieu de père! ¹⁾ О, мой добрый Жуковский, я принимаю это слово во всей его цѣнѣ, и очень умѣю понимать то чувство, съ когорымъ ты его сказалъ. Я у тебя прошу совѣта такъ, какъ у отца; прошу рѣшить меня на самый важный шагъ въ жизни; я съ тобою съ первымъ послѣ маменьки хочу говорить объ этомъ и жду отъ тебя, отъ твоей ангельской души своего спокойствія, счастья и всего добраго. Je veux me marier avec Moier! J'ai eu occasion de voir, combien il est noble, combien ses sentiments sont élevés, et j'espère, que je trouverai avec lui un parfait repos. Je ne m'aveugle pas sur ce que je sacrifie, en faisant ce pas là; mais je vois aussi tout ce que je gagne. D'abord, je suis sûre de faire le bonheur de ma bonne maman, en lui donnant deux amis ²⁾. Милый другъ, то, что теперь тебя съ нею разлучаетъ, не будетъ болѣе существовать. Въ тебѣ она найдетъ утѣшителя, друга, брата. Милый Базиль! Ты будешь жить съ ней, а я получу право имѣть и показывать тебѣ самую святую, нѣжную дружбу, и мы будемъ такими друзьями, какими теперь все быть мѣшаетъ. Не думай, ради Бога, чтобы меня кто-нибудь принуждалъ на это рѣшиться. Съ Воейковымъ я еще не говорила, а увѣрена напередъ, что онъ будетъ противъ этого; а маменька оставляетъ мнѣ полную волю. Другъ мой, я отъ тебя жду рѣшенія, и Мойеру долго еще о томъ говорить не стану. Милый Жуковский, я воображаю, что мы всѣ можемъ быть счастливы! Я надѣюсь, что ты будешь жить съ маменькой, что въ тебѣ она найдетъ все. Кто лучше тебя можетъ дать ей счастье? Такъ же и ты, другъ мой, будешь все имѣть, живши дружно съ этими двумя ангелами. Кто больше маменьки и Саши можетъ утѣшить и замѣнить все? Такъ же и Воейковъ, я увѣрена, будетъ лучше и добродѣтельнѣе, когда будетъ видѣть тебя. Ты много, много можешь имѣть вліянія на счастье Саши. Pour moi, je ne perdrai la liberté que de nom; mais je gagnerai le droit d'avoir et de vous montrer la plus sincère amitié. Mon bon ami, je crois vraiment que je trouverai le bonheur et le repos avec Moier; je l'estime beaucoup; il a une âme élevée et un caractère noble, et j'attends tout du temps.

„J'ai encore une grande prière à vous faire. Woeykoff va venir à Pétersbourg. Vous avez bien de raisons pour être fâché contre lui, il a eu de très grands torts envers vous; mais pour l'amitié, que vous avez pour ma

¹⁾ „Ты говоришь, что хочешь замѣнить мнѣ отца“.

²⁾ „Я хочу выйти за мужъ за Мойера. Я имѣла случай видѣть его благородство и возвышенность его чувствъ и надѣюсь, что найду съ нимъ совершенное успокоеніе. Я не закрываю глаза на то, чѣмъ я жертвую, поступая такимъ образомъ; но я вижу и все то, что выигрываю. Прежде всего я увѣрена, что доставлю счастье моей доброй маменькѣ, доставивъ ей двухъ друзей“.

soeur, vous devez non seulement lui tout pardonner, mais le reconcilier avec Kaweline. Cet homme a une très grande influence sur lui, et en perdant son estime, il fera moins de cas de la vertu. Pardonnez lui tout de bon coeur, et payez lui par des bienfaits ¹⁾. Саша тебя любить и отъ тебя ждеть больше, нежели отъ кого нибудь. Она вчера сказала, что ей грустно знать тебя на нее сердиту, но что она не расканваается въ томъ, что написала письмо, потому что ей легче быть самой противъ тебя виноватою, нежели воображать тебя недостойнымъ ея уваженія и дружбы. Для этого ангела ты долженъ сдѣлать все, что можно. Она боится поѣздки Воейкова въ Петербургъ, зная его вспыльчивость, и зная также, какъ много ты имѣешь права дѣлать ему упреки; она ожидаетъ, несчастія отъ этого путешествія. Ты будешь и ея благодѣтелемъ, помиривъ Воейкова съ Кавелинымъ и простивъ его отъ сердца, безъ всякихъ изъясненій и оправданій, которыя ни къ чему не послужать.

„Отвѣчай намъ, какъ можно скорѣй и побольше; не говори никому и ничего; еще ничто не рѣшено“.

Не получивъ отвѣта до 22-го ноября, Марія Андреевна пишетъ Жуковскому въ другомъ письмѣ:

„Я говорила Воейкову и отгадала слѣдствія: онъ огорченъ и недоволенъ очень. Онъ боится, что ты будешь воображать его причиною всему, но я прошу тебя опять не думать этого; я, одна я, рѣшилась на это, потому что уважаю Мойера и жду всѣмъ намъ счастья, дружбы, и впереди вижу добрую спокойную и полезную жизнь, съ довѣренностью, дружбой и всѣмъ хорошимъ. Воейковъ, можетъ-быть, чрезъ два дня постѣ письма моего пріѣдетъ. Милый другъ, помни, что отъ одного тебя мы ждемъ успокоенія. *Menagez son caractère emporté, par pitié pour sa femme* ²⁾. Какъ много еще можетъ у насъ быть счастья впереди, и оно все въ твоихъ ру-

¹⁾ „Что касается до меня, то я потеряю свободу только по имени; но я пріобрѣту право пользоваться искреннею дружбой твоею и оказывать тебѣ ее. Мой добрый другъ, я въ самомъ дѣлѣ вѣрю, что найду счастье и успокоеніе съ Мойеромъ; я очень уважаю его; у него возвышенная душа и благородный характеръ, и я ожидаю всего отъ времени.“

„У меня есть къ тебѣ еще большая просьба. Воейковъ ѣдетъ въ Петербургъ. У тебя много причинъ быть имъ недовольнымъ; онъ много виноватъ передъ тобою; но ради дружбы, которую ты питаешь къ моей сестрѣ,—ты долженъ не только простить ему все, но и помирить его съ Кавелинымъ. Этотъ человѣкъ имѣетъ большое вліяніе на него, и потерявъ его расположеніе, Воейковъ будетъ менѣе уважать добродѣтель. Прости ему все отъ чистаго сердца и плати ему благодарностями“.

²⁾ „Пошадѣ его вспыльчивый характеръ изъ сожалѣнія къ его женѣ“.

кахъ! Я требовала отъ маменьки, чтобы послать тебѣ письмо, потому что я говорила съ нею“.

И Екатерина Аванасьевна прибавила къ этимъ строкамъ еще нѣсколько словъ:

„Милый другъ Жуковскій, сколько ты мнѣ дорогъ, я этого тебѣ изъяснить не умѣю. Сердце мое раздирается, когда я о тебѣ думаю; но я знаю твое благоразуміе. Другъ мой, напиши ко мнѣ все, что у тебя на душѣ; я увѣрена, что ты, способствовать будешь счастію тѣхъ, кто тебѣ такъ дороги, и для кого ты безцѣненъ. Здоровье твое для меня дороже моего; береги себя, мой другъ милый; занимайся болѣе, ищи разсѣянія, любя твоихъ истинныхъ друзей“.

Легко себѣ представить, какое впечатлѣніе эти письма сдѣлали на бѣднаго нашего друга. Онъ не вѣрилъ тому, что Марія Андреевна рѣшилась идти замужъ добровольно, безъ принужденія; онъ подозрѣвалъ Екатерину Аванасьевну въ томъ, что она была единственною виновницей жертвы дочери. Онъ оспаривалъ всѣ увѣренія Маріи Андреевны и умолялъ ее, по крайней мѣрѣ, отсрочить свое рѣшеніе еще на годъ:

„Я самъ люблю Мойера; я видѣлъ его во всѣ минуты прекраснымъ человекомъ, и почитаю его способнымъ дать тебѣ счастіе. Но я прошу одного: не по принужденію, свободно, не изъ необходимости, не для того только, чтобы бѣжать изъ семьи и гдѣ-нибудь найти пріютъ. Вотъ мысль, которая убиваетъ меня“.

Переписка эта, въ 70 мелко исписанныхъ страницъ въ четвертку, носить на себѣ отпечатокъ сильнѣйшаго душевнаго волненія и исполнена чувствъ и мыслей, выраженныхъ со всею силою пламенной страсти, языкомъ, подобнаго которому не могло бы создать никакое искусство. Какъ переписка Шиллера и Гете съ любимыми ими женщинами въ нѣмецкой литературѣ, такъ переписка Жуковскаго съ Маріей Андреевною и ея матерью, хранимая, какъ драгоценное сокровище у Авдотьи Петровны Елагиной, могла бы занять почетное мѣсто въ литературѣ русской; она плѣнила бы каждого какъ наружною, такъ и внутреннею своею прелестью.

Наконецъ, не будучи въ состояніи представить себѣ, что дерптскія событія произошли именно такъ, какъ писала Марія Андреевна, Жуковскій рѣшился самъ ѣхать въ Дерптъ и лично

удостовѣриться въ случившемся. Въ январѣ онъ прибылъ туда, и къ удивленію своему, нашелъ все въ другомъ видѣ, чѣмъ представляла ему испуганная фантазія. Послѣ различныхъ объясненій, другъ нашъ вышелъ побѣдоноснымъ героемъ изъ прискорбной борьбы между сердцемъ и разсудкомъ. Недѣли черезъ три онъ уже возвратился къ своимъ петербургскимъ друзьямъ. Въ Петербургѣ онъ былъ обрадованъ прїѣздомъ Карамзина и Вяземскаго и черезъ нѣсколько дней по возвращеніи писалъ въ Дерптъ:

„Увидѣть ихъ было весело, и веселѣе болѣе отъ того, что и на душѣ стало веселѣе. Я на дорогѣ простудился-было и вообразилъ, что занемому не на шутку. Еслибъ это случилось со мною на дорогѣ въ Дерптъ, то, можетъ-быть, я еще этому бы и обрадовался. А теперь, напротивъ, это мнѣ стало страшно. У меня теперь прекрасная цѣль въ жизни. У меня руки развязаны дѣлать *все*, что отъ меня зависитъ, для Машина счастья. *Маши*, смотри же, не обмани меня! Чтобы намъ непременно *вмѣстѣ* состряпать твое счастье, тогда и все прекрасно! Прошу васъ помнить, что вы должны имѣть самую неограниченную, спокойную ко мнѣ довѣренность, тогда все пойдетъ порядкомъ. *Саши*, милый дружокъ, повѣрь, что мы сладимъ съ дурнымъ прошедшимъ, и въ *будущемъ* будетъ у насъ покой и согласіе! *Воейкова*, прошу смотрѣть на наше *вмѣстѣ*, какъ на обѣтованную землю; надобно непременно дойти до нея, а не заблудиться и пропасть въ пустынѣ. *Мойера* обнимаю“.

Около того же времени, 19-го февраля 1816 года, онъ отправилъ къ Долбинскимъ роднымъ длинное письмо изъ Петербурга, въ которомъ рассказываетъ все, что случилось съ нимъ въ Дерптѣ. Съ Екатериной Аванасьевною онъ, видно, совершенно помирился.

„Я слишкомъ жестоко обвинялъ Екатерину Аванасьевну; по крайней мѣрѣ, теперь не она, а ихъ ужасное положеніе всему причиною. Слава Богу, что теперь изъ этого хаоса выходитъ свѣтъ! По настоящему, мнѣ бы надобно было тотчасъ ѣхать, получивъ первое письмо Маши, но я самъ былъ обмануть и не могъ не обмануться. Я думалъ, что мое посѣщеніе будетъ не только бесполезно, но и вредно; что мнѣ не дадутъ говорить съ Машею свободно, что я буду принужденъ только безусловно согласиться или уѣхать, не согласясь ни на что и только прибавивъ своимъ присутствіемъ къ общему ихъ страданію. Вышло напротивъ. Не знаю, совершенно-ль увѣрена во мнѣ тетюшка, по крайней мѣрѣ, изъ моего обхожденія съ Машею я имѣю

право такъ думать: я имѣлъ съ нею полную свободу, и каждый день проводили мы по часу вмѣстѣ, одни, съ глазу на глазъ. Чтò, если бы не было этого гибельнаго подозрѣнія, которое такъ разнило меня съ нею? Давно бы все было въ порядкѣ! Ни отъ кого не можетъ она слышать того, чтò отъ меня, и никто не можетъ такъ меня успокоить, какъ она. Все такъ случилось, какъ я располагалъ предъ своимъ отъѣздомъ. Изъ разговоровъ съ Машею я увидѣлъ, что она не обманываетъ меня, что она дѣйствуетъ теперь не по принужденію, а изъ увѣренности, что все будетъ лучше, что она надѣется этого лучшаго. И не одни ея слова, но и собственныя замѣчанія убѣдили меня въ этомъ. Съ Мойеромъ говорилъ я откровенно, и онъ не только понялъ, но угадалъ и предупредилъ мои мысли. Мы теперь съ нимъ вѣрные товарищи; цѣль наша прекрасная—общее счастье, и это счастье называется Машей. Мама будетъ дѣйствовать свободно, все отдано на ея волю; она знаетъ, что я не теряю ничего, если она только найдетъ свое счастье, и она дала слово его найти, ничему собою не жертвовать. Это сдѣлать она обязана, и въ этомъ случаѣ меня не обманетъ. Приѣхавъ къ нимъ, я нашелъ ихъ совершенно несчастными. Воейковъ былъ точно какъ бѣшеный! По сію пору не могу его излѣчить. Мама думаетъ, что причиной его поступковъ была ненависть къ ней; я этого не могу понять. Думаю, что всѣ прежнія обстоятельства раздражали его; объ этомъ говорить больно, да и не нужно. Прежде своего отъѣзда въ Москву во время болѣзни Машинной, чтобъ ее мучить, онъ давалъ надежду Мойеру; но какъ скоро она на это рѣшилась, онъ началъ всему противорѣчить. Узнавъ, что она ко мнѣ написала, онъ поскакалъ въ Петербургъ и обманулъ меня и Кавелина рассказами объ ужасныхъ пригѣсненіяхъ, которыя ей дѣлали, и я не могъ не повѣрить этимъ рассказамъ: все старое подтверждало ихъ. Возвратясь въ Дерптъ, онъ началъ мучить ихъ своими бѣшенными противорѣчіями, давая чувствовать, что такъ дѣйствуетъ для *меня*, пугалъ ихъ безпрестанно то самоубійствомъ, то дуэлью съ Мойеромъ, то пьянствомъ; каждый день были ужасныя исторіи. Мой приѣздъ всему положилъ конецъ; онъ увидѣли, что мои намѣренія были совершенно противныя тому, чтò онъ говорилъ обо мнѣ, да и письма мои, какъ ни огорчительны были для Екатерины Аванасьевны, въ томъ же могли увѣрить. Я былъ только маскою для Воейкова: онъ боялся не моего несчастія, а только того, чтобы въ семьѣ своей не потерять той неограниченной власти, какую имѣлъ, благодаря слабости Екатерины Аванасьевны. Во мнѣ онъ увидѣлъ человѣка, который имѣлъ уже власть и возможность ихъ защитить. Это его усмирило. Были и при мнѣ попытки пугать ихъ разлукою, дуэлью, пьянствомъ и прочее; все это не помогло, и его арсеналь теперь совсѣмъ истраченъ. Спокойствіе возстановилось, но чтобъ оно было постоянно, надобно быть мнѣ съ ними, по крайней мѣрѣ, нѣсколько времени: меня онъ бонсея, мнѣ вѣрптъ, сколько мо-

жетъ кому-нибудь вѣрить, въ моихъ рукахъ его репутація, его связи съ прочими его друзьями, все это даетъ мнѣ большую надъ нимъ силу. Но этого мало; надобно непременно возстановить спокойствіе такъ, чтобъ оно не разрушилось, и повѣрьте, что я теперь не дамъ бушевать ему. Друзья, какое иногда божественное чувство подымаетъ душу! И какъ весело его раздѣлить! Что передъ этимъ прекраснымъ чувствомъ всѣ эти маленькіе безобразные уродцы, которые называются *желаніями для себя*, и которые иногда выскакиваютъ, какъ пузыри, и лопаются? Какъ прекрасно недавно сказалъ Карамзинъ — и онъ только выразилъ ясными словами, что я чувствовалъ ясно: „Намъ должно думать не о совершенствѣ дѣйствій, а о совершенствѣ одной воли! Дѣйствіе отъ насъ не зависить, но воля есть человѣкъ!“ Это совершенная правда! Я здѣсь увѣренъ въ своей *воле*, и въ счастію, уже увѣренъ на опытѣ. Я хочу, хочу передъ Богомъ святаго добра! Что нужды, что въ инныя минуты самъ себѣ измѣняешь и бываешь не похожъ на самого себя. Этимъ минутамъ я не вѣрю; я знаю, что онѣ — минуты, что онѣ должны скоро пройти. Карамзинъ, говоря о вѣрѣ, сказалъ: „Мы не можемъ доказать безсмертія и существа Бога; но доказательства и не нужны! Здѣсь разумъ не дѣйствуетъ; кто почувствовалъ Бога и безсмертіе, тотъ никогда не перестаетъ *вѣрить*“. То же можно сказать и о добрѣ. Пожелавъ *въ сердцѣ* добра, никогда не потеряешь этого желанія; что бы ни случилось, какія бы мысли ни забредли въ голову, сторожъ хорошаго есть воспоминаніе о хорошемъ. Я хочу добра, и не только хочу, теперь могу его сдѣлать. Руки развязаны. И какое же добро? Съ одной стороны, *устроить* счастіе Маши: я теперь знаю, что она не можетъ и не должна оставаться въ томъ положеніи, въ какомъ она теперь. Что за жизнь, которую она ведетъ! Нѣтъ свободы ни чувствовать, ни мыслить, ни дѣйствовать! Даже нѣтъ своего угла! Во всемъ тяжелая, убійственная неволя. Какъ не пожелать для нея такого состоянія, въ которомъ она будетъ имѣть все нужное для сердца. Надобно только, чтобы прошедшее было ей другомъ, а не врагомъ, и это мы сдѣлаемъ. Съ другой стороны, *возвратить* Сашѣ, если не счастіе, то по крайней мѣрѣ спокойствіе. Ея положеніе ужасное; она знаетъ своего мужа, но въ счастію, характеръ ея таковъ, что нѣсколько времени спокойствія, ничѣмъ ненаружимаго, можетъ привести въ забвеніе прошедшее. Всему этому теперь положено начало. Прежде, нежели все рѣшится, Маша узнаетъ Моейра, привякнетъ къ нему, и все, *что было*, не пропадетъ для нея, а только сольется съ тѣмъ, *что есть*, въ одно ясное, спокойное чувство. Съ Воейковымъ же я буду въ ладу; теперь это возможно, я отъ него не завишу, и ему уже ничѣмъ оскорбить меня не возможно, ибо судьба Маши не въ его, а въ моихъ рукахъ, и теперь я, она и Моейръ составляемъ тѣсный триумвиратъ, котораго цѣль есть общее счастіе. Теперь зависить отъ меня сдѣлать Воейкова, если не добрымъ, то лучшимъ; надоб-

но для этого забыть, что онъ человѣкъ, а обходиться съ нимъ какъ съ вещью, изъ которой можно и должно сдѣлать полезное употребленіе. Быть съ нимъ въ ладу мнѣ не трудно, а это будетъ ему полезно, и въ особенности полезно для бѣдной моей Саши, которая глядитъ на меня какъ на помощника и хранителя. Ему надобно оставить *доверенность къ самому себѣ*. Это зависитъ отъ того вниманія, которое будешь ему показывать; въ этомъ случаѣ прошу и васъ всѣхъ со мною согласиться; сдѣланное зло имъ уже сдѣлано; теперь онъ не можетъ ничего къ нему прибавить. И изъ этого зла выходитъ добро—Машино счастье, которое уже не отъ него зависитъ, и которое безъ него устроится. Здѣсь оно въ сторонѣ. Но надобно думать о Сашѣ. И такъ, прошу васъ съ нимъ обходиться съ величайшею осторожностью, чтобъ обхожденіе съ нимъ не могло его раздражать, ибо все это отдается въ сердцѣ Саши. По настоящему, его положеніе самое тяжелое. Онъ долженъ быть въ разрывѣ съ собою, а при такомъ характерѣ, каковъ его, это портитъ только душу. Надобно, сколько возможно, облегчить для него такое состояніе. Что же касается до меня самого, то нельзя же вдругъ всего передѣлать. Но вы за меня не бойтесь. Я вообще счастливъ. Последнія три недѣли, проведенныя мною въ Дерптѣ, были самая богатая прекрасными чувствами эпоха въ жизни моей. Если я буду имѣть съ Машею свободу, какую имѣлъ въ эти три недѣли, то все прійдетъ въ порядокъ, и къ лучшему. А эту свободу я имѣть буду. Екатерина Аванасьева слишкомъ должна быть теперь увѣрена, что это для меня необходимо, и видѣла уже пользу отъ этого. Хоть она и не совсѣмъ входитъ въ мои чувства и не понимаетъ меня, но что до этого! Вѣдь не это моя дѣль. Въ этомъ случаѣ я не имѣю въ виду награды. Вѣрите, прошу васъ, что я счастливъ, и не бойтесь за меня никакихъ тяжелыхъ минутъ. Тяжелыя минуты были и будутъ; но славное чувство пропасть не можетъ. А въ этомъ все! Вотъ что я за собою замѣтилъ: всякій разъ, когда я бываю съ Мойеромъ одинъ, мнѣ было грустно, но не о себѣ, а о Машѣ. Все приходило въ голову мысль, что съ нимъ она не будетъ имѣть всего и можетъ жалѣть о прошедшемъ. И все, что меня убѣждало въ противномъ, меня радовало. Теперь я увѣренъ и болѣе на этотъ счетъ спокоенъ; а время все сдѣлаетъ, и мы поможемъ времени. Кажись бы — хорошо, анъ нѣтъ! Во мнѣ есть другой человѣкъ, которому бываетъ больно, когда онъ замѣтитъ привязанность Маши къ Мойеру. Этотъ „человѣкъ“ (сколько я замѣтилъ) бурлитъ болѣе къ вечеру, и думаю, что онъ живетъ въ желудкѣ! Но онъ связанъ крѣпкими кандалами и осужденъ умереть съ голоду, и онъ умретъ непременно. И если живъ еще, до оттого, что онъ слишкомъ крѣпкаго сложенія. И знаете ли, что будетъ его убійцею? Что-то воздушное, безтѣлесное, живущее въ нижеслѣдующихъ караулахъ:

„Все въ жизни къ великому средство!
 „И горестъ, и радость—все къ цѣли одной!
 „Хвала жизнедавцу Зевесу!

„Можно-ль измѣнить прекрасной цѣли? Можно ли не остаться вѣр-
 нымъ добруму, высокому чувству? Прекрасное можно назвать жизнію, ко-
 торая все *жизнь*, несмотря на болѣзни, которыя нарушаютъ ея порядокъ.
 А поэзія—славный громовой отводъ! Теперь мнѣ будетъ легче бесѣдовать
 съ моею Музою. Даже и все, что есть печальнаго въ моей судьбѣ, теперь
 не убійственно и близко своею породой къ безсмертной Музѣ. Поэзія, иду-
 щая рядомъ съ жизнію,—товарищъ несравненный! Вотъ мое расположеніе!
 Кончивъ изданіе моихъ стиховъ, котораго на бѣду никому постороннему
 поручить не могу, тотчасъ отправляюсь въ Дерптъ. Прошу шепнуть Негру,
 что я *блгой книги не страшуся*“¹⁾.

IV.

Таковъ былъ результатъ поѣздки Жуковскаго въ Дерптъ.
 Въ Петербургѣ кое-какъ онъ занимался работами и перепискою
 съ знакомыми и развлекался въ кругу любезныхъ Арзамас-
 цевъ, въ которомъ даже казался веселымъ; а въ ночную пору
 писалъ стихи:

Кто слезъ на хлѣбъ свой не роняетъ,
 Кто близъ одра, какъ близъ могилы,
 Въ ночи, бессонный, не рыдаетъ,
 Тотъ васъ не знаетъ, Вышни силы?!²⁾

Или еще:

Прошли, прошли вы, дни очарованья!
 Подобныхъ вамъ ужъ сердцу не нажить!
 Вашъ слѣдъ въ одной тоскѣ воспоминанья;
 Ахъ, лучше-бъ васъ совсѣмъ мнѣ позабыть!
 Къ вамъ часто мчитъ привычное желанье,
 И слезъ любви вѣтъ силъ остановить!
 Несчастье—объ васъ воспоминанье,
 Но болѣе несчастье—васъ забыть!

¹⁾ Намекъ на „Посланіе къ Воейкову“, Соч. II, стр. 53.

²⁾ Переводъ изъ Гёте: „Wer nie sein Brod mit Thränen“, Соч. II, 3.

О, будь же, грусть, замѣной упованья;
 Отрада намъ—о счастья слезы лить;
 Миѣ умереть съ тоски воспоминанья!...
 Но можно ль жить, увы! и позабыть?! ¹⁾

Какъ мощная горная рѣка, промчавшись съ ревомъ и пѣною сквозь скалистыя ущелья, величественно струится по плоской равнинѣ къ морю и въ хрустальной глубинѣ своей отражаетъ мирные берега и голубое небо,—такъ отнынѣ направляется и жизнь нашего друга. «Романъ моей жизни конченъ; начну ея исторію»,—говаривалъ онъ нерѣдко. Въ апрѣлѣ 1816 года мы находимъ его опять въ Дерптѣ:

„Все идетъ довольно тихо,—пишетъ онъ въ Долбино,—исторій нѣтъ, съ Мойеромъ мы совершенно согласны въ образѣ мыслей и чувствъ. Между нами нѣтъ ни малѣйшей принужденности, ни малѣйшаго недоразумѣнія, мы говоримъ свободно о нашемъ общемъ дѣлѣ, о счастьи Машы. Такой черты довольно, чтобы дать понятіе о его характерѣ“.

Въ то же время онъ послалъ Дашкову планъ русскаго альманаха и предложилъ ему принять участіе въ этомъ изданіи. Хотя изданіе не состоялось, но любопытно видѣть, какія работы были для него уже готовы у Жуковскаго ²⁾.

Въ іюнѣ того же года Жуковский сдѣлалъ поѣздку въ нѣкоторыя мѣста такъ-называемой Ливонской Швейцаріи, а лѣтомъ уѣзжалъ на морскія купанья въ Ревель. Потомъ, возвращаясь въ Дерптъ, онъ здѣсь ближе познакомился съ директорами училища, учрежденнаго по системѣ Песталоцци. Главнымъ поводомъ къ этому знакомству послужило то обстоятельство, что Авдотья Петровна Кирѣевская, выйдя вторично замужъ за Алексѣя Андреевича Елагина, желала имѣть хорошаго учителя для воспитанія своихъ сыновей отъ перваго брака. Жуковский нашелъ человѣка, соответствующаго строгимъ его требованіямъ:

„Для мужчины,—пишетъ онъ,—въ нынѣшнемъ вѣкѣ, въ которомъ отъ другихъ отставать не должно, въ наукахъ нужно знаніе фундаментальное. Я самъ намъ въ этомъ примѣръ. Миѣ часто, часто приходитъ плохо отъ недостатка въ этомъ фундаментальномъ знаніи! И я бы не желалъ, чтобы

¹⁾ Соч. II, стр. 1.

²⁾ См. „Русск. Арх.“ 1868 г., стр. 837.

съ дѣтми вашими бывало то же, что со мною. Зажигайте около себя и въ сердцахъ своихъ дѣтей *фонари свои*, и *наши* будутъ горѣть тамъ и здѣсь и отвѣчать вамъ своимъ свѣтомъ“.

Опять поэзія для Жуковскаго стала «святымъ дѣломъ», какъ выражается онъ самъ по случаю отправки вспомошествованія одному поэту въ Сибири:

„Блаженъ, кто можетъ быть вполнѣ поэтомъ!

„Вполнѣ, а не слишкомъ! Если слишкомъ, то поэзія—врагъ всякаго *вмѣстѣ* съ людьми. Я опять пишу, и пишу такъ же, какъ въ Долбинѣ. „Пѣвецъ“ конченъ, „Искупленіе“ оканчивается. Друзья, ждите меня. Все, что на милой родинѣ, здравствуй:

„Тамъ небеса и воды ясны“ ¹⁾ и проч.

„Но Воейковъ не любитъ моего „тамъ“,—да и слишкомъ много его въ моихъ стихахъ. А какъ безъ него обойтись? Кстати о „тамъ“, вотъ еще пѣсня, которая этимъ словомъ оканчивается, и на которую Вейраухъ сочинилъ прекрасную музыку:

Кто-жъ невѣдомымъ брегамъ
Путь невѣдомый укажетъ?
Ахъ, найдется ль, кто мнѣ скажетъ,
Очарованное тамъ“ ²⁾.

Поэтъ въ Сибири, о которомъ хлопоталъ Жуковский, былъ Мещевскій. Василій Андреевичъ крѣпко журить своихъ друзей въ Петербургѣ за то, что они не помогаютъ сосланному литератору:

„Вы хвастаете своимъ Арзамасомъ! Хвастайте, хвастайте, голубчики! Правда, вы запаслись *Рейномъ* ³⁾, пожива славная! Но, милые друзья, надобно помнить и о томъ, что ближе къ Арзамасу: Мещевскій въ Сибири, а вы, друзья, очень весело поживаете въ Петербургѣ. Если вы не собрались еще о немъ вспомнить отъ разсѣянности, то это срамъ и ребячество! Если-жъ отъ холодности къ его судьбѣ, то это—что это? Я не знаю, какъ назвать это? На что же намъ толковать о добрѣ, о общей пользѣ, о хорошихъ, возвышающихъ душу стихахъ? На что же смѣяться надъ Шаховскими и Rivaroli? Ни на то, ни на другое не имѣемъ мы права, если способны быть столь безпечными, когда дѣло идетъ о судьбѣ, можетъ-быть, о жизни, а

¹⁾ Соч. II, т. 9.

²⁾ Тамъ же, т. II, 8.

³⁾ *Рейномъ* назывался въ Арзамасскомъ кружкѣ М. Ѳ. Орловъ.

можетъ-быть (что еще важнѣе), о нравственномъ спасеніи человѣка, который намъ себя ввѣряетъ. Признаться, мнѣ больно быть хлопотуну за Мещевскаго, безсильнымъ его орудіемъ! Своихъ способовъ нѣтъ, а вы не помогаете! Еслибъ у меня была сила въ рукахъ, я бы вамъ не поклонился. Пошлю письмо Вяземскаго, чтобы пристыдить васъ и поддѣть вамъ, если можно, жару. Онъ не безпеченъ, когда *надобно дѣйствовать*“¹⁾).

Между тѣмъ, печатаніе стихотвореній Жуковскаго въ двухъ томахъ въ Петербургѣ оканчивалось; А. И. Тургеневъ и Кавелинъ звали его туда «за важнымъ дѣломъ». Они хотѣли упрочить положеніе его и для того поднести сочиненія его государю вмѣстѣ съ отдѣльно изданнымъ стихотвореніемъ: «Пѣвецъ въ Кремлѣ», къ которому Жуковский долженъ былъ прибавить кое-что въ видѣ привѣтствія государю. Онъ сдѣлалъ это, но неохотно.

„Мнѣ весело думать,—пишетъ онъ къ Тургеневу²⁾, — что *ты* обо мнѣ хлопочешь. Очень было бы хорошо, когда бы то, что ты затѣялъ, и о чемъ я не имѣю понятія, совсѣмъ обошлось безъ письма моего. Неужели должно непременно *просить* вниманія? Довольно того, чтобы его стоить. Вниманіе государя есть святое дѣло! Имѣть на него право могу и я, если буду русскимъ поэтомъ, въ благородномъ смыслѣ сего имени. А я буду! Поэзія часть отъ часу становится для меня чѣмъ-то возвышеннымъ... Не надобно думать, что она только забава воображенія! Этимъ она можетъ быть только для Петербургскаго свѣта. Но она должна имѣть вліяніе на душу всего народа, и она будетъ имѣть это благотворное вліяніе, если поэтъ обратитъ свой даръ къ этой цѣли. Поэзія принадлежитъ къ народному воспитанію. И дай Богъ въ теченіе жизни сдѣлать хоть шагъ къ этой прекрасной цѣли. Имѣть ее позволено, а стремиться къ ней значитъ заслуживать одобреніе государя. Это стремленіе всегда будетъ въ душѣ моей. Работать съ такою цѣлію есть счастье; а друзья будутъ знать, что я имѣю эту цѣль—вотъ награда“.

Однако, Жуковский не такъ скоро могъ собраться въ Петербургъ; другое дѣло, еще болѣе важное для него, задержало его въ Дерптѣ:

„Машина свадьба! Боже мой, что такое человѣкъ? Машина свадьба! Я говорю объ этомъ такъ спокойно, и во мнѣ два спорщика: одинъ гладитъ

¹⁾ Поэма Мещевскаго: „Наталя, боярская дочь“, печаталась издѣвиемъ Арзамаса, а деньги, вырученныя отъ продажи ея, были посланы автору въ Сибирь. См. „Русск. Арх.“ 1867 г., стр. 811.

²⁾ См. „Русск. Арх.“ 1867 г., стр. 803.

меня по головѣ за это спокойствіе, а другой ворчить и хмурится. А я отвѣчаю: какъ вамъ угодно! Но оно такъ, друзья: на свѣгѣ только и хорошаго, что *фонари*. Дай Богъ, чтобы всякую минуту былъ огонь наготовѣ, все прочее шелуха!⁴

Свадбу Маріи Андреевны отложили до будущаго (1817) года, и Жуковскій спѣшилъ къ Рождеству 1816 года въ Петербургъ. Министръ народнаго просвѣщенія, князь А. Н. Голицынъ, поднесъ экземпляръ стихотвореній Жуковскаго государю, изложивъ притомъ заслуги Жуковскаго въ отношеніи русской словесности и личныя его обстоятельства. И дѣйствительно, по словамъ Плетнева, въ Россіи никогда молодое поколѣніе не увлекалось съ такою пламенною любовью за образцомъ своимъ, какъ это ощутительно было въ ту эпоху. Только и говорили, что о стихахъ Жуковскаго; только ихъ и повторяли наизусть. Поблагодаривъ лично императора Александра Павловича за пожалованный ему пожизненный пенсіонъ въ 4.000 р. асс., и съ сердцемъ, исполненнымъ благодарности къ царю за доставленную ему *независимость*, Жуковскій 5-го января 1817 года уже поѣхалъ обратно въ Дерптъ. Кончивъ здѣсь свои *грамматическія таблицы*, онъ сталъ посѣщать историческія лекціи Эверса (младшаго), собиралъ матеріалы для предполагаемой поэмы «Владиміръ» и писалъ кое-какія стихотворенія, «произведенія мимопролетѣвшей минуты», которыя и посылалъ аккуратно въ Долбино. Онъ все-таки не покидалъ мысли возвратиться на родину. Какъ комментарий къ послѣдней строфѣ прелестной пѣсни:

Минувшихъ дней очарованье,
Зачѣмъ опять воскресло ты!
Зачѣмъ душа въ тотъ край стремится,
Гдѣ были дни, вакихъ ужъ нѣтъ?
Пустынный край не населится,
Не узрѣть онъ минувшихъ лѣтъ. ¹⁾

—онъ пишетъ къ Авдотѣ Петровнѣ:

„Этотъ край—Чернь! Но въ Долбинѣ есть жилецъ говорящій, краснорѣчивый, милый, къ которому много прекраснаго сплелось, и при которомъ

¹⁾ Соч. II, 13.

оно живетъ, какъ въ обѣтованномъ краю. Этому жильцу дай Богъ долѣе побыть на этомъ свѣтѣ, чтобы быть сторожемъ моего добра“.

Иныя изъ стихотвореній Шиллера, Гёте, Уланда и Гебеля переведены Жуковскимъ потому, что они были пѣты или съ восхищеніемъ читаны въ кругу родныхъ у Мойера. Главная же поэтическая работа Жуковскаго того времени, вторая часть «Двѣнадцати спящихъ дѣвъ», начатая еще въ Петербургѣ, также была окончена именно въ это время и тоже носить на себѣ слѣды отношенія поэта къ Машѣ.

Эпиграфомъ къ балладѣ онъ выбралъ послѣднія строки изъ романа Шиллера, переведеннаго имъ еще въ 1810 году:

Вѣрь тому, что сердце скажетъ;
Нѣтъ залоговъ отъ небесъ!
Намъ лишь чудо путь укажетъ
Въ сей волшебный край чудесь ¹⁾.

Эту вторую часть, балладу «Вадимъ», Жуковскій посвятилъ Блудову въ память перваго своего пребыванія у задушевнаго своего друга:

Вадимъ мой росъ въ твоихъ глазахъ;
Твой вкусъ былъ мнѣ учитель;
Въ моихъ запутанныхъ стихахъ,
Какъ тайный вождь-хранитель,
Онъ путь мнѣ къ цѣли проложилъ, и пр.

—а приближаясь къ *цѣли*, т.-е. къ концу своей баллады, поэтъ, подъ вліяніемъ совершившагося надъ Машею и Мойеромъ вѣнчальнаго обряда въ дерптскомъ Успенскомъ соборѣ, писалъ:

Молясь, съ подругой сталъ Вадимъ
Предъ царскими дверями,
И вдругъ... святой напой предъ нимъ,
Главы ихъ подъ вѣнцами,
Въ рукахъ ихъ свѣчи зажжены
И кольца обручальны
На персты ихъ возложены,
И слышенъ гимнъ вѣнчальный...

¹⁾ Соч. I, 191.

Напечатать всю балладу отдѣльно, поэтъ прибавилъ къ ней, въ видѣ предисловія, ту самую Гётевскую элегію, которую Гёте напечаталъ передъ второю частью своего «Фауста»:

Опять ты здѣсь, мой благодатный гений,
Воздушная подруга юныхъ дней, и проч. ¹⁾

Баллада «Вадимъ», по словамъ Плетнева, «останется въ литературѣ нашей самымъ живымъ, самымъ вѣрнымъ отголоскомъ прекрасной души поэта, когда всѣ лучшіе двигатели вдохновенія—молодость, любовь, чистота, набожность и сила совокупно въ ней дѣйствовали» ²⁾. Множество поэтическихъ мыслей Жуковского, набросанныхъ въ этой балладѣ, отзывались въ послѣдствіи времени въ его письмахъ, въ его стихотвореніяхъ, даже въ лебединой его пѣсни, въ «Агасферѣ». Какъ нѣкогда «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ» встрѣтилъ въ патриотизмѣ общества сильнѣйшій отголосокъ, такъ точно и стихи «Вадима», полные мечтаній о чудесахъ, вѣрѣ и любви, сдѣлали глубокое впечатлѣніе на сердца, успокоившіяся послѣ окончанія войны и вновь пріобрѣвшія воспримчивость къ романтическому настроенію. Идеальность освѣтила еще разъ, хотя на короткое время, тогдашнее общество, недавно, такъ мастерски очерченное графомъ Л. Толстымъ въ романѣ: «Война и миръ». Войдетъ ли когда-нибудь эта идеальность снова въ жизнь? Богъ знаетъ. Но лѣтъ сорокъ тому назадъ, когда строили въ Петербургѣ дворецъ великой княгини Маріи Николаевны, еще сочувствовали поэзіи Жуковского: тогда желали украсить нѣсколько покоевъ строящагося дворца картинами альфреско, представляющими сцены изъ поэмы: «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ». Жуковский вызвалъ изъ Даршта своего знакомаго живописца Майделя, для составленія плана и эскизовъ; но вышелъ такой огромный планъ, что недоставало ни времени, ни средствъ для его исполненія. Одну картину, однако же, соотвѣтственно

¹⁾ Соч. I, 131.

²⁾ О жизни и сочиненіяхъ В. А. Жуковского, стр. 52.

своему вкусу, Жуковский заказалъ для себя. Она относилась къ слѣдующей строфѣ:

. Не вдали
 Могильный видѣнь камень;
 Крестъ наклонился до земли,
 И легкій, блѣдный пламень,
 Какъ свѣча, теплится надъ нимъ;
 И воронъ, птица ночи,
 На немъ, какъ призракъ, недвижимъ,
 Сидитъ, унылы очи
 Вперивъ на мѣсяцъ. Вдругъ, крыломъ
 Взмахнувъ, онъ пробудился,
 Взвился... и на небѣ пустомъ
 Трикраты еривнувъ, скрылся.

Но пора возвратиться къ 1817 году.

V.

Жуковскому никогда не приходила мысль связать себя съ императорскимъ дворомъ другими узами, кромѣ узъ благодарности и преданности; но судьба устроила иначе. Подъ конецъ 1817 года онъ былъ избранъ учителемъ русскаго языка при великой княгинѣ Александрѣ Теодоровнѣ и съ тѣхъ поръ вступилъ, какъ близкій человѣкъ, въ кругъ царскаго семейства, къ которому привязался всею силою любящей своей души, и которое осчастливило его на всю жизнь чрезвычайными милостями. Всѣ его планы переселенія въ Дерптъ или въ Долбино были отодвинуты въ дальнее будущее. Въ январѣ 1818 года, онъ отправился въ Петербургъ.

И. И. Дмитріевъ, въ одномъ письмѣ къ А. И. Тургеневу ¹⁾ 818 года, радуется, что Жуковский кончилъ «грамматическія таблицы» и возвращается «въ свое отечество». «Кажется,—пишетъ онъ,—поэтъ мало по малу превращается въ придворнаго; кажется, новость въ знакомствахъ, въ образѣ жизни начинаетъ прельщать его». Дмитріевъ ошибся. Жуковский не сдѣлался

¹⁾ „Русскій Архивъ“ 1867 года, ст. 1091 — 1092.

придворнымъ въ дурномъ смыслѣ этого слова, но сохранилъ свою высокую нравственность, свое прямоту и благородство. Онъ остался вѣрнымъ другомъ для старыхъ и новыхъ друзей; вліяніями новыхъ знакомствъ пользовался онъ не для своихъ выгодъ, но чтобы помочь бѣднымъ, дать дорогу молодымъ талантамъ, распространять вкусъ къ изящному и къ наукамъ. Можно составить немалый списокъ лицъ, которымъ онъ оказывалъ важныя услуги словомъ и дѣломъ ¹⁾.

Прощаясь съ дерптскими друзьями, Жуковскій перевелъ двѣ пѣсни Гёте: «Утѣшеніе въ слезахъ» и «Къ мѣсяцу» (II, 44 и 45). Въ послѣдней онъ примѣнялъ слова подлинника къ собственному состоянію души такъ:

Лейся, мой ручей, стремись!
 Жизнь ужъ отцвѣла;
 Такъ надежды пронеслись,
 Такъ любовь ушла!
 Ахъ, то было и моимъ,
 Чѣмъ такъ сладко жить!
 То, чего, разставшись съ нимъ,
 Вѣчно не забыть!
 Лейся, лейся, мой ручей,
 И журчанье струй
 Съ одинокою моею
 Лирой согласуй!

Императоръ Александръ желалъ провести зиму 1817—18 года въ Москвѣ, чтобъ изъ возобновленнаго Кремля возвѣстить жителямъ первопрестольной столицы разрѣшеніе отъ бремени супруги в. к. Николая Павловича. Жуковскій, вступивъ въ свою новую должность, находился въ свитѣ великой княгини Александры Федоровны. Онъ бродилъ съ своимъ другомъ Блудо-

¹⁾ Такъ, благодаря усиліямъ Жуковского, былъ освобожденъ изъ крѣпостной зависимости поэтъ Шевченко, который до конца сохранилъ къ Жуковскому горячую признательность и не за одно освобожденіе, но и за вниманіе къ нему и старанія развить молодой талантъ. (См. Біограф. Шевч., Чалаго. Кіевъ, 1882 года). Напоминаемъ также его ходатайства, и иногда удачныя, о декабристахъ.

вымъ по Москвѣ, представлявшей еще на многихъ улицахъ обгорѣлые дома и развалины. Въ такъ-называемомъ маломъ велико-княжескомъ дворѣ господствовала простота и задушевная непринужденность. Александръ Павловичъ окружалъ молодую чету самыми пріятными для нихъ людьми. Братъ великой княгини, принцъ Фридрихъ-Вильгельмъ, провелъ нѣсколько мѣсяцевъ при русскомъ дворѣ и извѣстною своею любезностью и необыкновеннымъ умомъ оживлялъ придворное общество. При такихъ счастливыхъ условіяхъ Жуковскій вскорѣ почувствовалъ себя при дворѣ, какъ въ родной семьѣ. Когда 17 апрѣля пушки возвѣстили съ Кремля о рожденіи великаго князя, впоследствии Императора Александра II, Жуковскій посвятилъ Августѣйшей матери посланіе, въ которомъ предрекъ славу будущему своему воспитаннику.

Да! Онъ рожденъ въ великомъ градѣ славы,
 На высотѣ воскресшаго Кремля;
 Здѣсь возмужае орелъ нашъ двоеглавый;
 Кругомъ его и небо, и земля,
 Питавшія Россію съ колыбели;
 Здѣсь жизнь отцовъ великая была;
 Здѣсь битвы ихъ за честь и Русь кипѣли.
 И здѣсь ихъ прахъ могила приняла—
 Обманетъ ли сіе знаменованье?...

Затѣмъ, обращаясь къ младенцу—поэтъ продолжаетъ:

Да встрѣтитъ онъ обильный честию вѣкъ!
 Да славнаго участникъ славный будетъ!
 Да на чредѣ высокой не забудетъ
 Святѣйшаго изъ званій: *человѣкъ*.
 Жить для вѣковъ въ величіи народномъ
 Для блага *всѣхъ*—свое позабывать,
 Лишь въ голосѣ отечества свободномъ
 Съ смиреніемъ дѣла свои читать. ¹⁾

Новая жизнь стала Жуковскому по сердцу; онъ не только нашель себѣ дѣятельность, соотвѣтствовавшую его вкусамъ, да-

¹⁾ Соч. II, 54: „Государяниѣ в. кн. Александрѣ Федоровѣ на рожденіе в. кн. Александра Николаевича посланіе“.

вавшую ему довольно времени предаваться и поэтическому творчеству, но нашель еще и то, чего тщетно искаль въ семьѣ Екатерины Аванасьевны Протасовой—искренность, какъ то казалось ему, семейнаго круга, теплое расположеніе къ себѣ. Немного позднѣе, посылая къ роднымъ найденный въ полѣ «Цвѣтъ завѣта», онъ писалъ къ нимъ:

Изъ сѣверной, любовію избранной
И Промыслѣмъ указанной страны
Къ вамъ нынѣ шлю мой даръ обѣтованный;
Да скажетъ онъ друзьямъ моеи весны,
Что выпалъ мнѣ на часть удѣлъ желанный,
Что младости мечты совершены,
Что не вотще довѣренность къ надеждѣ,
И что *теперь* плѣнительно, какъ *прежде* ¹⁾.

Поэтъ такъ увлекся, такъ сроднился съ великокняжескою семьей, что въ новорожденномъ великомъ князѣ видѣль «новаго товарища» въ союзѣ родныхъ:

. Въ нашъ союзъ прекрасной
Еще одинъ товарищъ приведенъ...
На путь земной изъ люльки безопасной
Намъ подаетъ младую руку онъ... ²⁾.

Такъ, другъ нашъ приняль свою учительскую должность не какъ слуга, оплачиваемый за свои труды, а какъ поэтъ, который съ полною любовью беретъ за свой священный подвигъ. И встрѣтилъ онъ, правду сказать, въ своей высокой ученицѣ такую же поэтическую и романтическую душу. Задача Жуковскаго не могла состоять единственно въ томъ, чтобы познакомиться великую княгиню съ грамматическими формами русскаго языка (онъ сочинилъ именно для нея русскую грамматику, напечатанную на французскомъ языкѣ только въ десяти экзем-

¹⁾ Т.-е. *настоящее* плѣнительно какъ *прошедшее*, давнишнія мечты (Соч., т. II, 114).

²⁾ Соч. т. II, стр. 116.

плярахъ); ему надлежало открыть передъ своею ученицей въ языкѣ и въ литературѣ новой ея отчизны такія же сокровища и красоты, какія она находила въ своемъ родномъ языкѣ. Она такъ же, какъ все юное поколѣнiе въ Германiи, послѣ освобожденiя отъ французскаго ига, восторженно любила стихотворенiя отечественныхъ поэтовъ и родной языкъ. Никто лучше Жуковскаго не могъ служить посредникомъ между нѣмецкою словесностью и русскимъ дворомъ. Присутствiе славнаго русскаго поэта при дворѣ не мало содѣйствовало тому, что въ высшемъ обществѣ стали болѣе, чѣмъ прежде, заниматься русскою литературою и говорить на отечественномъ языкѣ. Блудову поручено было переложить на русскiй языкъ всѣ дипломатическiе документы съ 1814 года, писанные по-французски, и онъ долженъ былъ, съ помощiю Карамзина и Жуковскаго, создать для того новый языкъ или, по крайней мѣрѣ, найти въ русскомъ языкѣ соотвѣтственныя выраженiя. Переводъ славянской библiи на современный языкъ былъ принятъ съ большою благодарностью въ образованномъ обществѣ. По желанiю своей ученицы Жуковскiй переводилъ многiя стихотворенiя Шиллера, Гёте, Уланда, Гебеля на русскiй языкъ. Этому обстоятельству русская словесность обязана цѣлымъ рядомъ прекрасныхъ балладъ, которыя и были напечатаны сперва маленькими тетрадями на двухъ языкахъ съ надписью на оберткѣ: «Для немногихъ». Впослѣдствiи онѣ вошли въ разныя изданiя стихотворенiй Жуковскаго. Читая эти произведенiя, чувствуешь, что они родились и вылились изъ души поэта, какъ будто среди прiятной бесѣды, въ присутствiи симпатичныхъ людей—которые согрѣли его душу и, кажется, опять пробудили струны, звѣнѣвшiя въ ней въ пору надежды, когда выливались долбинскiя стихотворенiя и сиялъ надъ нимъ образъ Маши, даря надеждой и восторгомъ счастливой любви.

На мгновенiе внутреннiй мракъ души словно оживился—словно пролетѣлъ надъ нимъ знакомый генiй, и вотъ въ пещѣ къ этому мимо пролетѣвшему генiю поэтъ говорить:

Скажи, кто ты плѣнитель безымянный?
 Съ какихъ небесъ примчался ты ко мнѣ?
 Зачѣмъ опять влечешь къ обѣтованной,
 Давно, давно покинутой странѣ?

И далѣе:

О, гевій мой, побудь еще со мною;
 Бывалый другъ, отлетомъ не спиши;
 Останься, будь мнѣ жизнію земною,
 Будь ангеломъ хранителемъ души ¹⁾).

Въ ближайшей за этою пьесой: «Жизнь — видѣніе во снѣ», Жуковский еще яснѣе выражаетъ исторію души своей въ эту эпоху:

Отуманеннымъ потокомъ
 Жизнь унылая плыла;
 Берегъ въ сумракѣ глубокомъ;
 На холодномъ небѣ мгла...

.
 Было время—былъ день ясный,
 Были пышны берега,
 Были рощи сладкогласны,
 Были зелены дуга.
 И за ней виднись толпою
 Свѣтлокрылые друзья:
 Юность легкая съ мечтою
 И живыхъ надеждъ семья.

Потомъ:

Все пропало, измѣнило
 Разлетѣлися друзья...

—и плыветъ уныло одинокая ладья поэта. Но вотъ:

Ангеломъ прекраснымъ
 Кто-то свѣтлый пролетѣлъ,
 Улыбнулся взоромъ яснымъ...
 Жизнь очнулась, ожила...
 Мигомъ мрачность разлетѣлась,
 Снова зеркальна вода,

¹⁾ Соч., II, 79.

И привѣтно загорѣлась
Въ небѣ яркая звѣзда.

Въ душу поэта проникла радость—

Прежней вѣры тишина,
И какъ будто снова младость
Съ упованьемъ отдана ¹⁾.

Въ 1818 году, весною Василий Андреевичъ съѣздивъ къ роднымъ въ Бѣлевъ и на возвратномъ пути въ Москвѣ засталъ Батюшкова, которому и выхлопоталъ мѣсто при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ ²⁾.

Въ томъ же году Россійская академія избрала Жуковского въ число своихъ членовъ. Въ слѣдующіе два года, онъ не написалъ ничего особенно замѣчательнаго, кромѣ стиховъ по случаю кончины королевы Виртембергской, стихотвореній: «Праматерь внукѣ» и «Подробный отчетъ о лунѣ» ³⁾, который въ полномъ собраніи сочиненій по ошибкѣ отнесенъ къ 1822 году, между тѣмъ какъ поэтъ уже 18-го іюля 1820 года въ Павловскѣ представлялъ это стихотвореніе императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ. Прекрасная лунная ночь въ Павловскѣ подала поводъ написать это посланіе. Императрица замѣтила Жуковскому красоту этой ночи, и онъ, исчисливъ разныя прежде имъ сдѣланныя описанія луны, признается теперь, что никогда луна не была столь прелестна, какъ въ ту ночь, когда, освѣщая Павловскія рощи и воды, она подала поводъ къ замѣчанію государыни. Такимъ образомъ, составилъ цѣлый прелестный сборникъ, такъ-сказать, «лунныхъ мечтаній» Жуковского.

Въ заключеніе, поэтъ вдается въ мечты о прошедшемъ, о будущемъ, о здѣшней жизни, и о жизни «тамъ», откуда отошедшіе изъ здѣшняго міра друзья—

¹⁾ Соч., II, 80.

²⁾ Р. Арх., 1867 г., изд. 1-е, стр. 1508 и слѣд.

³⁾ Жуковский по ошибкѣ отнесъ ихъ къ 1818 году; они писаны въ 1819 г.—Эту ошибку, указанную нами, исправилъ г. Ефремовъ и отнесъ стихотвореніе къ 1820 году (см. Соч. II, стр. 119 и 495).

Подъ-часъ утѣхой неземной
 На сердце наше налетаютъ
 И сердцу тихо возвращаютъ
 Надежду, вѣру и покой!

Тяжелая болѣзнь великой княгини Александры Ѳеодоровны, лѣтомъ 1820 года, прекратила занятія ея по русскому языку. Врачи посовѣтовали ея высочеству отправиться для возстановленія здоровья на зиму въ чужіе края, куда и Жуковскому суждено было сопровождать великую княгиню. Онъ усердно приготавлился къ этому путешествію и упражнялся въ снятіи видовъ Павловска, изъ которыхъ иные, съ помощью артиста, Клары, даже гравироваль на мѣди. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ онъ поѣхалъ въ Дерптъ и оттуда черезъ Ригу въ Берлинъ. Въ Бѣлевѣ Авдотѣ Петровнѣ Елагиной онъ писалъ изъ Дерпта, 2-го октября 1820 года:

„Порадуйтесь за меня и благословите меня дружескою рукою. Наконецъ, нѣкоторыя желанія сбываются: увижу прекрасныя стороны, въ которыя иногда бѣгало воображеніе; но признаюсь, не думаю увидѣть ихъ въ томъ очарованіи, какое дала бы мнѣ первая молодость, товарищъ еще не образумившейся надежды. Жизнь измѣнилась, и все, что теперь ни увидишь, представится ограниченнымъ въ тѣсномъ кругѣ. Но все путешествіе оживитъ и расширитъ душу. Надѣюсь, что оно пробудитъ и давно заснувшую поэзію. Вотъ вамъ мой маршрутъ: теперь ѣду прямо въ Берлинъ, гдѣ пробуду до начала марта. Это не лучшая часть моего вояжа; буду видѣть прусскій дворъ—тутъ нѣтъ поэзіи,—но буду видѣть Шиллеровы и Гётевы трагедіи, буду слышать лучшую музыку—это поэзія. Въ мартѣ черезъ Лейпцигъ въ Дрезденъ. Въ Дрезденѣ пробуду двѣ недѣли, чтобы насладиться самимъ городомъ, въ которомъ много любопытнаго, чтобы любоваться галереєю и послушать еще музыку. Изъ Дрездена черезъ Веймаръ (Гёте) въ Кассель, изъ Касселя во Франкфуртъ-на-Майнѣ и въ Майнцъ. Это все по почтѣ, но изъ Майнца до Кобленца водою по Рейну, посреди очаровательныхъ береговъ, усыпанныхъ древними рыцарскими замками. Изъ Кобленца опять во Франкфуртъ уже лѣвымъ берегомъ Рейна. Потомъ Страсбургъ съ своимъ готическимъ мюнстеромъ, Базель, Шафгаузенъ съ рейнскимъ водопадомъ, Цюрихъ съ своимъ удивительнымъ озеромъ и видомъ на высокіе Альпы, Мюнхенъ, Ульмъ, Аугсбургъ съ готическими зданіями, Зальцбургъ съ чудесными тирольскими горами, Линцъ, изъ котораго Дунаемъ до Вѣны. Въ Вѣнѣ театръ и древности. Прага—Riesengebirge, Breslau, Sächsische Schweiz, Dresden, Berlin, Petersburg;—вотъ вамъ croquis моего воздушнаго замка.

Сбудется или нѣтъ, не знаю. Пока радуюсь надеждою. Думаю, что это путешествіе будетъ и физически, и нравственно полезнымъ: можетъ быть, вялость душевная поубавится, я опять освѣжусь и примусь за свою поэзію. Последнимъ моимъ къ вамъ словомъ пусть будетъ благодарность за ваше прелестное письмо; въ немъ *Вы* во всемъ прежнемъ—*c'est tout dire*. Простите, мое милое сокровище! Этимъ именемъ васъ назвать можно. *Вы какъ золото, неизмѣняемое и всегда одинаково яркое!*"

VI.

Это путешествіе освѣжило душу поэта и имѣло богатые послѣдствія для русской литературы. Въ Берлинѣ онъ не только лично познакомился со многими образованными и учеными людьми, но и убѣдился въ томъ, что при прусскомъ дворѣ, несмотря на государственныя занятія, музамъ было отведено почетное мѣсто. Всего пріятнѣе было Жуковскому, что онъ еще короче познакомился съ наслѣднымъ принцемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ, котораго уже зналъ въ Москвѣ. Высокія нравственныя правила и поэтическое настроеніе духа этого любимого брата великой княгини чрезвычайно плѣняли Жуковскаго. Отличная опера въ Берлинѣ подъ управленіемъ Спонтини, изящныя представленія трагедій и драмъ на театрѣ восхищали нашего поэта. Онъ тотчасъ же принялся переводить «Орлеанскую Дѣву» Шиллера, которую и успѣлъ окончить во время путешествія и на обратномъ пути въ Берлинѣ. Въ то время при прусскомъ дворѣ вообще господствовали радость и веселость; самъ король, обыкновенно неразговорчивый и серьезный, видя у себя въ гостяхъ любимую свою дочь съ супругомъ ея, столь счастливою, сдѣлался ласковъ въ обращеніи со всеми окружающими. Устроенъ былъ для дорогихъ гостей великолѣпный праздникъ, на которомъ представленъ былъ рядъ живыхъ картинъ на сюжетъ поэмы Томаса Мура: «Лалла-Рукъ»; въ этихъ картинахъ великая княгиня, въ цвѣтѣ юной красоты, сама изображала Лалла-Рукъ. Вялость и мрачность Жуковскаго миновались, и послѣ представленія живыхъ картинъ поэзія явилась ему въ видѣ Лалла-Рукъ:

Какъ свѣжей утренней порою
Въ жемчугъ утреннемъ цвѣты,
Она плѣняла красотою,
Своей не зная красоты, и пр. ¹⁾.

Въ другой пьесѣ Жуковскій изображаетъ Лалла-Рукъ, какъ онъ видѣлъ ее на сценѣ:

И блистая, и плѣняя,
Словно ангелъ неземной,
Непорочность молодая
Появилась предо мной, и пр. ²⁾.

Эти стихи Жуковскій послалъ въ Дерптъ, но не помѣстилъ ихъ въ третье изданіе своихъ сочиненій 1824 года. Въ Берлинѣ же онъ успѣлъ переложить на русскій языкъ повѣсть Томаса Мура: «Пери и Ангелъ».

Съ Авдотьей Петровной Елагиной онъ велъ дѣятельную переписку, живо интересуясь воспитаніемъ дѣтей ея.

Въ началѣ апрѣля 1821 года, Жуковскій пустился странствовать по Европѣ. Хотя онъ обѣщалъ друзьямъ подробное печатное описаніе путешествія, но кромѣ отрывковъ изъ писемъ, посланныхъ къ роднымъ, мы ничего не имѣемъ въ печати объ этихъ странствованіяхъ. Онъ рисовалъ съ природы, особенно въ Швейцаріи, виды, которые самъ послѣ выгравировалъ на мѣди; но описанія къ нимъ не успѣлъ сдѣлать. И въ самомъ дѣлѣ, во время путешествія ему некогда было этимъ заняться. Столько новыхъ впечатлѣній наполняли его душу, что онъ едва былъ въ состояніи одуматься. Онъ надѣялся въ будущемъ времени повторить это путешествіе, которое казалось ему теперь только рекогносцировкой. Но подчасъ меланхолическая хандра проникала въ его душу; такъ, напримѣръ, при видѣ заходящаго солнца съ Брюлевой террасы въ Дрезденѣ, онъ горевалъ, что «голова и сердце пусты», оттого, что рѣка Эльба напомнила ему Оку при Бѣлевѣ, и что Пильницкое шоссе казалось похо-

¹⁾ Соч., II, стр. 328.

²⁾ Тамъ же, стр. 325.

жимъ на почтовую дорогу въ Москву, словомъ, оттого, что онъ находился за-границей, а не на родинѣ:

И много милыхъ тѣней встало!

Въ Дрезденѣ Жуковскій познакомился съ извѣстнымъ писателемъ Тикомъ и живописцемъ Фридрихомъ. Объ этихъ любопытныхъ знакомствахъ нашъ поэтъ часто писалъ къ своимъ друзьямъ:

„Фридриха нашель я точно такимъ, какимъ воображеніе представляло мнѣ его, и мы съ нимъ въ самую первую минуту весьма коротко познакомились. Въ немъ нѣтъ, да я и не думалъ найти въ немъ ничего идеальнаго. Лице Фридриха не поразить никого, кто съ нимъ-встрѣтится въ толпѣ. Это сухощавый, средняго роста человекъ, блѣлокурый, съ бѣлыми бровями, нависшими на глаза. Отличительная черта его фizioноміи есть простодушіе. Таковъ онъ и характеромъ; простодушіе чувствительно во всѣхъ его словахъ; онъ говоритъ безъ краснорѣчія, но съ живостью непритворнаго чувства, особливо, когда коснется до любимаго его предмета, до природы, съ которою онъ какъ семьянинъ; но о ней говоритъ точно такъ, какъ ее изображаетъ, безъ мечтательности, но съ оригинальностью. Въ его картинахъ нѣтъ ничего мечтательнаго; напротивъ, онъ привлекателенъ своею вѣрностью; каждая возбуждаетъ въ душѣ воспоминаніе. Если находишь въ нихъ болѣе того, что видятъ глаза, то лишь отъ того, что живописецъ смотрѣлъ на природу не какъ артистъ, который ищетъ въ ней только образца для кисти, а какъ человекъ, который въ природѣ видитъ безпрестанно символъ человѣческой жизни. Красоты природы плѣняютъ насъ не тѣмъ, что онѣ даютъ нашимъ чувствамъ, но тѣмъ невидимымъ, что возбуждаютъ въ душѣ, и что ей темно напоминаетъ о жизни и о томъ, что далѣе жизни. Фридрихъ пренебрегаетъ правилами искусства; онъ пишетъ свои картины не для глазъ знатока въ живописи, а для души, знакомой такъ же, какъ и онъ, съ его образомъ, съ природою; критики могутъ быть имъ недовольны, но чувство, лучшій изъ критиковъ, простое, не предубѣжденное чувство всегда съ его стороны. Онъ также точно судитъ и о чужихъ картинахъ; во многихъ находилъ такіе красоты или недостатки, которые только одной душѣ, утвердившей наизусть природу, могутъ быть примѣтны. Ему задана задача—написать природу съвера, во всей красотѣ ея ужасовъ. Онъ еще самъ не знаетъ, что напишетъ. Онъ ждетъ минуты вдохновенія, и это вдохновеніе, какъ онъ мнѣ самъ рассказывалъ, часто приходитъ къ нему во снѣ—вдругъ какъ будто кто-то разбудить; онъ вскопчить, отворяетъ глаза, и что душѣ надобно, стоитъ передъ глазами, какъ привидѣніе; тогда скорѣй за карандашъ и рисуй!“

Фридрихъ такъ понравился Жуковскому, что поэтъ предложилъ ему ѣхать съ нимъ въ Швейцарію. Но Фридрихъ отказался. Вотъ какъ Жуковскій передаетъ отказъ: «Тотъ Я, который вамъ нравится, съ вами не будетъ. Мнѣ надобно быть совершенно одному и знать, что я одинъ, чтобы видѣть и чувствовать природу вполнѣ. Ничто не должно быть между ею и мною; я долженъ отдаться тому, что меня окружаетъ, долженъ слиться съ моими облаками, утесами, чтобы быть тѣмъ, что я есмь! Будь со мною самый ближайшій другъ мой — онъ меня уничтожить! И бывши съ вами, я не буду годиться ни для себя, ни для васъ».

У Тика всѣ приняли Жуковскаго съ сердечнымъ вниманіемъ; онъ былъ на дачѣ у Тика, какъ дома, какъ съ давнишними знакомцами. Въ Тикѣ онъ нашелъ любезное, искреннее добродушіе. «Въ лицѣ его, — говорилъ Жуковскій, — нѣтъ ничего разительнаго, но во всѣхъ чертахъ пріятное согласіе; видѣнъ чело-вѣкъ, который мыслить, но котораго мысли принадлежать болѣе его воображенію, нежели сущности». Въ первое свиданіе Жуковскій немного поспорилъ съ хозяиномъ по поводу Шекспирова «Гамлета», который казался нашему поэту непонятнымъ чудовищемъ, и въ которомъ, казалось ему, Тикъ и Шлегель находятъ болѣе собственное богатство мыслей и воображенія, нежели Шекспирова. «Но въ томъ-то и привилегія гения» — сказалъ ему Тикъ — «что, не мысля и не назначая себѣ дороги, по одному естественному стремленію, вдругъ онъ доходитъ до того, что другіе открываютъ глубокимъ размышленіемъ, идя по его слѣдамъ; чувство, которому онъ повинуется, есть темное, но вѣрное; онъ вдругъ взлетаетъ на высоту, и стоя на этой высотѣ, служить для другихъ свѣтлымъ маякомъ, которымъ они руководствуются на невѣрной своей дорогѣ». Тикъ читалъ Жуковскому «Макбета» съ большимъ искусствомъ, особенно мѣста ужасныя. Жуковскій сравнивалъ чтеніе его съ чтеніемъ Плещеева и нашелъ, что въ выраженіи чувства Тикъ уступалъ русскому чтецу, и что лицомъ Тикъ вообще не такъ владѣетъ, «какъ нашъ смуглый декламаторъ». Тикъ прочиталъ

еще Шекспирову комедию: «Какъ вамъ угодно», и Жуковский напелъ, что онъ лучше читаетъ комическія піесы, нежели трагическія. «Но Плещеевъ,—писалъ Жуковский,—кажется мнѣ забавнѣе, можетъ быть, и потому, что комическое французовъ ему болѣе знакомо, нежели Шекспирово. Французы прекрасно изображаютъ странное, смѣшать противоположностями, остротой или забавностію выражений; Шекспиръ смѣшить рѣзкимъ изображеніемъ характеровъ, но въ шуткахъ его нѣтъ тонкости, по большей части одна игра словъ; они часто грубы и часто оскорбляютъ вкусъ. Сверхъ того, Тикъ, какъ мнѣ кажется, дошелъ до смѣшного искусствомъ: его характеръ болѣе важный, нежели веселый».

Въ Дрезденскую картинную галерею Жуковский вступилъ съ чувствомъ благоговѣнія; въ особенности съ трепетомъ ожиданія подходилъ онъ къ Рафаэлевой Мадоннѣ. Но первое чувство, которое онъ испыталъ при входѣ въ галерею, было непріятное; его поразило, какъ небрежно сохраняются драгоценныя сокровища живописи. Тогдашняя Дрезденская галерея похожа была на огромный, довольно темный сарай, стѣны котораго были увѣшаны почернѣлыми картинами въ худыхъ рамахъ. Потомъ, посѣщая много разъ галерею, Жуковский мало-по-малу свыкъся съ этою обстановкой. Изъ короткихъ его сужденій мы приводимъ только то, что онъ писалъ о картинѣ Карла Дольче: «Спаситель съ чашею». Эта картина почитается вообще превосходною; но Жуковского болѣе поразило колоритъ ея, чѣмъ исполненіе нравственной задачи произведенія.

„Стоя передъ нею,—говоритъ онъ (т. XIII, стр. 142),—по предубѣжденію, я хотѣлъ себя увѣрить, что въ лицѣ Спасителя, благословляющаго таинственную чашу, точно есть то, чему въ немъ быть должно въ эту минуту; но темное чувство мнѣ противорѣчило; наконецъ, Фридрихъ рѣшилъ сомнѣніе однимъ словомъ: „Это не лице Спасителя, приносящаго себя на жертву, а холоднаго лицемеръ, хотящаго дать лицу своему чувство, котораго нѣтъ въ его сердцѣ“. И это совершенно справедливо. Здѣсь одно искусство безъ души!“

Другая картина, въ которой нѣтъ ни рисунка, ни колорита, писанная Гранди, понравилась Жуковскому и показалась ему

исполненною выраженію; но, кажется,—предметъ ея былъ ему просто болѣе симпатиченъ, чѣмъ у Карла Дольче:

„Это Христось, несущій крестъ, вмѣстѣ съ разбойниками, окруженный толпою зрителей и стражей, и въ толпѣ Богоматерь. Разбойниковъ гонять, и одинъ отбивается съ отчаяніемъ. Спаситель утомленъ; Богоматерь обезсилена горестью, ее несутъ почти на рукахъ, и вотъ самая трогательная черта: подлѣ Богоматери стоитъ женщина, съ младенцемъ на рукахъ; но эта женщина, будучи матерью сама, чувствуетъ страданіе другой матери и цѣлуетъ тайкомъ ея руку, чтобы облегчить для себя чувство состраданія“.

Мнѣніе Жуковскаго о Рафаэлевой Мадоннѣ давно извѣстно въ русской литературѣ, равно какъ и описаніе видовъ Саксонской и настоящей Швейцаріи; это описаніе не пространно, но Жуковскій не могъ включать подробности въ свои письма, и хорошо сдѣлалъ, ибо подлѣ впечатлѣніемъ чудесной природы, онъ написалъ и подарилъ русской словесности «Шильонскаго узника» Байрона и значительную часть «Орлеанской дѣвы» Шиллера; кромѣ того, онъ приготовился къ переводу «Вильгельма Телля».

Возвратясь изъ путешествія по Швейцаріи въ Берлинъ, онъ получилъ позволеніе остаться тамъ до января 1822 года. Здѣсь онъ окончилъ «Орлеанскую дѣву». Онъ былъ доволенъ своею работою, но жалѣлъ, что не могъ прочесть ее Долбинскому своему ареопагу. Проѣзжая черезъ Дерптъ, онъ восхищалъ здѣсь родныхъ чтеніемъ нѣкоторыхъ отрывковъ своей драмы; въ Петербургѣ «ценсура,—пишетъ онъ въ Долбино,—поступила съ нею великодушно, quant à l'impression, и неумолимо, quant à la representation! Все къ лучшему: здѣшніе актеры уладили-бъ ее не хуже ценсуры!»

VII

Вскорѣ по возвращеніи въ Петербургъ Жуковскій задумалъ отпустить на волю крѣпостныхъ людей, которые нѣкогда были куплены на его имя книгопродавцемъ И. В. Поповымъ.

„Я не отвѣчалъ еще Попову,—пишетъ онъ въ іюлѣ 1822 года къ Авдотѣ Петровнѣ:—думаю, что онъ на меня сердится, и подѣломъ! Онъ даже

могь вообразить, что я хочу удержать его людей за собою. Это, съ одной стороны, и правда! Я желаю купить ихъ и дать имъ волю. Другимъ нечѣмъ мнѣ поправить сдѣланной глупости. Прежде, можетъ-быть, я и согласился бы ихъ продать, теперь же ни за что не соглашусь. Итакъ, милая, узнайте, какую цѣну онъ за нихъ полагаетъ. Заплатить же за нихъ ему не могу иначе, какъ уступивъ часть изъ тѣхъ денегъ, которыя вы мнѣ должны; въ такомъ случаѣ, вамъ должно будетъ дать ему вексель, вычтя изъ моей суммы то, что будетъ слѣдовать. Прошу васъ все это съ нимъ сладить, и какъ скоро кончите, то пускай онъ моимъ именемъ дастъ этимъ людямъ отпускную, или если нельзя этого сдѣлать въ Москвѣ безъ меня, то пускай пришлетъ сюда образецъ той бумаги, которую мнѣ надобно написать и подписать. Я все здѣсь исполню. Прошу васъ поспѣшить нѣсколько исполненіемъ этой просьбы. Дѣло лежитъ у меня на душѣ, и я виню себя очень, что давно его не кончилъ. Приложенное письмо отдайте Попову¹⁾.

Заплативъ Попову 2,400 руб., Жуковскій и другому крѣпостному семейству хотѣлъ дать свободу.

„Я желаю,—писалъ онъ,—дать такую же отпускную моему бѣлевскому Максиму и его дѣтямъ. Прилагаю здѣсь записки объ ихъ семействѣ; но для этого надобно мнѣ имѣть купчую, данную мнѣ на отца Максимова тетушкой Авдотьей Аванасьевною²⁾. Эта купчая мною потеряна; а совершенна она была въ Москвѣ въ 1799 или 1800, или въ 1801. Прошу любезнаго Алексѣя Андреевича взять на себя трудъ—достать мнѣ изъ гражданской палаты копію сей купчей за скрѣпкою присутствующихъ, дабы я могъ здѣсь написать отпускную. Да нельзя-ль уже и форму отпускной прислать, на всѣхъ вмѣстѣ, дабы мнѣ здѣсь никакихъ хлопотъ по этому не было; въ противномъ случаѣ, опять отложу въ длинный ящикъ, и мой несчастный Максимъ будетъ принужденъ влачить оковы эсклава. Похлопочите объ этомъ, душа! А въ заплату за этотъ трудъ посылаю вамъ экземпляръ своего новаго сочиненія, не стихотворнаго и даже не литературнаго, вѣтъ,—*Виды Павловска*, мною срисованные съ натуры и мною же выгравированные à l'eau forte. Этотъ талантъ дала мнѣ Швейцарія. Въ этомъ родѣ есть у меня около осьмидесяти видовъ швейцарскихъ, которые также выгравирую и издамъ вмѣстѣ съ описаніемъ путешествія, если только опишу его“.

Въ другомъ письмѣ Жуковскій сердечно благодарить А. П. Елагину за исполненіе его порученій. «Очень радъ, что мои эсклавы получили волю!» Въ томъ же письмѣ онъ извѣщаетъ,

¹⁾ Въ „Русскомъ Архивѣ“ 1865 года, стр. 319 и слѣд., это дѣло ошибочно отнесено къ 1835 году.

²⁾ Буниню.

что не могъ цѣликомъ освободить изъ оковъ цензуры переводъ извѣстныхъ стиховъ Шиллера: «Die drei Worte des Glaubens» (Три слова вѣры); а безъ второй строфы—

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,
Und wäre er in Ketten geboren ¹⁾.

—онъ не хотѣлъ печатать ихъ. Вотъ поступки, которые заслужили ему въ ту пору въ высшихъ кругахъ общества названіе страшнаго либерала, якобинца!

VIII.

Съ 1820 года, А. О. Воейковъ, оставивъ профессорскую должность въ Дерптѣ, переселился на службу въ Петербургъ. Жуковскій обрадовался прибытію любезной племянницы, Александры Андреевны и, конечно, пріютилъ ее у себя; но вскорѣ послѣ того онъ, какъ мы видѣли, уѣхалъ въ Берлинъ. По возвращеніи изъ чужихъ краевъ, онъ поселился съ семействомъ Воейкова противъ Аничкова дворца на Невскомъ проспектѣ. Лѣто 1822 года провелъ онъ въ Царскомъ-Селѣ вмѣстѣ съ Екатериной Аванасьевною Протасовой, которая пріѣхала изъ Дерпта на время родинъ дочери. Всѣ они были счастливы вмѣстѣ. «Depuis que je suis avec Joukoffsky, nebo разцвѣло,—пишетъ Александра Андреевна Воейкова къ Авдотѣ Петровнѣ,—и Италиі не надо; mais nous vivons à reculons, et à tel point, que souvent des heures entières nous nous rappelons les bons mots du défunt Варлашка—et cela vaut mieux pour tous les deux que la réalité, et surtout l'avenir» ²⁾. Къ этимъ строкамъ Жуковскій прибавилъ нѣсколько словъ отъ себя, посылая при этомъ письмѣ свой портретъ, писанный Гиппиусомъ и изданный въ

¹⁾ „Человѣкъ созданъ свободнымъ и свободенъ—даже если бы родился въ цѣпяхъ!“

²⁾ „Съ тѣхъ поръ, какъ я съ Жуковскимъ, nebo разцвѣло, и Италиі не надо; но мы живемъ прошедшимъ и до такой степени, что часто по цѣлымъ часамъ вспоминаемъ остроты покойника Варлашка, и это для насъ обонхъ лучше, чѣмъ дѣйствительность, и въ особенности будущее!“

сборникъ «Les Contemporains»: «Примите мою рожу. Какъ бы хотѣлось сказать это о самомъ себѣ! Вы, милая, одно изъ самыхъ славныхъ лицъ въ драмѣ моей жизни. Вы были на сценѣ, когда пьеса была интересна, и вы же давали ей интерес: теперь и пьесы уже нѣтъ, осталась одна афиша, которая не нужна при выходѣ изъ театра». Въ другомъ письмѣ къ тому же лицу, отъ 27-го іюля 1822 года, изъ Царскаго-Села, Жуковский развиваётъ ту же мысль:

„Вы—мой милый представитель прекраснаго, лучшаго времени жизни, товарищъ поэзіи и всего добраго. Можетъ-быть, моя муза пробудится. Вамъ давно она не отлыкала. Въ концѣ нынѣшняго года, вѣроятно, вы будете имѣть все то, что она сдѣлала въ послѣднее время. „Іоанна“ кончена въ Берлинѣ: переводъ близкій, и надѣюсь, что вы будете имъ радоваться; но для меня не будетъ радости читать вамъ: вотъ одно изъ очарованій, отнятыхъ для меня у поэзіи! Здѣсь подлѣ меня одна *Сама*; въ ея гармонической душѣ все отзывается для меня по прежнему: но поэзія уже перестала быть *отголоскомъ жизни*! она теперь бываетъ по временамъ однимъ наслажденіемъ: весело творить, это наполняетъ душу, и душа выражается въ томъ, что она производитъ. Но эти прекрасныя минуты раздѣлены пустыми промежутками; прошедшій годъ однако былъ богатъ роскошными, живыми наслажденіями: и еслибъ я болѣе писалъ къ моимъ милымъ, то эти наслажденія были бы полны“.

Екатерина Аванасьевна пробыла въ Петербургѣ послѣ родинѣ дочери ¹⁾ до 6-го октября, потомъ поѣхала въ сопровожденіи Жуковскаго въ Дерптъ. По возвращеніи въ Петербургъ онъ съ восторгомъ пишетъ Авдотѣ Петровнѣ о счастливыхъ дняхъ, проведенныхъ имъ въ семьѣ Мойера:

„Я былъ въ Дерптѣ и радъ тому, что былъ тамъ. Видѣлъ Машу, говорилъ съ нею о ней и доволенъ: *это поэзія*. Мы говорили о нашей утопіи. Она непременно должна стромоздиться, но когда? Будемъ ждать и надѣяться передъ затворенною дверью. Пока то пускай будетъ нашею радостью, что мы всѣ сбережены другъ для друга. Судьба погрѣбла мимо насъ, поколотивъ насъ мимоходомъ, но не разбивъ нашего лучшаго: любви къ добру, уваженія къ жизни и вѣры въ прекрасное. Все остальное—шелуха! А прогосъ прекрасное. Я никогда не говорилъ вамъ о великой княгинѣ: это *прекрасное* въ живомъ образѣ передо мною. Мнѣ вѣрить ему легко, потому

¹⁾ Козловъ написалъ „Стихи на рожденіе Андрея Александровича Воейкова“, напечатанные въ „Славянинѣ“, часть 18, стр. 140.

что я вижу его лицомъ къ лицу: милый хранитель поэзіи! Письма мои, писанныя изъ путешествія къ ней, были писаны и къ вамъ; слѣдовательно, я радъ, что у васъ есть ихъ списовъ. Но именно, что *Она* — Она; и полное созданіе нашей утопіи должно быть отсрочено. Я привязанъ къ своему мѣсту не одними узами выгоды, о которыхъ не такъ-то много забочусь, но узами лучшими: чистаго уваженія, благодарности всему этому и тою поэзіей, которая (несмотря на свѣтъ и его холодную грязь и его душную атмосферу, въ которой я долго бродилъ въ бездѣйствіи) все еще копошится и вспыхиваетъ. Теперь мы вмѣстѣ съ *Сашей*; хотимъ кое-какъ строить спокойное, дѣятельное (если уже нельзя счастливаго) *chez-soi*; хотимъ ставить фонарики, думая и о нашихъ дальнихъ фонарныхъ мастерахъ, которые съ нами за одно работаютъ и зажигаютъ свои свѣчки. Со временемъ будемъ и *вмѣстѣ*. Прошу васъ въ заключеніе сказать мнѣ свои планы для дѣтей; къ вашимъ прибавлю свои. Батенковъ сказывалъ, что вы думаете Ванчку заставить нѣсколько времени поучиться въ Петербургѣ, а потомъ за границу. Нѣтъ, въ Дерптъ, въ Дерптъ! Безъ всякаго сомнѣнія. Тамъ получить главное: любовь къ занятію! Тамъ есть русскіе студенты и—что всего важнѣе—тамъ будетъ надзоръ Маши и Мойера. А за границу—прекрасное дѣло“, и проч.

У Жуковскаго не было опредѣленнаго дня, въ который собиравались бы къ нему друзья, но вообще они посѣщали его часто; благодаря присутствію такой любезной, изящной, остроумной хозяйки дома, какова была Александра Андреевна Воейкова, онъ могъ доставить друзьямъ своимъ и удовольствія занимательной дамской бесѣды. На мѣсто «арзамасскихъ» литературныхъ шалостей установились у него литературныя сходбища при участіи любезныхъ женщинъ. Большая часть старыхъ друзей были женаты; только Жуковскій, А. И. Тургеневъ и Василій Алексѣевичъ Перовскій составили холостой центральный кружокъ, около котораго группировались молодые разцвѣтающіе таланты: поэты, живописцы, дилеттанты музыки. Ихъ поощряла и любезность остроумной Александры Андреевны, и благосклонность добродушнаго Жуковскаго въ сообщеніи своихъ работъ. Многіе посланія, романсы и стихи, посвященные Александрѣ Андреевнѣ Воейковой, читались здѣсь впервые. Слѣпой Козловъ былъ у нихъ принятъ и обласканъ, какъ родной; Батюшковъ, Крыловъ, Блудовъ, Вяземскій, Дашковъ, Карамзинъ, словомъ, весь литературный цвѣтъ столицы охотно

собирался въ гостиной Александры Андреевны, въ которой Жуковский пользовался властію дяди. Сорокалѣтній день рожденія своего (29-ое января 1823 года) онъ праздновалъ, окруженный множествомъ друзей и подругъ. Съ арзамасскимъ юморомъ онъ объявилъ, что теперь поступаетъ въ чинъ дѣйствительныхъ холостяковъ, но шутками старался скрывать предстоящую разлуку съ милою племянницей, которая положила уѣхать съ дѣтьми въ Дерптъ къ матери и сестрѣ для восстановления здоровья, разстроеннаго горестною семейною жизнью. Одно это обстоятельство печалило въ эту пору нашего друга; онъ послалъ въ Дерптъ слѣдующія строки:

Отымаетъ наши радости
 Безъ замѣны хладный свѣтъ,
 Вдохновенье пылкой младости
 Гаснетъ съ чувствомъ жертвой лѣтъ;
 Не одно ланить пыланіе
 Тратимъ съ юностью живой —
 Видимъ сердца увяданіе
 Прежде юности самой ¹⁾.

Эта элегическая «Пѣсня» заслужила ему сильный упрекъ Маріи Андреевны Мойеръ; я знаю это по свидѣтельству ея самой; вотъ какъ она писала мнѣ: «Schreiben Sie mir, ob wir hoffen können, dass *Jouko* kommen wird? Sagen Sie ihm, es würde mich glücklich machen. Ach, der Herrliche! Seine schöne Seele ist eine der grössten Zierden der Welt Gottes. Wenn nur sein letztes Gedicht nicht da wäre! Die Verse sind sogar schlecht. Je mehr ich es lese, desto trauriger werde ich. Lassen Sie ihn diese Schuld durch etwas Schönes abbüssen» ²⁾.

¹⁾ Соч., т. II, стр. 391.

²⁾ „Напишите мнѣ, можемъ ли мы надѣяться, чтобы Жуковский пріѣхалъ. Скажите ему, что это осчастливитъ меня. Что за дивный человекъ! Его прекрасная душа есть одно изъ украшеній міра Божьяго. Зачѣмъ только онъ написалъ свое послѣднее стихотвореніе? Стихи просто дурны. Чѣмъ болѣе я перечитываю ихъ, тѣмъ становлюсь печальнѣе. Заставьте его искупить этотъ грѣхъ чѣмъ-нибудь хорошимъ“.

Но эта «Пѣсня», очевидно, была внушена поэту его главною работою того времени, и монологъ «Орлеанской дѣвы» представляет тотъ же самый размѣръ стиховъ: «Ахъ, почто за мечъ воинственный — я мой посохъ отдала» и т. д. Великолепныя и изящныя представленія на берлинскомъ театрѣ ввели Жуковскаго прямо въ фантастическій міръ чудесныхъ событій, которыя ярко изображены въ драмѣ: «Орлеанская дѣва». Поэтическій сомнамбулизмъ Іоанны былъ ему по сердцу. Зная наизусть почти всю драму, стоило только выразить по-русски Шиллеровы стихи, и переводъ былъ готовъ. Такимъ образомъ, ему удалось освободить свое произведеніе отъ искусственности изложенія, которая чувствуется во всякомъ почти переводѣ. Въ первый разъ въ русской литературѣ появилась большая драма, писанная пятистопными ямбами безъ риемъ ¹⁾. Это, конечно, должно было отчасти облегчить трудъ переводчика; впрочемъ, вездѣ, гдѣ Шиллеръ, въ паеосѣ дѣйствія, употребляетъ риемы, Жуковскій тоже сохраняетъ ихъ. Такъ, напримѣръ, поразительно близко и прекрасно переданъ знаменитый монологъ Іоанны въ концѣ пролога:

Простите вы, холмы, поля родныя!
Пріютно-мирный, ясный доль, прости! и проч.

Еще изящнѣе переложень монологъ въ началѣ IV дѣйствія, въ которомъ съ перемѣною душевныхъ ощущеній прекрасно перемѣняется и сложеніе стиховъ. Мы нашли въ «Орлеанской дѣвѣ» Жуковскаго весьма мало отступленій отъ оригинала. Онъ выбросилъ нѣкоторыя метафоры и упростилъ нѣкоторые разговоры, но эти перемѣны не имѣютъ никакого значенія. Въ двухъ мѣстахъ Жуковскій, кажется, старался смягчить легкомысленный характеръ королевы Изабеллы, пропуская нескромныя ея выраженія о наружности красавца Ліонеля

¹⁾ Всѣ были такъ тогда приучены къ александрійскимъ стихамъ съ риемами, что даже Батюшковъ въ одномъ письмѣ къ А. И. Тургеневу сказалъ: „Переводъ „Іоанны“ мнѣ нравится, какъ переводъ мастерской, живо напоминающій подлинникъ; но размѣръ стиховъ странный, дикій, вялый“.

(дѣйствіе II, явленіе 2) и не допуская ея угрожать Іоаннѣ кинжаломъ (дѣйствіе V, явленіе 11). Но эти выраженія Изабеллы, по мысли Шиллера, должны были приготовить зрителя къ тому, чтобы понять, какъ даже цѣломудренная Іоанна могла быть поражена удивительною красотой Ліонеля.

Кромѣ двухъ мелкихъ стихотвореній Уланда (съ которымъ нашъ поэтъ лично познакомился въ Германіи) Жуковский въ 1822 году перевелъ два отрывка изъ Овидіевыхъ «Превращеній» и изъ «Энеиды» Виргилія гекзаметрами, которые далеко не такъ плавны и не такъ подходятъ къ духу русскаго языка, какъ позднѣйшіе гекзаметры его «Одиссеи». Наконецъ, мы должны обратить вниманіе еще на два или три стихотворенія, написанныя Жуковскимъ въ концѣ 1822 года. Они важны для насъ, какъ послѣдніе памятники его чисто-лирическаго творчества. Одно изъ нихъ: «Мотылекъ и цвѣты», можетъ показаться раздражаніемъ какому-нибудь другому автору; но слова послѣдней строфы часто встрѣчаются въ письмахъ Жуковскаго и прежде 1822 года:

О, милое воспоминаніе
 О томъ, чего ужъ въ мірѣ нѣтъ!
 О, дума сердца—упованіе
 На лучшей, неизмѣнный свѣтъ.
 Блаженъ кто васъ среди губящаго
 Волненія жизни сохранилъ,
 И съ вами низость настоящаго
 И пренебрегъ, и позабылъ.

Другія два: «Привидѣніе» и «Таинственный посѣтитель», оба оригинальны и еще болѣе обличаютъ въ себѣ отголоски сердечныхъ думъ Жуковскаго. Въ первомъ стихотвореніи является передъ нимъ опять — «Она» — его идеаль, его Мама:

Въ тѣни деревъ, при звукѣ струя, въ сѣняхъ
 Вечернихъ гаснущихъ лучей,
 Какъ первыя любви очарованье,
 Какъ прелесть первыхъ юныхъ дней—
 Явилася она передо мною....

.....

Вотще продлить хотѣлось упоенье...
 Не возвратилася она;
 Лишь грустію по миломъ привидѣньѣ
 Душа осталася полна.

Во второмъ—опять она, какъ «святая поэзія».
 Въ концѣ февраля 1823 года, Жуковскій проводилъ Александру Андреевну Воейкову съ дѣтьми въ Дерптъ и пробылъ тамъ двѣ недѣли. Не предчувствовалось тогда бѣдному нашему другу, что эти двѣ недѣли были послѣдніе дни, проведенные имъ вмѣстѣ съ Маріей Андреевною Мойеръ. 10-го марта возвратился онъ въ Петербургъ, а 19-го марта извѣстіе о преждевременной ея смерти въ родахъ потрясло душу Жуковского и погрузило его на многіе годы въ тихую меланхолическую грусть. Нельзя описать словами того, что происходило въ душѣ несчастнаго поэта. Собственныя его слова лучше всего изображаютъ его скорбь при этомъ роковомъ ударѣ. Онъ тотчасъ поѣхалъ въ Дерптъ. Кому отсюда онъ могъ сообщать горестныя свои чувства, какъ не подругъ своей, Авдотѣ Петровнѣ Елагинной? Онъ и писалъ къ ней, 28-го марта:

„Кому могу уступить святое право, милый другъ, милая сестра (и теперь вдвое противъ прежняго), говорить о послѣднихъ минутахъ нашего земнаго ангела, теперь небснаго, вѣчно, безъ измѣненія нашего. Съ тѣхъ поръ, какъ я здѣсь, вы почти безпрестанно въ моей памяти. Съ ея святымъ переселеніемъ въ неизмѣняемость, прошедшее какъ будто ожило и пристало къ сердцу съ новой силой. Она съ нами на все то время, пока здѣсь еще пробудемъ, не видя глазами ея; но знаю, что она съ нами, и болѣе наша—наша спокойная, радостная, товарищъ души, прекрасный, удаленный отъ всякаго страданія! Дуняша, другъ, дайте мнѣ руку во имя Маши, которая для насъ все существуетъ. Не будемъ говорить: ея нѣтъ! C'est un blasphème ¹⁾. Слезы льются, когда мы вмѣстѣ и не видимъ ея между нами; но эти слезы по себѣ. Прошу васъ ея именемъ помнить о насъ. Это должность, это завѣщаніе. Вы были ея лучшей другъ; пусть ея смерть будетъ для насъ тайнствомъ: гдѣ два будутъ во имя мое, съ нимъ буду и я. Вотъ все! Исполнимъ это! Подумайте, что это говорю вамъ я, и дайте мнѣ руку съ прежнею любовью. Я теперь съ ними. Эти дни кажутся вѣкомъ. 10-го числа я съ ними простился, безъ всякаго предчувствія, съ какою-то непонятною безпечностію.

¹⁾ „Это—богохульство“.

Я привезъ къ нимъ Сашу и пробылъ съ ними двѣ недѣли, недѣлю лишнюю противъ даннаго мнѣ срока: должно было уѣхать. Но, Боже мой! я могъ бы остаться еще десять дней: эти дни были послѣдніе здѣшніе дни для Маши! Боюсь останавливаться на этой мысли. Бываютъ предчувствія для того, чтобы мутить душу: для чего же здѣсь не было никакого милосердаго предчувствія! Было поздно, когда я выѣхалъ изъ Дерпта, долго ждалъ лошадей, всѣхъ клонилъ сонъ. Я сказалъ имъ, чтобы разошлись, что я засну самъ. Маша пошла наверхъ съ мужемъ. Сашу я проводилъ до ея дома; услышалъ еще голосъ ея, когда готовъ былъ опять войти въ дверь, услышалъ въ темнотѣ: „прости!“ Возвратясь, проводилъ Машу до ея горницы; они взяли съ меня слово разбудить ихъ въ минуту отъѣзда. И я заснулъ. Черезъ полчаса все готово къ отъѣзду, встаю, подхожу къ ея лѣстницѣ, думаю—идти ли, хотѣлъ даже не идти, но пошелъ. Она спала, но мой приходъ ее разбудилъ; хотѣла встать, но я ее удержалъ. Мы простились; она просила, чтобы я ее перекрестилъ, и спрятала лице въ подушку, и это было послѣднее на этомъ свѣтѣ! И черезъ десять дней я опять на той же дорогѣ, по которой мы вмѣстѣ съ Сашей ѣхали на свиданіе радостное, и съ чѣмъ же я ѣхалъ? Ея могила—нашъ алтарь вѣры, не далеко отъ дороги, и ее первую посѣтилъ я. *Repos divin, mais inconcevable et désesperant. Rien ne change à mon approche; et voilà donc la reception de Marie! Mais vraiment dans le ciel, qui était serein, il y avait quelque chose de vivant* ¹⁾. Я смотрѣлъ на небо другими глазами; это было милое, утѣшительное, Машино небо. Ея могила будетъ для насъ мѣстомъ молитвы. Горе о ней тамъ, гдѣ мы; но на этомъ мѣстѣ одна только мысль о ея чистой, ангельской жизни, о томъ, что она была для насъ живая, и о томъ, что она нынѣ есть для насъ небесная. Послѣдніе дни ея были веселы и счастливы. Но не пережить родинъ своихъ было ей назначено, и ничто не должно было ее спасти. Въ субботу 17-го марта она почувствовала приближеніе рѣшительной минуты. Ребенокъ родился мертвый, мальчикъ. Она потеряла память, пришла черезъ нѣсколько времени въ себя; но силы истощились, и черезъ полчаса все кончилось! Они всѣ сидѣли подлѣ нея, смотрѣли на ангельское спящее помолодѣвшее лице, и никто не смѣлъ четыре часа признаться, что она скончалась. Боже мой, а меня не было! ²⁾. Въ эти минуты была вся жизнь, и я долженъ былъ и видать ея лица, яснаго, милаго, веселаго, увѣряющаго въ безсмертіи, ободряю-

¹⁾ „Покой божественный, но не постижимый и повергающій въ отчаяніе. Ничто не измѣняется при моемъ приближеніи: вотъ встрѣча Маши! Но право, въ небѣ, которое было ясно, было что-то живое“.

²⁾ Жуковский въ 1823 году (вѣроятно въ этотъ пріѣздъ) самъ карандашомъ снялъ видъ со свѣжей могилы Машиной. Позднѣе съ этого снимка онъ самъ сдѣлалъ гравюру. Снимокъ находится у меня. Теперь одинокая гробница, около которой Жуковский приготовлялъ мѣсто для себя, окружена тѣсно другими.

щаго на всю жизнь. Саша говоритъ, что она не могла на нее наглядѣться. *C'était une tête sublime d'un ange dormant, d'un être au dessus du terrestre* ¹⁾. Она казалась точно такою, какова была 17-ти лѣтъ: въ голубомъ платьѣ, подлѣ нея младенецъ, миловидный, точно заснувшій. Горе было для всѣхъ; здѣсь всѣ ее потеряли. Знакомый и незнакомый прислали цвѣты, чтобъ украсить столъ, на которомъ лежали наши два ангела, и живши, и не живши! Она казалась спящею на цвѣтахъ. Всѣ проводили ее, не было никого, кто бы о ней не вздохнулъ. Ангелъ мой, Дуняша, подумайте, что обо всемъ этомъ пишу къ вамъ я, и поберегите свою жизнь. Другъ милый, примемъ вмѣстѣ Машину смерть, какъ увѣреніе Божіе, что жизнь—святыня. Увѣряю васъ, что это теперь для меня понятнѣе; мысль о товариществѣ съ существомъ небеснымъ не есть теперь для меня одно дѣйствіе воображенія; нѣтъ, это опыты! Я какъ будто вижу глазами этого товарища и увѣренъ, что мысль эта будетъ часъ отъ часу живѣе, яснѣе и ободрительнѣе. Самое прошедшее сдѣлалось болѣе моимъ; промежутокъ послѣднихъ лѣтъ какъ будто бы не существуетъ, и прежнее яснѣе, ближе. Время ничего не сдѣлаетъ, развѣ только одно: нашъ милый товарищъ будетъ часъ отъ часу ощутительнѣе своимъ присутствіемъ, я въ этомъ увѣренъ. Мысль о ней, полная ободренія для будущаго, полная благодарности за прошедшее, словомъ,—религія! Саша, вы и я будемъ жить другъ для друга во имя Маши, которая говоритъ намъ: Незрима я, но въ мірѣ мы одною. — Я не сказала почти ничего о Сашѣ; Богъ далъ ей силъ, и ея здоровье не потеряло. Можно сказать, что у нея на рукахъ ея спаситель, она кормитъ своего малютку. Пока онъ пьетъ ея молоко, по тѣхъ поръ чувство горя сливается съ сладостію материнскаго чувства. Она плачетъ; но онъ тутъ: милый, живой, веселый, но спокойный ребенокъ. Маменькѣ помогаютъ слезы, не бойтесь за нее. Другой спаситель: Машина дочь, наше общее наслѣдство. Она не имѣетъ полнаго понятія ни о чемъ, весела, бѣгаетъ, смѣется; но слезы, которыя она видѣла, ей какъ будто сказали тайну; точно также привязалась она (и вдругъ безъ всякой поспѣшности) къ Сашѣ, какъ къ Маши. О матери не говорить ни слова, но ласкается съ необыкновенною нѣжностію къ Сашѣ, по получасу лежитъ у нея на рукахъ, цѣлуетъ ее, и что-то есть грустное въ этихъ поцѣлуяхъ. Милая, Машина дочь теперь и ваша! И для нея вамъ должно беречь себя. Матери не увидитъ она, но отъ кого, какъ не отъ васъ, дойдетъ до нея преданіе объ этомъ ангелѣ ²⁾.

¹⁾ „Это была прелестная головка спящаго янгела, существа неземного!“

²⁾ Эта малютка, воспитанная Авдотьею Петровной, вышла потомъ замужъ за сына ея Василя Алексѣевича Елагина, который скончался въ Дерптѣ въ 1879 году,—какъ и сама Авдотья Петровна, скончавшаяся за годъ передъ тѣмъ въ томъ же городѣ.

Въ другомъ письмѣ изъ Дерпта къ тому же лицу Жуковскій пишетъ:

„Маша болѣе нежели когда-нибудь—нашъ ангелъ, нашъ спутникъ, нашъ хранитель: въ пятницу на Святой недѣлѣ мы всѣ вмѣстѣ были на ея могилѣ. Тамъ слышалъ я подъ чистымъ небомъ, смотря, какъ всѣ плакали, стоя на колѣняхъ, и мать, и мужъ, и дѣти: *Христось воскрес!*... *И сущимъ во гробъ животь даровалъ.* Это была возвышенная минута жизни. Теперь знаю, чтѣ такое смерть, но безсмертіе стало понятнѣе. Жизнь—не для счастья: въ этой мысли заключено великое утѣшеніе. Жизнь—для души; слѣдственно, Маша не потеряна. Кто возьметъ ее у души? Ее *зѣвшию* можно было видѣть глазами, можно было слышать, въ ея присутствіи было счастье! Но ее *тамошнею* можно только видѣть душой, ея достойною, въ этомъ не различимою. Это чувство согрѣваетъ мою душу. Знаю, что не стою ея, но остатокъ жизни—этому чувству. Она оставила ко мнѣ письмо, написанное не въ минуту предчувствія, но она хотѣла, чтобы я не однимъ воображеніемъ слышалъ ея наставительный голосъ изъ гроба. Этотъ голосъ и для васъ, слушаемъ его вмѣстѣ. Вы для меня точно теперь неразлучны съ нею. Думаю о васъ съ двойною нѣжностью, съ благодарностію за прошедшее и съ надеждою, что вы будете ободрительнымъ товарищемъ на остатки жизни“, и проч.

Тяжело было Жуковскому покидать своихъ дерптскихъ родныхъ. Александра Андреевна должна была остаться тамъ весь этотъ годъ. Послѣдніе три дня они всѣ вмѣстѣ провели на могилѣ Маріи Андреевны, садили деревья, цвѣты:

„Первый весенній вечеръ нынѣшняго года, прекрасный, тихій провелъ я на ея гробѣ. Солнце свѣтило на него такъ спокойно, въ полѣ игралъ рогъ. Была тишина удивительная. И видъ этого гроба не возбуждалъ никакой мрачной мысли: *Поззія жизни была она!* Но послѣ письма ея чувствую, что она же будетъ снова *поззіей жизни, но поззіей другаго рода!*“

Долго, долго не могъ Жуковскій забыть образъ Маши. Вновь и вновь она являлась передъ нимъ. Это чувство вылило въ стихотвореніи, которое мы считаемъ едва ли не лучшимъ изъ его субъективно-лирическихъ произведеній... Оно озаглавлено днемъ смерти Маши—«19-го марта 1823 г.»¹⁾:

Ты предо мною
Стояла тихо,

¹⁾ Соч. III, стр. 491.—Тутъ невѣрно озаглавлено: вмѣсто 9-го марта должно быть 19-е—день смерти Маріи Андреевны.

Твой взоръ унылый
 Былъ полонъ чувствъ.
 Онъ мнѣ напомнилъ
 О миломъ прошломъ;
 Онъ былъ послѣдній
 На здѣшнемъ свѣтѣ.

Ты удалилась
 Какъ тихій Ангель;
 Твоя могила какъ рай спокойна,
 Тамъ всѣ земныя
 Воспоминанья,
 Тамъ всѣ святыя
 О небѣ мысли.

Звѣзды небесъ!
 Тихая ночь!

IX.

По смерти Маши, Жуковскій всею силою любящей души привязался къ своей подругѣ Авдотѣ Петровнѣ.

„Мысль о васъ,—пишетъ онъ къ ней въ маѣ 1823 года изъ Петербурга,—сдѣлалась мнѣ дороже всего на свѣтѣ; въ васъ болѣе всѣхъ моя Маша! Вы мнѣ сдѣлались необходимы. Не утѣшенія отъ васъ требую и надежды—въ этомъ словѣ что-то мелкое и даже непонятное,—но помощи, чтобъ быть достойнымъ прошедшаго и святаго воспоминанія. Машина потеря есть для меня и для васъ—религія, и вотъ почему я называю жизнь святынею. Одною только жизнію можно къ ней приближаться; говорю о себѣ, а не о васъ. Вы къ ней ближе, но вы должны быть мнѣ товарищемъ. Все высокое сдѣлается для меня теперь *твоею*; все стало понятнѣе, но это высокое надобно приобрѣсти, иначе Маша навсегда потеряна. Жизнь точно святыня. Маша сама меня въ этомъ увѣрила“.

Итакъ, жестокая потеря не привела нашего друга ни къ пустымъ жалобамъ, ни къ отчаянію. Императрица, сочувствуя вполне душевной его скорби, поняла, что лучшимъ утѣщеніемъ для него должно быть не разсѣяніе, а дѣятельность. Она дала ему новыя занятія, поручивъ ему обучать русскому языку приѣхавшую въ Россію невѣсту великаго князя Михаила Павло-

веча, Елену Павловну, и приготовить самого себя къ тому, чтобъ быть наставникомъ великаго князя Александра Николаевича. Но муза поэта умолкла на цѣлые шесть лѣтъ! Кромѣ нѣсколькихъ стихотвореній на извѣстные случаи, онъ ничего болѣе не написалъ. Занимаясь новымъ изданіемъ своихъ стихотвореній, онъ утѣшался воспоминаніями всей прошедшей жизни. Съ чувствомъ благодарности посвятилъ онъ великой княгинѣ Александрѣ Феодоровнѣ это новое, подъ ея покровительство изданное собраніе своихъ стихотвореній (третье, 1824 г.), причемъ началъ это изданіе посвященіемъ, которое ускользнуло отъ вниманія самого Жуковскаго впослѣдствіи, когда онъ готовилъ къ печати послѣднее полное собраніе своихъ сочиненій. По этой причинѣ сообщаемъ здѣсь эти стихи, прекрасно выражающіе душевное состояніе Жуковскаго въ то время:

Я Музу юную, бывало,
Встрѣчалъ въ подлунной сторонѣ,
И вдохновеніе слетало
Съ небесъ, незваное, ко мнѣ;
На все земное наводило
Животворящій лучъ оно,
И для меня въ то время было
Жизнь и поэзія—одно.

Но дарователь пѣснопѣннй
Меня давно не посѣщаль;
Бывалыхъ нѣтъ въ душѣ видѣннй,
И голосъ арфы замолчалъ.
Его желаннаго возврата
Дождаться-ль мнѣ когда опять?
Или на вѣкъ моя утрата,
И вѣчно арфѣ не звучать?

Но все, что отъ временъ прекрасныхъ,
Когда онъ мнѣ доступенъ былъ,
Все, что отъ милыхъ темныхъ, ясныхъ
Минувшихъ дней я сохранилъ—
Цвѣты мечты уединенной
И жизни лучшіе цвѣты—

Кладу на твой алтарь священной,
О, геній чистой красоты! ¹⁾

Не знаю, свѣтлыхъ вдохновеній
Когда воротится чреда,
Но ты знакомъ мнѣ, чистый геній,
И свѣтитъ мнѣ твоя звѣзда!
Пока еще ея сіянье
Душа умѣетъ различать,
Не умерло очарованье,
Былое сбудется опять!

Лѣтніе мѣсяцы Жуковскій обыкновенно проводилъ вмѣстѣ съ дворомъ либо въ Павловскѣ, либо въ Царскомъ-Селѣ, а зиму— въ столицѣ. Всякій разъ, когда только онъ могъ отлучиться отъ своихъ занятій при дворѣ, онъ слѣшилъ уѣхать на могилу Маріи Андреевны, къ своему «алтарю», на которомъ воздвигнулъ чугунный крестъ съ бронзовымъ распятіемъ. На бронзовой же доскѣ вылиты были любимыя покойницею слова Евангелія: «Да не смущается сердце ваше», и проч. (Іоан., гл. 14, ст. 1), и «Прійдите ко мнѣ вси труждающіися» и проч. (Мате., гл. 11, ст. 28). ²⁾ Всякій разъ, когда онъ пріѣзжалъ изъ Петербурга въ Дерптъ, онъ прежде всего отправлялся поклониться этой могилѣ, которая находится на русскомъ кладбищѣ, вправо отъ почтовой дороги ³⁾; возвращаясь изъ Дерпта въ Петербургъ, онъ останавливался тутъ на прощаніе съ могилкою. Во все время пребыванія своего въ Дерптѣ, онъ каждый день, одинъ или въ

¹⁾ Соч. II, 392: сравн. въ стихотвореніи „Лалла-Рукъ“:

Ахъ, не съ нами обитаетъ
Геній чистой красоты!

²⁾ Полная надпись надъ могилкою Маріи Андреевны:

Здѣсь
Погребена Марія Андреевна
Мойеръ

вмѣстѣ съ новорожденнымъ младенцемъ.

Ниже слѣдуютъ тексты изъ Евангелія.

³⁾ Въ то время почтовый трактъ изъ Петербурга за границу шелъ черезъ Дерптъ.

сопровоженіи родныхъ и дѣтей, посѣщаль это для него святое мѣсто, даже зимою. Изъ всѣхъ картинъ, представляющихъ эту могилу—онъ же много и самъ ихъ нарисоваль, и заказываль писать—преимущественно любилъ онъ одну, представляющую могильный холмъ въ зимней обстановкѣ: на свѣжемъ снѣгу видны слѣды; мужская фигура въ плащѣ сидитъ у памятника. Сколько разъ, въ теченіе семнадцати лѣтъ, пока не оставилъ онъ Россію, побываль онъ на этомъ кладбищѣ! И въ послѣдніе годы жизни, когда онъ жилъ за границею, сердце влекло его сюда болѣе, чѣмъ когда-либо. Здѣсь онъ надѣялся устроить и свое послѣднее земное жилище, но его надежда не сбылась! Въ особенности грустенъ былъ для него одинъ пріѣздъ (лѣтомъ 1824 года), когда онъ провожалъ до Дерпта несчастнаго друга свѣего Батюшкова для излеченія отъ душевной болѣзни.

„Я еще разъ былъ въ Дерптѣ,—пишетъ онъ къ Авдотѣ Петровнѣ:—эта дорога обратилась для меня въ дорогу печали. Зачѣмъ я ѣздилъ! Возить сумасшедшаго Батюшкова, чтобъ отдать его въ Дерптѣ на руки докторскія. Но въ Дерптѣ это не удалось, и я отправилъ его оттуда въ Дрезденъ, въ Зонненштейнскую больницу. Уже получилъ оттуда письмо. Онъ, слава Богу, на мѣстѣ! Но будетъ ли спасенъ его разумокъ? Это уже дѣло Провидѣнія. Въ ту минуту, когда онъ отправился въ одинъ конецъ, а я въ другой, то-есть, назадъ въ Петербургъ, я остановился на могилѣ Маши: чувство, съ какимъ я взглянулъ на ея тихій, цвѣтущій гробъ, тогда было утѣшительнымъ, усмиряющимъ чувствомъ. Надъ ея могилою небесная тишина! Мы провели вмѣстѣ съ Мойеромъ усладительный часъ на этомъ райскомъ мѣстѣ. Когда-то повидаться на немъ съ вами? Посылаю вамъ его рисунокъ: все, что мы посадили: цвѣты и деревья, принялось, цвѣтеть и благоухаетъ“.

Х.

Кромѣ собственнаго своего горя, Жуковскій началъ въ это время встрѣчать и другія огорченія. Уже съ 1819 года стала замѣтна перемѣна въ направленіи дѣйствій правительства. Интриги Шишкова противъ Дашкова, —Голенищева-Кутузова, противъ Карамзина—стали отражаться и на арзамасскихъ друзьяхъ. Императоръ Александръ I сталъ недовѣрчивымъ и подозрительнымъ.

Графъ Аракчеевъ сумѣлъ сдѣлаться главнымъ двигателемъ государственнаго управленія и устранять отъ близости къ особѣ государя даже такихъ лицъ, которыя пользовались прежде полнымъ его расположеніемъ и довѣріемъ. Такъ, даже князь А. Н. Голицынъ, министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, любимецъ императора Александра, піетистъ и мистикъ, но человѣкъ благородныхъ, честныхъ правилъ, въ 1824 году былъ удаленъ со своего поста. Подъ его начальствомъ служилъ одинъ изъ друзей Жуковскаго, А. И. Тургеневъ, и пользовался большою довѣренностію князя; онъ тоже долженъ былъ оставить службу. Другой пріятель Жуковскаго, Д. Н. Блудовъ, въ виду совершавшихся событій, тоже рѣшился выйти въ отставку; онъ продалъ свой домъ въ Петербургѣ и хотѣлъ переѣхать на житье въ Дерптъ, чтобы тамъ спокойно заниматься воспитаніемъ дѣтей своихъ и литературными работами. Вообще, весь кружокъ «арзамасцевъ» приходилъ въ разстройство. Арзамасцы, и въ томъ числѣ Жуковскій, вполне раздѣляли убѣжденіе Карамзина, что въ самодержавіи хранится для Россіи самый надежный залогъ могущества, и что все, противное тому, можетъ имѣть вредныя и даже гибельныя для нея послѣдствія. Но при всемъ томъ они ясно видѣли ошибки правительственныхъ лицъ и съ горькимъ чувствомъ встрѣчали особенно цензурныя стѣсненія. Блудовъ писалъ Дмитріеву, «какъ вѣрный арзамасецъ», что ценсурный уставъ не менѣе вреденъ, какъ и чутье министерства внутреннихъ дѣлъ, съ которымъ оно усматриваетъ во всемъ грѣховодство. При этомъ Блудовъ замѣчаетъ: «На дверяхъ, въ кои входятъ члены нѣкоторыхъ совѣщательныхъ собраній, даже и судебныхъ, можно бы написать славный стихъ Данте съ небольшою лишь перемѣною словъ: «надежда» на «совѣсть»: *Lasciata ogni coscienza voi ch'entrate*, и т. д. Тѣмъ тягостнѣе должно было быть то впечатлѣніе, которое произвели на арзамасскій кружокъ ужасныя событія 14-го декабря 1825 года. Жуковскій былъ близкимъ ихъ свидѣтелемъ ¹⁾.

¹⁾ См. письмо князя П. М. Волконскаго къ графу А. А. Закревскому о кончинѣ имп. Алекс. Павл. (Русск. Арх. 1870 г. № 3).

„Милая Дуняша!—пишетъ онъ Елагиной изъ Петербурга 29-го декабря 1825 года,—у насъ теперь все спокойно. Но мы видѣли день ужасный, о которомъ вспомнить безъ содроганія невозможно. Но это—дѣло Промысла! Онъ показалъ Россіи, что на тронѣ ея государь съ сильнымъ духомъ. Теперь будущее исполнено надеждой. Онъ дѣйствуетъ прекрасно и неутомимъ въ дѣятельности. Будемъ надѣяться лучшаго. Миѣ некогда описывать вамъ того, что случилось, но вы вѣрно читали всѣ подробности; онѣ всѣ справедливы. Помолитесь за меня: на рукахъ моихъ теперь важное и трудное дѣло, и ему одному посвящены всѣ минуты и мысли. Стиховъ писать некогда, но поэзія со мнѣю! Простите, другъ, до свиданія! Какъ весело сказать это слово!“

По вступленіи на престолъ императора Николая Павловича, Жуковский былъ избранъ въ наставники великаго князя наследника, и предполагалъ ѣхать вмѣстѣ со дворомъ на коронацію въ Москву.

Между тѣмъ, личныя непріятныя обстоятельства, а равно и сидячая жизнь, мало-по-малу такъ разстроили здоровье Жуковского, что жалко было смотрѣть на желтоватое, вздутое лицо его, на слабость и одышку, препятствовавшія ему взбираться на высокую лѣстницу новой его квартиры въ Зимнемъ дворцѣ. У Жуковского обнаружились большіе завалы въ печени и водянистыя опухоли ногъ; явилась необходимость лечиться водами за границей. Ему назначено было употребленіе эмскихъ водъ и покойная жизнь въ Германіи, съ тѣмъ, чтобы въ 1827 году повторить еще разъ курсъ леченія въ Эмсѣ. Онъ надѣялся отдохнуть нравственно и физически. Но жаль было ему отказаться отъ радостнаго свиданія съ родными въ Москвѣ и вмѣстѣ разстаться на цѣлый годъ съ любимымъ своимъ питомцемъ: «Но не поѣхать за границу нельзя,—писалъ онъ:—чувствую, что могу навсегда потерять здоровье; теперь оно только пошатнулось. Если пренебречь и не взять нужныхъ мѣръ, то жизнь сдѣлается хуже смерти. Прошу васъ полюбоваться на моего ученика... Дай Богъ ему долгой жизни и счастья! Это желаніе имѣетъ великій смыслъ!»

Въ началѣ мая 1826 г., Жуковский пустился въ дорогу. Въ Берлинѣ онъ получилъ горестное извѣстіе о кончинѣ Карам-

зна, къ которому питалъ почти сыновнее уваженіе. Въ Эмсѣ и я провелъ вмѣстѣ съ Василиемъ Андреевичемъ шесть недѣль. Вѣды принесли ему большую пользу. Тамъ находился и Рейтернъ, съ которымъ онъ коротко сошелся, будучи еще въ Дерптѣ. Въ 1813 году, въ сраженіи подъ Лейпцигомъ, Рейтерну оторвало ядромъ правую руку; тогда онъ сталъ рисовать лѣвою рукой, и такъ удачно, что охотно посвящалъ все свое время живописи. Живя то въ Дюссельдорфѣ, то во Франкфуртѣ, онъ коротко познакомился съ Радовицемъ. Рейтернъ свелъ Жуковского съ этимъ замѣчательнымъ человѣкомъ, который имѣлъ большое вліяніе на образъ мыслей нашего друга впоследствии, когда онъ поселился за границую. Въ Эмсѣ одно приключеніе сильно испугало Жуковского, но къ счастью не имѣло никакихъ худыхъ послѣдствій. Онъ занималъ квартиру въ нижнемъ этажѣ углового дома у крутого переулка, черезъ который протекалъ маленькій ручеекъ, струившійся съ горы, отъ такъ-называемой Mooshütte. 4-го августа послѣ обѣда, въ ту минуту, когда Жуковский отдыхалъ, сдѣлался вдругъ ужасный ливень, и въ нѣсколько минутъ дождевая вода смыла съ горъ такъ много земли и камней, что совершенно запрудила переулокъ и проникла въ комнату спящаго, который съ трудомъ могъ выбраться благополучно. Онъ долженъ былъ переселиться на другую квартиру.

По окончаніи курса въ Эмсѣ, Жуковский поѣхалъ въ Дрезденъ на цѣлую зиму. Но вмѣсто отдыха онъ занимался работами, относившимися къ возложенному на него порученію.

„Работы у меня много,—пишетъ онъ 7/10 февраля 1827 года къ Авдотѣ Петровнѣ,—на рукахъ моихъ важное дѣло! Мнѣ не только надобно учить, но и самому учиться, такъ что не имѣю права и возможности употреблять ни минуты на что-нибудь другое. Если бы вы видѣли, чѣмъ я занятъ, и какъ много объемлетъ кругъ моихъ занятій, и какъ онъ долженъ будетъ безпрестанно распространяться—то иногда и простили бы мнѣ мою эпистолярную лѣнь. Скажу вамъ нѣсколько словъ о томъ, что теперь со мною дѣлается. Во-первыхъ, мое здоровье поправилось, благодаря водамъ Эмсенскимъ и спокойной, порядочной дрезденской жизни. Я въ Дрезденѣ съ сентября мѣсяца и пробуду здѣсь до конца марта. Не вообразите себѣ, чтобъ я здѣсь жилъ для разсѣянія и только чтобы пользоваться веселымъ fat pi-

ente. Напротивъ, здѣсь я былъ безпрестанно занятъ своими приготовленіями къ будущему. По плану ученія великаго князя, мною сдѣланному, все главное лежитъ на мнѣ. Всѣ его лекціи должны сходиться въ моей, которая есть для всѣхъ пунктъ соединенія; другіе учителя должны быть только дополнителями и репетиторами. Можете изъ этого заключить, сколько мнѣ нужно приготовиться, чтобы лекціи могли идти безъ всякой остановки. Съ этой стороны, болѣзнь моя есть для меня благодѣяніе; она дала мнѣ цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ свободныхъ, и я провелъ ихъ въ совершенномъ уединеніи, забывъ, что я въ чужой землѣ, гдѣ много любопытнаго можно видѣть, и посвятивъ свои мысли одной главной, около которой вся дѣятельность моя вертѣлась. И теперь это рѣшено на весь остатокъ жизни. У меня въ душѣ одна мысль, все остальное—только въ отношеніи къ этой царствующей. Могу сказать, что настоящая, положительная моя дѣятельность считается только съ той минуты, въ которую я вошелъ въ тотъ кругъ, въ которомъ теперь заключенъ. Прежде моя жизнь была *dans le vague*. Теперь я знаю, къ чему ведетъ она. Поэзія мною не повинута, хоть я и пересталъ писать стихи, хотя мои занятія и могутъ со стороны показаться механическими. Есть въ душѣ какая-то полнота, которая животворить ее. Я могъ бы назвать себя счастливымъ (ибо никакого положенія въ свѣтѣ не предпочту моему теперешнему и нахожу его достойнымъ меня). Но для счастья нужно не одно свое; но и счастья я давно далъ другое имя. Я называю его *должностъ*. Подъ этимъ именемъ оно всегда сильно противъ судьбы“.

Сосредоточивая всѣ свои мысли на своей новой обязанности, Жуковский не могъ посвящать много времени перепискѣ съ друзьями; она сдѣлалась менѣе частою и приняла другой характеръ, такъ что нерѣдко онъ долженъ былъ защищаться противъ упрековъ своихъ любезныхъ родственницъ:

„Хоть и побраниваете вы меня за мое долгое молчаніе, но я увѣренъ, что вы по прежнему знаете, что мы другъ для друга все тѣ же. Что была бы жизнь, и какую цѣль могла бы имѣть она, когда бы можно было такъ перемѣняться и становиться равнодушнымъ къ тому, что было всегда драгоценнѣйшимъ сердцу и его достойнымъ? Это значило бы — падать; а живучи, надобно все подыматься. Нѣтъ, я въ этомъ смыслѣ не упалъ; иначе на что была бы и жизнь? Вѣдь мы здѣсь не для того, чтобы только дышать. Лучшее наше добро есть наше сердце и его чистыя чувства. Мои всегда со мною. Слѣдовательно, мое сердце—*ваше*, всегда по старому. Обстоятельства могутъ мѣняться, письма могутъ не писаться (и это я называю несчастіемъ, ибо самъ себя лишаешь великаго блага — дѣлиться чувствомъ и мыслию съ своими товарищами); но все мыслъ, что мы живемъ и живемъ для одного, хотя разнымъ образомъ, есть главная наша драгоценность, которой насъ

лишить ничто не можетъ. Это вы знаете. Но все хорошо бы, когда бъ я почаще писалъ къ вамъ; это было бы мнѣ истиннымъ добромъ. Но та бѣда, что мнѣ для того, чтобы приняться за письмо, надобно отложить свою главную работу, и это всегда причиною, что я откладываю, и такимъ образомъ всегда накапливается множество писемъ, которыя составляютъ ужъ особенное занятіе, и я принужденъ писать наскоро“.

Въ апрѣлѣ 1827 года, Жуковскій поѣхалъ изъ Дрездена на мѣсяцъ въ Берлинъ, для покупки нѣмецкихъ книгъ, а оттуда въ Парижъ, для покупки французскихъ книгъ для библіотеки великаго князя. Въ началѣ іюня онъ отправился въ Эмсъ. Обѣздивъ берега Рейна, онъ съ возобновленными силами, почти здоровый, въ октябрѣ возвратился въ Петербургъ.

XI.

Въ дружескомъ согласіи съ военнымъ наставникомъ великаго князя, полковникомъ К. К. Мердеромъ, Жуковскій выбралъ въ учителя своему питомцу нѣкоторыхъ преподавателей изъ извѣстнаго тогда пансіона пастора Муральта. Муральтъ, швейцарскій уроженецъ, былъ ученикомъ и другомъ извѣстнаго педагога Песталоцци, имя котораго уже само по себѣ могло служить рекомендаціей. Сверхъ того, Жуковскій не только въ Дерптѣ, но и въ Швейцаріи лично познакомился съ методомъ Песталоцци. Наконецъ, Василій Андреевичъ самъ занимался изобрѣтеніемъ удобнѣйшихъ способовъ преподаванія разныхъ наукъ, приравливая ихъ къ возрасту своихъ учениковъ и ученицъ (ему было также поручено и устройство преподаванія великимъ князьямъ Маріи Николаевнѣ и Ольгѣ Николаевнѣ).

„Въ головѣ одна мысль, въ душѣ одно желаніе,—писать онъ къ Аннѣ Петровнѣ Зонтагъ,—не думавши, не гадавши, я сдѣлался наставникомъ Наслѣдника престола. Какая забота и отвѣтственность! (Не ошибайтесь: наставникомъ, а не воспитателемъ—за послѣднее никогда бы не позволилъ себѣ взяться!). Занятіе питательное для души! Цѣль для цѣлой остальной жизни! Чувствую ея великость и всѣми мыслями стремлюсь къ ней! До сихъ поръ я доволенъ успѣхомъ, но кругъ дѣйствій безпрестанно будетъ расширяться. Занятій множество. Надобно учить и учиться, и время захвачено. Прощай навсегда поэзія—съ римами. Поэзія другаго рода, со мною,

мнѣ одному знакомая, понятная для одного меня, но для свѣта безмолвная. Ей должна быть посвящена вся остальная жизнь. Вамъ объяснять этого нѣтъ нужды: мы съ вами выросли на однихъ идеяхъ“.

Такъ смотрѣлъ Жуковскій на то высокое дѣло, къ которому былъ призванъ. Но мы не беремся подробно излагать ходъ педагогическихъ занятій поэта и отсылаемъ читателя, между прочимъ, къ тому, что сказано объ этомъ предметѣ покойнымъ Плетневымъ въ его біографическомъ очеркѣ «О жизни и сочиненіяхъ В. А. Жуковскаго» (Спб. 1853).

Жилище Жуковскаго не только представляло мастерскую просвѣщеннаго художника, но и было убрано съ изящною простотой. Большія кресла, диванчики, письменные столы, библіотека, все было уставлено такъ, что тутъ онъ могъ писать, тамъ читать, а тамъ бесѣдовать съ друзьями. На большомъ письменномъ столѣ, у котораго онъ писалъ стоя, возвышались бюсты царской фамиліи, въ углахъ комнаты стояли гипсовые слѣпки съ античныхъ головъ, на стѣнахъ висѣли картины и портреты, которые напоминали ему его любимое прошедшее и отсутствующихъ друзей. Всякая вещь имѣла свое назначеніе, даже для будущаго времени, которое онъ надѣялся провести на родинѣ, въ кругу родныхъ. Въ комнатахъ господствовалъ такой порядокъ, что ихъ можно было принять за жилище какого-нибудь педанта, если бы любезный юморъ самого хозяина не противорѣчилъ такому впечатлѣнію. Жуковскій, конечно, вступалъ уже въ возрастъ старыхъ холостяковъ; но сердце его, исполненное жаромъ любви и дружбы, было чуждо черствости, столь часто дѣлающей жизнь несносною какъ для самихъ холостяковъ, такъ и для окружающихъ. Тихая меланхолія, наполнявшая душу Жуковскаго со смерти Маріи Андреевны, только изрѣдка выказывалась наружу въ бесѣдахъ съ нѣкоторыми друзьями; въ обществѣ же онъ казался веселымъ и внимательнымъ. Сидя въ турецкомъ халатѣ на диванѣ съ поджатыми подъ себя ногами, покуривая табакъ изъ длиннаго чубука съ янтарнымъ мундштукомъ, онъ походилъ на турецкаго пашу, къ чему много способствовало сложеніе его головы и нѣсколько

желтоватое лицо его. Широкий, короткій черепъ съ высокимъ лбомъ, прямой профиль, квадратный окладъ лица, не очень большіе, но быстрые глаза, тучное тѣлосложеніе, наклонность къ нѣгѣ, басовой голосъ,—вотъ признаки, обнаруживавшіе ту-рецкую кровь въ организмѣ Жуковского.

Между тѣмъ, судьба не переставала омрачать горизонтъ нашего друга густыми облаками, которыя наконецъ собрались въ страшную громовую тучу, разразившуюся надъ его сердцемъ. Племянница его, Александра Андреевна Воейкова, опять переселившаяся изъ Дерпта въ Петербургъ, начала сильнѣе прежняго страдать кровохарканіемъ, такъ что врачи присоветовали ей отправиться въ южную Францію, въ Гіеръ. Это было осенью 1827 года; Жуковский снабдилъ ее всѣми средствами, переѣхать туда съ дѣтьми и прислугою. Но ни климатъ, ни врачи не помогли болѣзни, развившейся уже до высокой степени, а отдаленіе отъ друзей и родныхъ еще болѣе развили чахотку какъ бы осиротѣвшей на чужбинѣ больной. Узнавъ въ Монпелье о горестномъ положеніи Александры Андреевны, я поѣхалъ въ апрѣлѣ 1828 года въ Гіеръ и вывезъ больную изъ скучной стороны на лѣто въ Женеву; здѣсь она очень поправи-лась силами и оживилась духомъ въ обществѣ образованныхъ и любезныхъ людей, каковы Бонштеттенъ, Эйнаръ и друг. Оставивъ сына Александры Андреевны, Андрея, въ женевскомъ пансіонѣ, мы на зиму поѣхали въ Пизу, гдѣ встрѣтилось нѣсколько русскихъ семействъ. Но къ веснѣ 1829 года у больной возобновились кровохарканія, и въ февралѣ бѣдная страдалица скончалась. Мнѣ было суждено быть на ея похоронахъ единственнымъ представителемъ близкихъ къ ней людей и поставить на ея гробѣ, на старомъ греческомъ кладбищѣ въ Ливорно, такой же крестъ, какой шесть лѣтъ тому назадъ Жуковский поставилъ на могилѣ Маріи Андреевны. Дѣтей Александры Андреевны я привезъ въ Дерптъ къ ихъ бабушкѣ, Екатеринѣ Аванасьевнѣ. Изъ многихъ писемъ глубоко опечаленнаго этою новою потерей Жуковского приведу здѣсь два, которыя уже по

смерти Александры Андреевны пришли въ Пизу. Онъ пишетъ къ больной племянницѣ изъ Петербурга, отъ 4-го февраля:

„J'ai lu votre lettre à Peroffsky: il faut vous perdre; je ne sais pas même à qui j'écris, existez-vous encore? Lisez-vous cette lettre? Je ne demande à Dieu que de vous donner assez de vie pour pouvoir la lire. Ce n'est pas pour vous attendrir, ni pour vous troubler par ma douleur, que je vous écris dans un pareil moment: je sais, que la mort ne peut avoir rien d'effrayant pour vous! Est-il si difficile de devenir un ange, d'accepter la tranquillité de l'autre vie, d'abandonner la peur de celle-ci? Votre vie a été pure! Partez pour votre destination! Je vous bénis! Je sais, que vous êtes tranquille et sereine. Je veux seulement calmer vos derniers moments par rapport à ce qui restera de vous dans ce monde. Ne vous inquiétez pas sur le sort de vos enfants! *Nous les adoptons*—moi, Peroffsky et Pauline (Tolstoy). L'Impératrice est là, confiez vous à son âme. Catherine et Alexandrine, je l'espère, pourront demeurer près de moi. Je tâcherai de trouver une personne de confiance qui pourra veiller sur elles. Pauline d'abord pourra prendre soin de Marie. André doit rester à Genève, il est très bien là, où il est; il sera loin de l'influence de son père; et après avoir fini ses études préliminaires il reviendra, et j'en prendrai soin. Soyez tranquille, mon amie, ne vous troublez pas en acceptant ce que Dieu vous ordonne. La Providence représentera pour vos enfants l'âme de leur mère, elle leur payera votre vie si pure, si innocente, si éprouvée. Quant à nous, ne vous troublez pas par notre douleur: il faut passer par là! Mais vous serez vivante pour nous dans notre attachement pour vos enfants, dans les soins que nous en prendrons. Je vous bénis, résigné à vous perdre! Si pourtant Dieu dans sa bonté en a décidé autrement que cette lettre soit pour vous comme *un testament fait d'avance!*“¹⁾

¹⁾ „Я прочелъ твое письмо къ Перовскому: намъ должно лишиться тебя; я даже не знаю, кому я пишу, жива ли еще ты, прочтешь ли ты это письмо? Я прошу Бога только о томъ, чтобъ Онъ сохранилъ тебѣ довольно силъ, чтобы прочесть это письмо. Не для того, чтобы разжалобить или потревожить тебя моею печалью, пишу я въ такую минуту. Я знаю, что въ смерти нѣтъ для тебя ничего страшнаго. Неужели такъ трудно стать ангеломъ, принять спокойствіе иной жизни, покинуть страхъ жизни здѣшней? Твоя жизнь была чиста. Иди по своему назначенію! Благословляю тебя! Я знаю, что ты спокойна и свѣтла. Я хочу только успокоить твои послѣднія минуты извѣстіемъ о томъ, что останется отъ тебя въ этомъ мірѣ. Не беспокойся объ участи своихъ дѣтей. *Мы ихъ усыновляемъ* — я, Перовскій и Полина (Толстая). Государыня не забудетъ ихъ, положишься на ея сердце. Катя и Саша, надѣюсь, могутъ жить со мною. Я постараюсь найти надежную особу, которая могла бы наблюдать за ними. Полина можетъ взять на себя заботы о Машѣ. Андрюша долженъ остаться въ Женевѣ; онъ очень хорошо

Мы увидимъ послѣ, что обѣщанія, данныя въ этомъ письмѣ, дѣйствительно, были свято исполнены, какъ послѣдняя воля умирающей. Въ другомъ письмѣ, писанномъ нѣсколько дней послѣ перваго, мы находимъ слѣдующее:

„Alexandrine, mon ange! Peut-être vous êtes déjà mon ange sous tous les rapports! Parlez-moi de vous sans vous troubler; pouvez vous vous inquiéter de quelque chose pour votre avenir? Dans votre passage à une vie si digne de vous il y a quelque chose de si pur: je ne veux pas penser à ma perte, je ne pense qu'à ce qui vous arrive! Et ce qui vous arrive est si divin. Oserai-je y mêler quelque chose de mien? Vous me donniez, en partant, à vos enfants. C'est sur eux qu'il faut transporter tout ce qu'il y avait dans mon coeur pour vous. Je le ferai. Occupez vous d'eux, sans aucune inquiétude. Vous avez aussi une amie dans l'Impératrice, écrivez aussi à elle; tout cela vous tranquillisera sur ce qui reste ici. Il me semble, que tout cela m'arrive à moi-même, et que c'est moi qui dois me préparer à faire ce passage dans un monde mystérieux. Il y a quelque chose de solennel dans cette attente: c'est à présent que je commence à faire une connaissance plus intime avec la vie à venir. Ce qu'il y a de plus cher y passe. Est ce que vous m'abandonnez? Non, vous devenez pour moi un lien sensible entre ce monde et l'autre, vous me donnez une obligation sacrée de vous rester plus fidèle dans celui-ci, et cette fidélité sera dans mon attachement à vos enfants. Je demande à Dieu de permettre que cette lettre vous trouve encore. Je suis sûr qu'il vous sera doux de la lire, qu'elle vous calmera, si vous avez besoin d'être calmée. Vous y verrez de quelle manière j'envisage mon malheur: j'y trouve une religion de coeur! Je trouve dans vous un prédicateur persuasif qui me dit tout, et sur cette vie et sur l'autre. Je suis sûr que rien dans ma lettre ne pourra vous troubler: votre âme est faite pour accepter avec sérénité le bonheur de passer dans le sein de Dieu. En me parlant sur vos enfants, vous vous calmez sur le seul objet qui peut encore vous inquiéter. Mais la vie de

пристроень тамъ, гдѣ онъ находится, и будетъ устраненъ отъ отцовскаго вліянія; окончивъ свое первоначальное обученіе, онъ возвратится, и я позабочусь о немъ. Будь покойна, мой другъ, не тревожься, принимая то, что Богъ велитъ. Провидѣніе замѣнитъ для твоихъ дѣтей душу ихъ матери и вознаградитъ ихъ за твою жизнь, столь чистую, невинную и полную испытаній. О насъ и нашей горести не безпокойся: перенести ее необходимо! Но ты будешь жить для насъ въ привязанности нашей къ твоимъ дѣтямъ и въ заботахъ нашихъ о нихъ. Благословляю тебя, покоряясь необходимости потерять тебя! Если же Богъ, въ своей благодсти, судилъ иначе, да послужитъ тебѣ это письмо *завѣщаніемъ, сдѣланнымъ заблаговременно*“.

leur mère sera leur ange tutélaire. Ecrivez quelques lignes à l'Impératrice," и пр. ¹⁾).

Приведу еще нѣсколько строкъ Жуковскаго изъ письма ко мнѣ и предоставляю читателю сочувствовать той скорби, которая теперь овладѣла душою нашего друга:

„Какъ мнѣ больно, мой драгоценный другъ и братъ, что ты не написалъ моихъ двухъ писемъ въ Женевѣ. Хотя въ нихъ нѣтъ ничего особенно важнаго для тебя, но ты бы на минуту услышалъ голосъ друга, брата, благодарнаго тебѣ на всю жизнь, привязаннаго къ тебѣ навсегда самою нѣжною любовью. Этотъ послѣдній годъ твоей жизни есть прекрасная, святая эпоха: общаніе, данное Машѣ, вѣрно исполнено; у гроба сестры ея ты снова съ нею встрѣтился. Вы два были подлѣ нея представителями всего лучшаго: она невидимо, съ того свѣта—*на свиданіе*, а ты при исходѣ изъ здѣшняго—*на прощанье*. Такого рода счастье не многимъ достается, и ты вполне до

¹⁾ „Сама, ангелъ мой, можетъ быть, ты уже стала ангеломъ во всѣхъ отношеніяхъ. Пиши мнѣ о себѣ безъ тревоги: развѣ ты можешь тревожиться о своемъ будущемъ? Въ твоемъ переходѣ въ жизнь, столь достойную тебя, есть что-то чистое. Я не могу думать о моей потерѣ, я думаю только о томъ, что творится съ тобою. А это такъ божественно! Стану ли я тутъ примѣшивать что-нибудь свое. Отъѣзжая, ты поручала мнѣ своихъ дѣтей! На нихъ я и долженъ перенести всю любовь, которая была въ моемъ сердцѣ къ тебѣ. И я это сдѣлаю. Думай о нихъ и не тревожься нисколько. У тебя есть еще другъ—въ Государствѣ ; напиши и ей; все это успокоитъ тебя въ отношеніи того, что остается здѣсь. Мнѣ кажется, что все это происходитъ со мною самимъ, и что я долженъ готовиться перейти въ этотъ таинственный міръ. Есть что-то торжественное въ этомъ ожиданіи: теперь только я ближе постигаю жизнь будущаго. Что всего дороже, все уходитъ туда. Развѣ ты покидаешь меня? Нѣтъ, ты становишься для меня осязательнымъ звеномъ между здѣшнимъ міромъ и тѣмъ; ты налагаешь на меня священный обѣтъ остаться вѣрнымъ тебѣ въ этомъ мірѣ, и эта вѣрность будетъ заключаться въ моей привязанности къ твоимъ дѣтямъ. Молю Бога, да позволить онъ, чтобы это письмо еще застало тебя. Я увѣренъ, что тебѣ сладко будетъ прочесть его, и что оно успокоитъ тебя—если только успокоеніе тебѣ нужно. Ты увидишь изъ письма, какъ я смотрю на свое горе: я нахожу въ немъ сердечную религію. Я вижу въ тебѣ убѣдительнаго проповѣдника, который говоритъ мнѣ все о здѣшней жизни, и объ иной. Я знаю, что въ моемъ письмѣ ничто не встревожитъ тебя. Твоя душа сотворена для того, чтобы съ полною ясностью встрѣтить переходъ въ лоно Божіе. Говоря мнѣ о дѣтяхъ, ты успокоишь себя насчетъ дѣла, которое одно можетъ тебя беспокоить. Но жизнь ихъ матери будетъ ихъ ангеломъ-хранителемъ. Напиши нѣсколько строкъ Государствѣ“, и проч.

стоять получить его. Она не обманулась. „Розы разцвѣтають“¹⁾ на ея гробѣ и твоей дружеской рукѣ суждено было посадить ихъ. Ты берегъ ея милую душу въ послѣднія минуты, и ты же берегъ для насъ всю прелесть этихъ небесныхъ послѣднихъ минутъ. Благодаря тебѣ, ея смерть не представляетъ намъ ничего тяжело печальнаго. Напротивъ, мысль о ней возбуждаетъ въ сердцѣ все, что есть прекраснаго въ жизни: какая-то чистая музыка слышится, когда переносишься воображеніемъ въ эту минуту. Для меня теперь все прекрасное будетъ синонимъ смерти. Недавно, слушая пѣніе въ церкви, я какъ будто стоялъ у ея смертной постели. Екатерина Аванасьевна еще ничего не знаетъ. Завтра ѣду въ Дерптъ и пробуду тамъ около недѣли. Что-то Богъ велитъ найти? Я уже писалъ къ ней, и всѣ подробности, находящіяся въ письмахъ твоихъ, сообщилъ. О дѣтяхъ все устроено, сколько возможно было,—и настоящее, и будущее. Мать не разсталась съ ихъ душой“, и проч.

Несмотря на оказанное друзьями и даже царскимъ семействомъ участіе къ горести Жуковского, съ этой поры чувство осиротѣлости вкралось въ сердце его. Тщетно старались развлекать его въ семействахъ Віельгорскихъ, Блудовыхъ, Карамзинныхъ, Дашковыхъ, Вяземскихъ; нѣжная скорбь о потерѣ постоянно подтачивала душу, и тѣлесныя силы его видимо ослабѣли—не только отъ подавленнаго сердечнаго страданія, но и отъ того, что онъ усиленными работами старался преодолѣть свою внутреннюю боль.

„Мнѣ судьба теперь,—писалъ онъ въ Муратово,—быть сиднемъ, и весьма одинокимъ сиднемъ: я въ свѣтѣ не живу, и мои здѣшнія занятія такого рода, что мой образъ жизни довольно похожъ на муратовскій — à quelques beaux rêves près! Encore un beau rêve de moins—c'est celui de la vie d'Alexandrine! 2). Дѣти ея здѣсь. Старшихъ взяла императрица на свой счетъ, то есть, приказала ихъ помѣстить въ Екатерининскій институтъ; но пока онѣ живутъ въ Царскомъ-Селѣ у графини Толстой. Маша, прекрасный, веселый, ласковый ребенокъ, будетъ жить у Екатерины Аванасьевны. Со времени нашей потери я ее два раза видѣлъ проѣздомъ въ Варшаву, на коронацію, и изъ Варшавы, въ Дерптѣ. Ужасная степь кругомъ ея: но въ этомъ удивленіи слышится милый голосокъ Машинной Кати, въ которую она сама разцвѣтаетъ. А онѣ *объ*—лучшее наше *во время ою*. Гдѣ онѣ? И гробы ихъ на

¹⁾ Покойница очень любила слушать эту пѣснь Жуковского, положенную на музыку Вейраухомъ.

²⁾ „За исключеніемъ нѣсколькихъ пріятныхъ мечтаній. И вотъ еще одною мечтой меньше: Саша умерла“.

ихъ жизнь похожи: около одной скромная, глубокая, цвѣтущая тишина, ровное небо, дорога, вечернее солнце; около другой живое, веселое небо Италіи, благовонные цвѣты Италіи. Гдѣ-то ихъ милыя, свѣтлыя души?"

Въ удаленіи отъ общества Жуковскій пересмотрѣлъ и докончилъ начатыя въ разное время переложенія балладъ Шиллера, Уланда, Соути и пр. Изъ выбора этихъ стихотвореній видно, что онъ сдѣлалъ эти переводы по желанію Августѣйшей своей покровительницы. Эти баллады вышли въ свѣтъ въ 1829 году. Если бы Жуковскій жилъ въ свѣтѣ, среди развлеченій, онъ вѣрно не могъ бы создать произведеній, исполненныхъ такого вдохновенія. Какъ для отдыха отъ работъ, даже среди ночи, онъ возвращался къ милымъ и скорбнымъ воспоминаніямъ. Такъ наприимѣръ, утромъ 1-го января 1831 года, поздравляя Авдотью Петровну Елагину, онъ пишетъ ей, что въ прошедшую ночь перечиталъ нѣкоторыя письма покойной Маріи Андреевны ¹⁾:

„Поздравляю васъ съ новымъ годомъ, милая Дуняша, вы встрѣтите его весело, несмотря на воспоминаніе недавнихъ бѣдъ московскихъ: ваши *ест* около васъ. Вѣрно вчера вы сидѣли до полночи вмѣстѣ, подслушивали вмѣстѣ послѣднее дыханіе умирающаго двѣнадцати-мѣсячнаго старика и при первомъ боѣ часовъ, то-есть, при первомъ крикѣ новорожденнаго, обнимались крѣпко, радуясь, *что ест* на лицо. А я эти минуты провела одинъ; ибо въ такія минуты лучше быть одному, съ семьею воспоминаній, нежели въ чужой, хотя и любезной семьѣ. Можно сказать, что я провела эти послѣднія минуты прошлаго и первыя минуты новаго года между двумя гробами. Чтобы подѣлиться съ вами и этимъ добромъ, выписываю вамъ то, что писала Маша, встрѣчая свой послѣдній новый годъ—1823“...

А вотъ и нѣсколько строкъ изъ письма къ З...., по тому же поводу:

„Hier ist auch der letzte Tag vom Jahre. Eine ganz sonderbare Empfindung ergreift das Herz bei dem Gedanken, dass man dem letzten Athemzuge eines Sterbenden, welcher nach einigen Stunden zu Grabe getragen wird, beiwohnt. Man ist so geizig auf jede Minute, sie mag noch so uninteressant sein. Da die Gefühle noch mehr zu denjenigen gerichtet sind, durch welche dieses Jahr, diese Leiche, einem lieb war, so vergisst man alles Schlechte und erinnert sich nur des Guten, und ist dafür sehr dankbar, liebt sehr, und möchte noch mehr lieben. So geht es mir. Ich bin so froh, so hoch

¹⁾ Письма эти были писаны на нѣмецкомъ языкѣ.

gestimmt, erwacht, dass ich fürchte, manche Saite wird noch vor dem Ende dieses neuen Jahres zerreißen. Die Uhr zeigt 5; auf den Strassen noch Alles so still; um mich herum Alles noch schlafend, mein Herz pochend, aber ruhig und dankbar zu Gott! Ich trete in dieses neue Jahr mit ganz besonderen Empfindungen. Es ist mir so zu Muthe, als ob ich für mich selbst wieder ein neues Leben anfangen sollte. In der Kirche liess ich ein Te Deum singen, und als der Priester fragte, was für eines ich haben wollte, ein gewöhnliches oder ein *благодарственный*, so bedachte ich mich nicht und rief von ganzem Herzen: ja wohl, ein *благодарственный*! Wer hat mehr Ursache, als ich, zu danken? *Dorthin* bringe ich alle meine Wünsche, hier will ich leben und danken:

Das Irdische wird *dorten*
Himmlich unvergänglich sein!

Und das will ich verdienen. So sitze ich und durchstreife nochmals das vergangene Jahr, das vergangene Leben. Beide werden nicht wiederkommen“ и проч. ¹⁾.

XII.

Благоприятное влияние имѣло на душу Жуковскаго появленіе въ это время новыхъ поэтическихъ талантовъ, и между ними

¹⁾ „Сегодня послѣдній день года. Совершенно особенное чувство овладѣваетъ сердцемъ при мысли, что переживаешь послѣдніе вздохи умирающаго, который чрезъ нѣсколько часовъ ляжетъ въ могилу. Скупись каждой минутой, какъ бы ни была она малонинтересною. Такъ какъ чувства устремлены къ тѣмъ, ради коихъ этотъ годъ, этотъ покойникъ, былъ намъ любезенъ, то забываешь все дурное и вспоминаешь одно хорошее, становишься благодарнымъ за него, любишь много и желалъ бы любить еще болѣе. Вотъ что дѣлается со мною. Я такъ радъ, такъ высоко настроенъ, такъ возбужденъ, что боюсь, чтобы какая-нибудь струна не порвалась прежде конца этого новаго года. Теперь пять часовъ; на улицѣ все такъ тихо, вокругъ меня все спитъ, мое сердце бьется, но спокойно и исполнено благодарности къ Богу. Я вступаю въ этотъ новый годъ съ совершенно особенными чувствами. Во мнѣ столько бодрости, какъ будто я долженъ начать самъ для себя новую жизнь. Я заказалъ молебень въ церкви, и когда священникъ спросилъ меня, какой молебень надобно отслужить — обыкновенный или благодарственный, я не задумался и отъ всего сердца воскликнулъ: конечно, благодарственный! И кто болѣе меня имѣетъ причины быть благодарнымъ? *Туда* устремляю всѣ мои желанія, здѣсь хочу я любить и питать благодарности: „земное становится *тамъ* небесно-бесконечнымъ!“ И того-то я хочу заслужить. Такъ-то пробѣгаю я, сидя, прошлый годъ, прошлую жизнь. Ни тотъ, ни другая не вернутся!“

онъ давно уже отличилъ Пушкина. Пушкинъ въ это время (въ 1831 году) прибылъ изъ Москвы въ Царское-Село и рѣшился провести тамъ осенніе мѣсяцы. И Жуковскій по причинѣ холеры оставался здѣсь съ дворомъ долѣе обыкновеннаго. Оба поэта издали вмѣстѣ свои стихотворенія, написанныя по случаю взятія Варшавы. На посланные къ И. И. Дмитріеву стихи, Жуковскій получилъ отвѣтъ въ стихахъ же, и въ этомъ отвѣтѣ въ особенности польстили его слѣдующія слова Дмитріева: «Жуковскій, дай мнѣ руку!»

„Въ стихахъ моихъ, написанныхъ на взятіе Варшавы,—отвѣчаетъ Жуковскій маститому поэту, 16-го октября 1831 года,—нѣтъ ничего замѣчательнаго, и они блѣдны, стоя рядомъ со стихами Пушкина; но я ни однихъ стиховъ не писалъ съ такимъ живымъ чувствомъ, ибо написалъ ихъ въ первую минуту по полученіи извѣстія, воскресившаго душу, такъ долго бывшую подъ гнетомъ грустныхъ ощущеній всякаго рода: въ славѣ отечества есть что-то жизнедательное. И въ эту первую минуту всякое слово, и самое обыкновенное, казалось поэтическимъ. Я съ необыкновеннымъ чувствомъ написалъ первый стихъ, взятый у Державина: *Раздавайся, громъ победы!* Я слышалъ эти слова, глядя на Екатерину, и они, можно сказать, были выраженіемъ всего ея вѣка; сладостно было повторить ихъ въ обстоятельствахъ, достойныхъ времени Екатерины“¹⁾.

Жуковскому стало веселѣе въ обществѣ Пушкина; врожденный въ немъ юморъ снова сталъ проявляться, и тогда написалъ онъ три шуточные пьесы: «Спящая Царевна», «Война мышей и лягушекъ», и «Сказка о царѣ Берендеѣ», напоминающія нѣсколько счастливыя времена арзамасскихъ литературныхъ шалостей. Въ послѣднихъ двухъ мы узнаемъ нѣкоторые намеки на извѣстныя литературныя личности, которыя въ ту пору вели перестрѣлку въ разныхъ журналахъ. Рукопись этихъ произведеній, какъ и въ старое время, была отдана на сужденіе А. П. Елагиной, и при этомъ Жуковскій писалъ ей: «Перекрестить кота-мурлыку изъ Фаддея въ Федота, ибо могутъ подумать, что я имѣлъ намѣреніе изобразить въ немъ Фаддея Булгарина».

Отъ сидячей жизни опять усилились у Жуковского завалы въ печени; онъ началъ жаловаться на воспаленіе глазъ, пре-

¹⁾ „Русск. Арх.“ 1866 г., ст. 1635—1636.

пятствующее ему заниматься чтеніемъ и письмомъ. Извѣстный своими ботаническими трудами, академикъ Триніусъ, съ 1829 года преподаватель естественной исторіи у великаго князя, угорилъ Жуковскаго лечиться по методѣ Ганнеманна, ибо Триніусъ, какъ племянникъ Ганнеманна, конечно самъ былъ гомеопатомъ, и гомеопатическое леченіе начинало тогда входить въ моду. Лечили, лечили Жуковскаго гомеопатическими крупинками, но ему день-ото-дня становилось хуже, такъ что въ іюнѣ 1832 года онъ опять долженъ былъ ѣхать въ Эмсъ. Онъ былъ такъ разслабленъ, что вмѣсто обыкновенной дороги черезъ Дерптъ, отправился на пароходѣ въ Любекъ. Окончивъ курсъ водъ въ Эмсѣ, онъ четыре недѣли пилъ воды вейльбахскія и переселился на зиму въ Верне на Женевскомъ озерѣ, гдѣ и жилъ вмѣстѣ съ семействомъ друга своего, живописца Рейтерна ¹⁾. Здѣсь онъ такъ хорошо поправился, что въ началѣ весны могъ предпринять путешествіе по сѣверной Италіи и даже провести нѣсколько недѣль въ Римѣ. Поэтическими плодами спокойной и правильной жизни въ Швейцаріи были нѣсколько балладъ изъ Уланда, Шиллера, Гердера и отрывки изъ Илиады ²⁾. Съ этой поры однако Жуковскій пересталъ писать баллады, но за то началъ извѣстную свою «Ундину». Письма, писанныя имъ съ береговъ Женевскаго озера и изъ Италіи, исполнены изящныхъ описаній картинъ природы и произведеній искусства. Поэтъ дѣйствительно ожилъ тѣломъ и духомъ. Въ сентябрѣ онъ возвратился въ Петербургъ, «помолодѣвши и похорошѣвши», какъ писалъ онъ въ Москву. «Не хочу вамъ ничего рассказывать о моемъ путешествіи,—лѣнь! Я прожилъ шесть мѣсяцевъ въ райской тишинѣ, въ объятіяхъ чародѣя *fag niente*, на берегу Женевскаго озера; потомъ видѣлъ чудесный, лихорадочный сонъ Италіи; теперь здѣсь—въ области мглы, сырости и геморроя, и люблюсь наводненіемъ, которое уже двѣ ночи сряду грозитъ Петербургу».

¹⁾ См. письмо Жуковскаго къ И. И. Козлову въ „Русск. Архивъ“ 1867 года, стр. 834 и слѣд.

²⁾ Соч. т. II, стр. 421.

Не такъ счастливо было путешествіе его сотрудника по воспитанію великаго князя наслѣдника, генерала Мердера, который по причинѣ тяжкой болѣзни сердца провелъ 1833 годъ въ Баденъ-Баденѣ, а зиму 1833—1834 года въ Римѣ. Простудившись, онъ скончался здѣсь 24-го марта. Жуковскій посвятилъ ему прекрасныя строки, свидѣтельствующія объ истинномъ уваженіи, которое онъ питалъ къ его достоинствамъ (т. V, 500).

Ко дню совершеннолѣтія великаго князя наслѣдника Жуковскій написалъ три новыя произведенія, изъ которыхъ одно: «Народный гимнъ», навсегда останется памятникомъ поэзіи Жуковскаго. Никто не могъ сложить русскій народный гимнъ лучше Жуковскаго, который всею душою былъ преданъ монархическому правленію. Въ этомъ отношеніи замѣчательно то, что онъ писалъ о торжествѣ 30-го августа 1834 года по случаю освященія колонны, воздвигнутой въ память императора Александра I. Сравнивъ между собою два находящіяся на Адмиралтейской площади памятника—Петра I и Александра I, изъ которыхъ одинъ—«дикая и безобразная скала», а другой—«стройная, величественная, искусствомъ округленная колонна», онъ находитъ, что «Россія, прежде безобразная скала, набросанная медленнымъ временемъ, мало-по-малу, подъ громомъ древнихъ междоусобій, подъ шумомъ половецкихъ набѣговъ, подъ гнетомъ татарскаго ига, въ бояхъ литовскихъ сплоченная самодержавіемъ, слитая воедино и обтесанная рукою Петра, — нынѣ стройная, единственная въ свѣтѣ своею огромностію колонна. И ангель, вѣнчающій колонну сію, знаменуетъ, что дни боевого созданія для насъ миновались, что все для могущества сдѣлано, что завоевательный мечъ въ ножнахъ и не иначе выйдетъ изъ нихъ, какъ только для *сохраненія*; что наступило время *созданія мира*, что Россія, все свое взявшая, извнѣ безопасная, врагу недоступная или погибельная, не страхъ, а стражъ породнившейся съ нею Европы, вступила нынѣ въ новый великій періодъ бытія своего, въ періодъ развитія внутренняго, твердой законности, безмятежнаго приобрѣтенія всѣхъ сокровищъ общезжитія; что, опираясь всеѣмъ западомъ на просвѣщенную Евро-

цу, всѣмъ югомъ на богатую Азію, всѣмъ сѣверомъ и востокомъ на два океана, богатая и бодрымъ народомъ, и землею для тройного народонаселенія, и всѣми дарами природы для животворной промышленности, она, какъ удобренное поле, кипитъ брошеною въ нѣдра ея жизнію и готова произрастить богатую жатву гражданскаго благоденствія, ввѣренная самодержавію, коимъ нѣкогда была создана и упрочена ея сила, и коего символъ нынѣ воздвигнуть передъ нею царемъ ея въ лицѣ крестоноснаго ангела, а имя его: *Божія Правда*» ¹⁾).

Направленіе литературы того времени, и въ особенности французской, производило на Жуковского самое непріятное впечатлѣніе.

„Читая новые французскіе романы,—пишетъ онъ А. С. Стурдзѣ въ маѣ 1835 года,—пугаешься не ихъ содержанія, а самихъ авторовъ... Эти господа совершенно равнодушны къ добру и злу; они видятъ и въ томъ, и въ другомъ, что-то случайное, равно необходимое въ *машинѣ* здѣшней жизни, которая для нихъ не иное что, какъ сдѣленіе какихъ-то явленій, безъ результата, безъ цѣли, необходимыхъ и представляющихъ одинъ только *материалъ для наблюденія*; ужасы нравственные для нихъ стоятъ на одной доскѣ съ ужасами физическими. И Вальтеръ-Скоттъ изображалъ нравственное безобразіе во всѣхъ его видахъ; но читая его, я утѣшенъ имъ самимъ, въ душѣ его идеаль прекраснаго, любовь къ добру, вѣра въ Бога, и я охотно слѣдую за нимъ въ темный лабиринтъ жизни... Но куда ведутъ нынѣшніе путеводители?... Къ стремистой безднѣ!... Страшно подумать, что все это читается молодежью. Какія грязныя первыя впечатлѣнія жизни?... И подобное является на сценѣ! Всѣ дрянныя французскіе водевили, всѣ отвратительныя мелодрамы Дюма-сына и Дюканжей повсюду переводятся, и все это слушаетъ публика отъ ложъ до райка. Нашъ театръ, на которомъ не явились ни Шиллеры, ни Шекспиры, заваленъ соромъ нынѣшнихъ французскихъ пачкуновъ. Нашъ театръ не имѣлъ періода Корнелей, Расиновъ, Шекспировъ и Шиллеровъ; онъ вдругъ попалъ въ несчастный періодъ французскихъ водевилей и мелодрамъ. Какое гибельное вліяніе на литературу, а вмѣстѣ съ нею и на чувство изящнаго, и на нравственное чувство!“ (Соч. VI, 537).

По желанію императрицы Александры Ѳеодоровны, Жуковский предпринялъ переложеніе въ русскихъ стихахъ повѣсти Ламоттъ-Фукэ: «Ундина», писанной въ подлинникѣ прозою. Уже

¹⁾ Соч. т. V, стр. 503.

въ 1817 году онъ началъ было обрабатывать эту самую повѣсть для своего альманаха («пишу «Ундину», съ которой познакомился во время *оно*, и отъ которой дышетъ прошлою молодостью»), но давъ ей только форму сказки въ прозѣ, не докончилъ ее. «Ундина» есть одно изъ лучшихъ произведеній Фукé и одно изъ самыхъ характеристичныхъ созданій нѣмецкаго романтизма. Еще при первомъ посѣщеніи Берлина Жуковский отыскалъ и полюбилъ Фукé; вышеупомянутое желаніе имп. Александры Федоровны доказывало, что и она не забыла поэзію своей родины, и въ наставникѣ своего сына она встрѣтила ту самую поэтическую наклонность, которою было исполнено и ея сердце. Вотъ почему Жуковский, кончивъ свою прекрасную «Ундину», вмѣсто введенія Фукé, написалъ свое, гдѣ упоминалось о его молодости и о той порѣ, когда родился его царственный питомецъ:

Бывали дни восторженныхъ видѣній;
Моя душа поэзіей цвѣла;
Ко мнѣ леталъ съ вѣстями чудный геній,
Природа вся мнѣ пѣснію была.

Оно прошло, то время золотое,
Съ природы снятъ магическій вѣнецъ.
Свѣтъ, узанный, свое лицо земное
Разоблачилъ,—и призракамъ конецъ.

Но одна мечта осталась у пѣвца живою, какъ вдохновеніе, и продолжаетъ навѣвать на его душу—поэзію:

Передъ пустой когда-то колыбелью
Задумчиво безмолвенъ я стоялъ.
Кто обреченъ святому новоселью
Тобой въ жилищѣ? — судьбу я вопрошать.

И съ первою блеснувшей мнѣ денницей
Ужъ милый гость въ той колыбели былъ;
Онъ въ ней лежалъ подъ царской багрянницей,
Прекрасенъ, тихъ, какъ Божій ангелъ милъ...

Его-то я порою здѣсь встрѣчаю,
Какъ чистую поэзію мою;
Имъ иногда я душу воскрешаю,
При немъ подчасъ, забывшись, и пою.

Всѣ обстоятельства способствовали тому, чтобъ изъ «Ундины» Жуковского вышло прелестное, классическое въ своемъ родѣ, произведеніе. Воспоминаніе объ арзамасскомъ времени, когда Жуковскій впервые занялся «Ундиной»; указаніе императрицы на обработку повѣсти Фукэ; далѣе, пребываніе на очаровательныхъ берегахъ Женевского озера въ кругу семьи друга, Рейтерна (когда нашъ поэтъ написалъ первыя три главы «Ундины» въ стихахъ); продолженіе работы въ 1835 году въ Петербургѣ, въ то время, когда Мойеръ, находившійся тамъ по дѣламъ службы, жилъ у Жуковского; и наконецъ, послѣдняя обработка поэмы въ слѣдующемъ году въ сельскомъ уединеніи близъ Дерпта на мызѣ Эллистферъ, гдѣ поэтъ провелъ лѣто съ Екатериной Аванасьевною и ея внучатами ¹⁾,—все это пробуждало въ Жуковскомъ то тихое, ровное поэтическое вдохновеніе, которое привлекаетъ насъ въ его «Ундины». Тому, кто коротко знакомъ съ характеромъ и жизнію Жуковского, многія мѣста поэмы кажутся какъ-бы прямо списанными съ обстоятельствъ собственной жизни поэта; таково, напримѣръ, начало V главы:

Можетъ-быть, добрый читатель, тебѣ случилось въ жизни,
Долго севтавшись туда и сюда, попадать на такое
Мѣсто, гдѣ было тебѣ хорошо, гдѣ живущая въ каждомъ
Сердцѣ любовь къ домашнему быту, къ семейному миру,
Съ новою силой въ тебѣ пробуждалась, и т. д.

Говоря такъ, Жуковскій прибавляетъ къ описанію стараго рыбака и молодой Ундины такія черты, которыхъ нѣтъ у Фукэ. Онѣ явно взяты изъ кружка родственниковъ ему лицъ; таково, напримѣръ, описаніе и самой Ундины:

..Но мирной сей жизни была душою Ундина;
Въ этомъ жилищѣ, куда суеты не входили, какимъ-то

¹⁾ Всякое утро, прохаживаясь по залѣ Эллистферскаго дома, Жуковскій диктовалъ своимъ племянницамъ, дѣвицамъ Воейковимъ, свои стихи, и „работа пошла славно“. При этомъ онъ пилъ вейльбургскія воды. Эта жизнь съ родными ему такъ нравилась, что онъ купилъ имѣніе близъ Дерпта, дабы переселиться туда подъ старость.

Райскимъ видѣньемъ сіяла она: чистота херувима,
 Рѣзвость младенца, застѣнчивость дѣвы, причудливость Никсы,
 Свѣжесть цвѣтка, порхливость Сильфиды, измѣнчивость струйки...
 Словоиъ, Ундина была несравненнымъ, мучительно-милымъ,
 Чуднымъ созданіемъ; и прелесть ея пропичала, томила
 Душу Гульбранда, какъ прелесть весны, какъ волшебство
 Звуковиъ, когда мы такъ полны болѣзненно-сладкою думой, и т. д.

Въ началѣ XVI главы мы опять находимъ выраженіе собственныхъ чувствъ Жуковскаго, такъ что, кажется, видимъ самого его, сидящаго въ раздумьи:

Какъ намъ, читатель, сказать: къ сожалѣнью или къ счастью,
что наше
 Горе земное не надолго? Здѣсь разумью я горе
 Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
 Горе, которое съ милымъ, потеряннымъ благомъ сливается
 Насъ воедино, которыхъ утрата для насъ не утрата,
 Смерть вдвоемъ бытіе, а жизнь — порывъ непрестанный
 Къ той чертѣ, за которую милое наше изъ міра
 Прежде насъ перешло. Есть, правда, много избранныхъ
 Душъ на свѣтѣ, въ которыхъ святая печаль, какъ свѣча предъ
иконой,
 Ярко горитъ, пока догоритъ; но она и для нихъ ужъ
 Все не та подъ конецъ, какою была при началѣ,
 Полная, чистая; много, много иного чужого
 Между утратою нашей и нами уже протѣснилось, и т. д.

«Ундина» Жуковскаго писана гекзаметрами, но такимъ плавнымъ, непринужденнымъ языкомъ, что если прочесть ихъ, съ умѣньемъ, то кажется, будто слушаешь наилучшую прозу. По нашему мнѣнію, это большое достоинство, отличающее гекзаметръ Жуковскаго отъ гекзаметра другихъ поэтовъ, произведенія которыхъ намъ когда-либо случилось читать. Всѣ обстоятельства старинной повѣсти, относящіяся къ нѣмецкому быту, Жуковский примѣнилъ къ русскимъ обычаямъ. Правда—романтика, мечтательность, нѣжность душевныхъ ощущеній всѣхъ лицъ, входящихъ въ завязку «Ундины», не всякому и не всегда по сердцу, но о вкусахъ не спорять! Какъ для музыки надобно

имѣть органъ слуха, для цвѣтовъ — глазъ, такъ и для сочувствія романтической поэзіи въ «Ундиѣ» Жуковскаго надобно быть надѣленнымъ соотвѣтствующею впечатлительностью. Вообще Жуковскій не много отступаетъ тутъ отъ подлинника; но всеже, сличая оригиналь съ переводомъ, найдешь, что русскій поэтъ наложилъ на мысли Фукé свою собственную печать. Выпустилъ онъ въ концѣ VII главы описаніе свадебнаго дня, и въ началѣ VIII главы—утро, когда новобрачные проснулись; мы упоминаемъ объ этихъ пропускахъ только для того, чтобъ еще разъ показать, что Жуковскаго основательно называютъ «писателемъ дѣвственнымъ».

Какъ художникъ, влюбленный въ свое произведеніе, Жуковскій всячески хотѣлъ украсить свою «Ундину», эту любимую дочь своего романтизма. Онъ заказалъ у отличнаго живописца Майделя, жившаго въ Дерптѣ, рисунки на манеръ иллюстрацій Ретша къ сочиненіямъ Гёте и Шиллера. Майдель сдѣлалъ 20 превосходныхъ эскизовъ in-octavo (къ каждой главѣ по одному, и кромѣ того одинъ для вступленія). Эти рисунки представляютъ наилучшій живописный комментарий къ стихамъ Жуковскаго, который очень любовался этими произведеніями даровитаго художника, по большей части рисованными на глазахъ поэта, на мызѣ Эллистферъ ¹⁾. «Ундина» вышла въ 1837 году издивеніемъ Александра Смирдина въ очень изящномъ изданіи. Съ полнымъ удовольствіемъ Жуковскій тотчасъ послалъ одинъ экземпляръ къ И. И. Дмитріеву, приложивъ къ нему слѣдующее письмо:

„Прошу учителя,—пишетъ Жуковскій, 12-го марта 1837 года,—принять благосклонно приношеніе ученика. Напередъ знаю, что вы будете бранить меня за мои гексаметры. Что же мнѣ дѣлать! Я ихъ люблю; я увѣренъ, что никакой метръ не имѣетъ столько разнообразія, не можетъ быть столько удобенъ какъ для высокаго, такъ и для самаго простаго слога. И не должно думать, чтобъ этимъ метромъ, избавленнымъ отъ рима, было писать легко. Я знаю по опыту, какъ трудно. Это вы знаете лучше меня, что именно то,

¹⁾ Неполнато, отчего М. Н. Лонгиновъ въ „Русскомъ Архивѣ“ 1863 года приписываетъ эти картины умершему за много лѣтъ до 1837 года англійскому художнику Флаксману.

что кажется простымъ, выпрыгнувшимъ прямо изъ головы на бумагу, стоитъ наибольшаго труда. Это я теперь вижу изъ доставленныхъ мнѣ теперь манускриптовъ Пушкина... Съ какимъ трудомъ писалъ онъ свои легкіе, летучіе стихи! Нѣтъ строки, которая бы не была нѣсколько разъ перемарана. Но въ этомъ-то и заключается тайная прелесть творенія. Что было бы съ наслажденіемъ поэта, когдабы онъ могъ производить безъ труда. Все бы очарованіе пропало!¹⁾

XIII.

Въ то время, когда Жуковский окончилъ «Ундину» въ семейномъ кругу близъ Дерпта, А. П. Елагина лѣчилась отъ грудной болѣзни въ Германіи. Сначала Жуковский очень беспокоился о ея здоровьѣ; но она поправилась, пользуясь именно у доктора Коппа, бывшаго въ ту пору въ такой модѣ у русскихъ, что нѣкоторые изъ нашихъ путешественниковъ требовали даже отъ Жуковского, чтобъ онъ непременно похлопоталъ о пожалованіи Коппу какого-нибудь ордена. Но Василій Андреевичъ, конечно, не обратилъ на это никакого вниманія. «Къ чему придраться, чтобы дать ему крестъ? Онъ лечитъ русскихъ и иныхъ вылечиваетъ,—говаривалъ онъ:—но это дѣлаютъ и другіе. Русскихъ больныхъ теперь такъ много разбродилось по Европѣ, что не достанетъ крестовъ на каждого доктора!»

Мойеръ намѣренъ былъ оставить профессорство въ Дерптѣ и переселиться съ Екатериной Аѳанасьевною въ Муратово. Поэтому Жуковский, всегда готовый на планы будущей жизни, писалъ къ Авдотьѣ Петровнѣ въ Ганау:

„Кончивъ всѣ ваши лѣченія и курсы, пріѣдете пароходомъ въ Петербургъ, черезъ Москву въ Петрищево, въ сосѣдствѣ котораго, на старомъ испелищѣ, найдете вы уже старушку Екатерину Аѳанасьевну, окруженную новою генераціей. Вы можете присоединиться къ ней съ своимъ новымъ поколѣніемъ, и эти два поколѣнія сдружатся такъ же, можетъ-быть, какъ бывало, были дружны мы... Чего добраго, можетъ-быть, и я на старости переселюсь къ вамъ, и заведемъ если не Аркадію (ибо нынѣ уже классицизмъ не годится), то по крайней мѣрѣ колонію на манеръ гернгутеровъ. Мойеръ будетъ агрономомъ, я—педагогомъ, и пойдетъ потѣха! Оставляю вашей еще все по прежнему живой, иногда слишкомъ живой фантазіи до-

1) Русск. Арх. 1866 года, стр. 1640.

писать эту картину. Теперь пока старайтесь, какъ можно менѣе заботиться о будущемъ; любуйтесь своимъ косымъ Кошпомъ; потомъ полюбуйте Рейномъ; если вамъ вздумается плавать по Рейну, то доплывите вы уже до Дюссельдорфа, гдѣ найдете моего добраго безрукаго Рейтерна, который лѣвою рукой рисуеъ чудеса, и притомъ мой искренній другъ, съ коимъ душа въ душу мы прожили въ Швейцаріи“.

1837-ой годъ начался для Жуковскаго, и для цѣлой Россіи, подъ несчастнымъ созвѣдіемъ: 29-го января (въ день рожденія Жуковскаго) скончался Пушкинъ отъ смертельной раны, полученной на дуэли. Жуковскій, безъ соревнованія уважая въ немъ поэта, одареннаго гениемъ выше его собственнаго, любилъ и оплакивалъ его, какъ своего сына. Послѣднія минуты страдальца описаны имъ съ трогательною подробностью въ письмѣ къ отцу великаго поэта, Сергѣю Львовичу Пушкину (т. VI, стр. 8—22). На Жуковскаго была возложена обязанность пересмотрѣть оставшіяся по смерти Пушкина рукописи и приготовить полное изданіе его сочиненій.

Когда великій князь наслѣдникъ достигъ совершеннолѣтія, къ нему былъ назначенъ попечителемъ князь Ливень, тогдашній представитель Россіи при англійскомъ дворѣ. Сперанскому было препоручено познакомить наслѣдника престола съ государственными постановленіями и законами, графу Канкрину, бывшему тогда министромъ финансовъ—съ началами государственной экономіи и финансовъ, а Бруннову, въ послѣдствіи посланнику въ Лондонъ—съ дипломатическими отношеніями Россіи къ другимъ европейскимъ державамъ. Его Высочеству оставалось еще лично познакомиться съ провинціей. Двѣ трети 1837 г. должны были быть посвящены изученію отечества. Для облегченія выбора любопытнѣйшихъ предметовъ въ этомъ странствованіи, Жуковскій, съ помощію К. И. Арсеньева, составилъ «Путеуказатель», въ которомъ обозначены были важнѣйшія достопримѣчательности на пути Его Высочества ¹⁾. Во время этого путешествія, въ іюлѣ мѣсяцѣ Жуковскому удалось посѣтить

¹⁾ См. „Современникъ“ за 1838 годъ; тамъ же отдѣльно о путешествіи Жуковскаго съ Его Высочествомъ.

свою родину, село Мишенское, и провести тамъ шесть дней въ кругу родныхъ и среди воспоминаній о минувшихъ временахъ. Возвратясь 17-го декабря изъ путешествія въ Петербургъ, онъ съ дороги уже видѣлъ несчастный пожаръ, постигшій въ этотъ день императорскій Зимній дворецъ. Говорятъ, что Жуковский, найдя въ комнатахъ своихъ все въ цѣлости, — ничто даже не было тронуту съ мѣста, — съ трогательнымъ простодушіемъ говорилъ: «Мнѣ было какъ-то стыдно!»¹⁾

Слѣдующій годъ и начало 1839 года онъ находился въ свѣтѣ Его Высочества, предпринимающаго путешествіе по Европѣ. Нѣкоторые отрывки изъ писемъ и описаній этого путешествія были напечатаны по смерти Жуковского. Въ Римѣ нашъ другъ нашелъ Гоголя и вмѣстѣ съ нимъ проводилъ цѣлые дни, посѣщая хранилища изящныхъ сокровищъ вѣчнаго города, или рисуя виды въ прелестныхъ окрестностяхъ его.

Драматическая поэма Фр. Гальма (бар. Мюнхъ-Беллингаузенъ): «Камозенсъ», только-что вышедшая тогда въ свѣтъ, и, можетъ-быть, видѣнная имъ на Бургтеатрѣ въ Вѣнѣ, сдѣлала на него глубокое впечатлѣніе, такъ что поэтъ тотчасъ же началъ переводъ ея на русскій языкъ²⁾. Мысли, высказанныя въ драмѣ Камозенсомъ, и нѣкоторыя обстоятельства жизни этого знаменитаго поэта, побудили Жуковского вести работу поспѣшно, какъ знаменіе собственнаго *memento mori*! Дѣйствительно, онъ чувствовалъ себя несовсѣмъ здоровымъ и былъ въ очень мрачномъ расположеніи духа. Портретъ, снятый съ него въ то время въ Венеціи и присланный мнѣ въ подарокъ, представляетъ его сидящимъ въ скорбномъ раздумьи у письменнаго стола. Онъ подписалъ подъ этимъ портретомъ послѣднія слова умирающаго Камозенса:

Поэзія есть Богъ—въ святыхъ мечтахъ земли!

Даже въ переводѣ видно, какъ много измѣнилось настроеніе его духа. Начало драмы, по большей части, прямой переводъ

¹⁾ Біографія Жуковского, соч. Плетнева, стр. 101.

²⁾ Соч. т. III, 237.

съ нѣмецкаго; но подь-конецъ Жуковскій прибавилъ къ длиннику такъ много своего, что явно намекалъ на самого себя. Въ разсказахъ Камозенса онъ выпустилъ обстоятельства, которыя не соотвѣтствовали событіямъ его собственной жизни; такъ, вмѣсто словъ Камозенса, описывающаго счастье первой любви къ знатной особѣ при португальскомъ дворѣ, Жуковскій застав ляеть его говорить такъ:

... О, святая

Пора любви! Твое воспоминанье
И здѣсь, въ моей темницѣ, на краю
Могилы, какъ дыханіе весны,
Мнѣ освѣжило душу! Какъ тогда
Все было въ мірѣ отголоскомъ звучнымъ
Моей любви! Какимъ сияньемъ райскимъ
Блистала предо мной вся жизнь съ своимъ
Страданіемъ, блаженствомъ, съ настоящимъ,
Пршедшимъ, будущимъ!.. О, Боже! Боже!

У Гальма, Камозенсъ, котораго разлучили съ его возлюбленной, удаленною въ монастырь, грустно говоритъ: «Екатерина скончалась, и мой Гассанъ погибъ». А Камозенсъ Жуковского горько жалуется:

...Всѣхъ я схоронилъ;

Все, что любилъ я, что меня любило,
Давно во гробъ.. Я стою одинъ
Передъ своей могилою, одинъ!..
И не протянетъ мнѣ никто руки,
Чтобы помочь въ нее сойти; свалюся
Туда, какъ чумный трутъ, рукой наемной
Толкнутый въ общій гробъ.

Далѣе, у Гальма, Камозенсъ говоритъ о ничтожности славы, а у Жуковского, умирающій поэтъ повторяетъ то, что нашъ другъ высказывалъ уже въ «Мысляхъ на кладбищѣ» и въ посланіяхъ «Къ Батюшкову» и «Къ А. И. Тургеневу»:

Слѣпецъ! Тебя зоветъ надежда славы.
На что она, и въ чемъ ея награды?

Кто раздаетъ ихъ, и кому онѣ
 Даются? И не всё-ль ея дары
 Обруганы завидующей злобой?
 За нихъ ли жизнь на жертву отдавать?
 Лишь у гробовъ, которымъ ужъ никто
 Завидовать не станетъ, иногда
 Садитъ она свой лавръ, дабы онъ цвѣлъ
 Надъ тлѣніемъ, которое когда-то
 Здѣсь человѣкомъ было и страдало,
 Нося торжественно на головѣ
 Подъ лаврами пронзительные терны.
 Но для того, кто въ гробѣ спитъ, навѣки
 Безчувственный для здѣшнихъ благъ и бѣдъ,
 Не все-ль равно—попынь ли надъ костями
 Его ростеть, иль лавръ?.. Не вся-ль тутъ слава?

И Васко, молодой поэтъ, отвѣчаетъ Камозэнсу не словами Гальма, а словами Жуковского:

Нѣтъ, нѣтъ, не счастья, не славы здѣсь
 Ищу я, быть хочу крыломъ могучимъ,

 Лекарствомъ душъ, безвѣриемъ крушнмыхъ,
 И сторожемъ нетлѣнной той завѣсы,
 Которою предъ нами горній міръ
 Задержуть, чтобъ порой для смертныхъ глазъ
 Ее приподымать и святость жизни
 Являть во всей ея красѣ небесной—
Вотъ домъ поэта, вотъ мое призванье!

Камозэнсъ замѣчаетъ юношѣ, что напрасно онъ, Васко, будетъ силиться возносить на небеса свинцовыя души людей, что не удастся ему плѣнять глухонѣмыхъ гармоніей стиховъ; но Васко съ самоувѣренностію отвѣчаетъ ему:

Что мнѣ до нихъ!..
 О, Камозэнсъ! Поэзія—небесной
 Религій сестра зѣмная; свѣтлый
 Маякъ, самымъ Создателемъ зажженный,
 Чтобъ мы во тѣмѣ житейскихъ буръ не сблнсь
 Съ путн. Поэтъ, на пламени его
 Свой факель зажига! Твои всѣ братья

Съ тобою заодно засвѣтять, каждый,
Хранительный свой огонь, и будутъ здѣсь
Они во всѣхъ странахъ и временахъ
Для всѣхъ племенъ звѣздами путевыми;
При блескѣ ихъ, что-бъ труженникъ земной
Ни испыталъ—душой онъ не падеть,
И вѣра въ лучшее въ немъ не погибнетъ.

Десять лѣтъ позже, въ 1848 году, Жуковскій въ одномъ письмѣ къ Гоголю, сообщенномъ издателями его посмертныхъ сочиненій, повторяетъ тѣ же самыя слова своему другу, раздраженному тщеславіемъ ¹⁾.

Соображая всѣ обстоятельства послѣдняго періода жизни Жуковскаго съ этой исповѣдью Васко Квеведы, мы замѣчаемъ, что въ то время, когда писанъ «Камознсъ», у нашего поэта начала ясно проявляться та религіозная мечтательность, которая подъ старость замѣнила романтизмъ его молодости. Поэзія всегда казалась ему даромъ небеснымъ; но теперь она стала для него прямо «земною сестрой небесной религіи». Поэтому Жуковскій совершенно перемѣнилъ послѣднюю минуту кончины Камознса, по Гальму. вмѣсто генія Португаліи, надъ головой умирающаго является, въ образѣ молодой дѣвы, увѣнчанной лаврами и съ сіяющимъ крестомъ на груди, сама Религія. Камознсъ, чувствуя появленіе ея, вдохновенно говоритъ:

Я чувствую,—великій часъ мой близко..
Мой духъ опять живой исполненъ силы;
Меня зоветь знакомый сердцу гласъ;
Передо мной исчезла тьма могилы,
И въ небесахъ моихъ опять зажглась
Моя звѣзда, мой путеводець милый!
О, ты-ль? Тебя-ль часъ смертный мнѣ отдалъ
Моя любовь, мой свѣтлый идеаль?
Тебя, на рубежѣ земли и неба, снова
Преображенную я вижу предъ собой,
Что здѣсь прекраснаго, великаго, святаго,
Я вдохновенно угадывалъ мечтой;
Невыразимое для мысли и для слова,

¹⁾ Соч. т. VI, стр. 102—103.

То все въ мой смертный часъ пріяло образъ твой,
И съ миромъ къ моему проникнувъ изголовью,
Мнѣ стало вѣрою, надеждой и любовью.

Такъ, ты—позія: тебя я узнаю;
У гроба я постигъ твое знаменованье.
Благословляю жизнь тревожную мою!
Благословенно будь, души моеѣ страданье!
Смерть, Смерть, великій духъ, я слышу вѣсть твою,
Меня всего твое проникнуло сіянье!

(Подаетъ руку Васко, который падаетъ на колѣни).

Мой сынъ, мой сынъ, будь твердъ, дуною не дремли!
Поэзія есть Богъ—въ святыхъ мечтахъ земли! *(Умираетъ).*

Изъ всѣхъ знакомствъ, сдѣланныхъ Жуковскимъ въ Италиі, самое пріятное впечатлѣніе произвело на него свиданіе съ Манцони въ Миланѣ. «Un comme il faut plein d'attrait»,—пишетъ онъ къ И. И. Козлову ¹⁾,—«une finesse, réunie à une cordialité simple, une noblesse sans parade, réunie à une modestie charmante. qui n'est pas le resultat d'un principe, mais le signalement d'une ame élevée et pure. Таковъ казался мнѣ Манцони» ²⁾. Въ Туринѣ онъ познакомился съ Сильвіо Пеллико: «C'est l'homme de son livre» ³⁾. Лучшая похвала, какую только можно сдѣлать ему».

По возвращеніи въ Россію, два радостныя событія ожидали Жуковского: бородинская годовщина и свиданіе съ родными въ Муратовѣ. Первое онъ описываетъ съ восторгомъ въ письмѣ къ великой княгинѣ Маріи Николаевнѣ ⁴⁾:

„Вечеръ этого дня провелъ я въ лагерѣ. Тамъ сказали мнѣ, что наканунѣ въ арміи многіе повторяли моего „Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ“, пѣсню, современную Бородинской битвѣ. Признаюсь, это меня тронуло до глубины сердца; но въ этомъ чувствѣ не было авторскаго самолюбія. Жить

¹⁾ Русск. Арх. 1867 года, стр. 240.

²⁾ „Человѣкъ порядочный и пріятельскій;—тонкость, соединенная съ простою открытенностью, благородство ненапыщенное, вмѣстѣ съ пріятною скромностью, которая не есть результатъ принципа, а выраженіе возвышенной и чистой души“.

³⁾ „Это—человѣкъ своей книги“.

⁴⁾ Соч. т. VI, стр. 30 и слѣд.

въ памяти людей по смерти, не есть мечта: это высокая надежда здѣшней жизни. Но меня вспомнили *за-живо*; новое поколѣніе повторило давнишнюю пѣсню мою на гробѣ мнувшаго. Это еще болѣе разогрѣло мое устарѣвшее воображеніе, въ которомъ шевелился уже прежній огонекъ, пробужденный всѣмъ видѣннымъ мною въ этотъ день. А живой разговоръ съ К. Г., съ которымъ я встрѣтился въ лагерѣ, и который своимъ поэтическимъ языкомъ доказывалъ мнѣ, что пѣвцу русскихъ воиновъ, въ теперешнемъ случаѣ, *должно* помянуть времена прошлыя, далъ сильный толчекъ моимъ мыслямъ. Возвратясь изъ лагеря, я въ тотъ же вечеръ написалъ половину моей новой Бородинской пѣсни; на другой день на переѣздѣ изъ Бородина въ Москву кончилъ ее; она была немедленно напечатана; экземпляры отосланы въ лагерь, и эта пѣсня прочитана была въ арміи на праздникѣ Бородинскаго Помѣщика... Съ особеннымъ чувствомъ смотрѣлъ я въ этотъ день на нашего молодого, цвѣтущаго Бородинскаго Помѣщика, который, на праздникѣ русскаго войска былъ главнымъ представителемъ поколѣнія новаго. Мнѣ довелось одному изъ первыхъ встрѣтить его въ этомъ свѣтѣ; и потомъ въ Кремлѣ, у колыбели его, тамъ, гдѣ была колыбель Петра, пророчить ему будущее. Тогда говорилъ я его благословенной Матери:

Да встрѣтитъ Онъ обильный честью вѣкъ,
 Да славнаго участникъ славный будетъ!
 Да на чредѣ высокой не забудеть
 Святѣйшаго изъ званій: *человѣкъ!*
 Жить для вѣковъ въ величій народномъ,
 Для блага *всѣмъ*—*свое* позабывать,
 Лишь въ голосѣ Отчества *свободномъ*
 Съ смиреніемъ дѣла свои читать—
 Вотъ правила царей великихъ—Внуку ¹⁾.

Нечаянныя событія всегда дѣлали на душу Жуковскаго глубокое впечатлѣніе, и если онъ, повинувся такому волненію, наскоро набрасывалъ свои мысли на бумагу, то стихи его выходили особенно удачными. Такъ и новая «Бородинская годовщина» ²⁾ поражаетъ свѣжестью картинъ и вѣрностью передачи общаго настроенія. Пусть французскіе историки приписываютъ себѣ побѣду на Бородинскомъ полѣ, но въ словахъ русскаго пѣвца, какъ на мраморномъ памятникѣ, изображена истина:

¹⁾ Соч. II, 59.

²⁾ Соч. III, 279.

Тамъ земля окрещена:
 Кровь на ней была святая;
 Тамъ, престоль и Русь спасая,
 Войско цѣлое легло,
 И престоль, и Русь спасло!

Во имя всей Россіи поэтъ могъ благодарить падшихъ героевъ
 за самоотверженіе при Бородинѣ, и подь-конецъ своей пѣсни
 сказать:

Память вѣчная вамъ, братья!
 Рать младая къ вамъ объятъя
 Простираеть въ глубь земли:
 Нашу Русь вы намъ спасли!
 Въ свой чередъ мы грудью станемъ:
 Въ свой чередъ мы васъ помянемъ,
 Если царь велеть отдать
 Жизнь за общую намъ мать!

Другая радость, которая ожидала нашего друга въ это самое время, была встрѣча съ дорогими родными въ Москвѣ, о которой онъ извѣщаетъ Екатерину Ивановну Мойеръ письмомъ изъ-подъ Бородина: «Катя, душа моя, и прочія души мои, теперь живущія въ Москвѣ, я къ вамъ буду вслѣдъ за этимъ письмомъ, и для этого мнѣ писать къ вамъ болѣе нечего. Ждите меня. Послѣ Бородинскаго праздника все отправимся вмѣстѣ во-свои по старому тракту. Мойеръ, мой добрый Мойеръ отправляется одинъ въ Дерптъ и будетъ въ Москвѣ скоро послѣ моего приѣзда. Загуляемъ вмѣстѣ! Чистое раздолье!».

Такъ заключился второй періодъ жизни и поэзіи Жуковского, въ самомъ началѣ 40-хъ годовъ, открывшихъ собою третій и послѣдній періодъ.



ПЕРІОДЪ ТРЕТІЙ

1841—1852.





„Мы требуемъ отъ друга не одобренія, а разумнїя нашихъ дѣйствій — будетъ ли онъ ихъ хвалить, или хулить, судя ихъ по собственнымъ своимъ принципамъ, но онъ всегда долженъ ихъ разумѣть и сознавать ихъ необходимость съ нашей точки зрѣнія, даже если его взгляды совершенно различны отъ нашихъ“.

Гейне.

I.

ГРУСТНОЕ чувство овладѣваетъ нами, когда мы перечитываемъ письма, писанныя нашимъ другомъ на родину, въ теченіе двѣнадцати послѣднихъ лѣтъ его жизни — съ береговъ Рейна и Майна. Мы не должны вдаваться въ обманъ, читая нѣкоторыя изъ этихъ писемъ. Жуковскій видимо старался оправдывать любимое свое изреченіе: «Все въ жизни къ прекрасному средство!» Но мы и въ то время не сходились съ нимъ во взглядѣ на заграничную жизнь его. Счастье, къ которому тщетно онъ стремился въ самую цвѣтущую пору зрѣлыхъ лѣтъ — мирная, душевная жизнь на родинѣ, въ кругу родныхъ и дѣтей, это, казалось, должно было неожиданно осуществиться для него на чужбинѣ, на 58-мъ году жизни, какъ награда за всѣ лишенія и труды. Приѣхавъ лѣтомъ 1840 года изъ Дармштадта въ Дюссельдорфъ, для свиданія съ Рейтерномъ, Жуковскій, въ минуту

поэтического воодушевления, забыть прежнія свои мечты, забыть свое *прошедшее*, и обручился съ прекрасною восемнадцатилѣтнею дочерью своего друга. Такимъ образомъ, онъ составилъ себѣ свой собственный семейный кругъ изъ лицъ, которымъ мягкая, воспримчивая душа Жуковского предалась очень скоро. Но также скоро почувствовалъ поэтъ и разладъ съ самимъ собою. Новая жизнь не вязалась съ тѣмъ, что составляло внутренній его міръ, не шла къ тому, что выработалось въ немъ, съ чѣмъ онъ сжился — она отрывала его отъ прежнихъ образовъ, связей и мечтаній. Сколько ни старался онъ увѣрить себя и друзей своихъ, что именно теперь счастливъ, и въ семейныхъ заботахъ умиротворилъ свой духъ, узнать, что такое истинное счастье на землѣ. Сквозь подобныя увѣренія всегда слышалось, что счастье, имъ достигнутое, не есть вполне то, къ которому онъ стремился въ своей молодости, и невольно вспоминалъ я слова изъ его же элегии:

Я счастья ждалъ—мечтамъ конецъ,
 Погибло все, умолкла лира;
 Скорѣй, скорѣй въ обитель мира,
 Бѣдный пѣвецъ!

Но не будемъ опережать разказа.

Воспитаніе государя наслѣдника и великихъ княженъ было окончено; но Жуковскому пришлось еще сопровождать государя наслѣдника въ Дармштадтъ, по случаю обрученія его съ Высокою невѣстою, принцессою Дармштадтскою. Нашъ другъ думалъ послѣ кратковременнаго пребыванія за границею возвратиться въ Россію съ тѣмъ, чтобъ остатокъ дней своихъ провести въ Муратовѣ съ сестрою Екатериной Аванасьевною Протасовой и съ ея внуками. Намѣреніе поселиться около Дерпта, въ купленномъ имъ имѣніи, съ тѣмъ, чтобы жить тамъ съ нею и съ семействомъ Мойера, не могло осуществиться: Мойеръ, оставивъ должность профессора, отправился со своею свекровью въ имѣніе своихъ дѣтей, Бунино. Дерптъ потерялъ для нашего друга свое прежнее значеніе, и только могила Маріи Андреевны оставалась тамъ памятникомъ прошедшихъ дней, радостныхъ

и горестныхъ. Владѣть долѣе упомянутымъ имѣніемъ не доставляло ему уже никакого удовольствія и вело за собою только издержки. Онъ намѣренъ былъ продать его.

Но вотъ онъ обручился съ дочерью Рейтерна, родственники котораго жили въ Лифляндіи, и снова сталъ подумывать о своемъ переселеніи на мызу Мейерсгофъ. Онъ поручилъ управленіе этимъ имѣніемъ дядѣ своей невѣсты, заказалъ одному архитектору планъ для перестроекъ и увеличенія, и безъ того уже огромнаго, Мейерсгофскаго дома; но вышло иначе! Краткое пребываніе Жуковскаго въ семейномъ кругу его невѣсты въ Дюссельдорфѣ побудило его еще разъ измѣнить свои намѣренія: онъ отказался отъ мысли поселиться въ Дерптѣ и рѣшился прсвести нѣсколько времени за границей, а потомъ водвориться съ молодою супругою въ Москвѣ.

Бракосочетаніе государя наслѣдника послужило поводомъ къ тому, что императоръ Николай оказалъ новыя милости Жуковскому. Вотъ какъ поэтъ самъ отзывается о нихъ въ письмѣ къ Авдотѣ Петровнѣ Елагиной отъ 21-го апрѣля 1841 года:

„Милая Дуняша, писать мнѣ къ вамъ много нѣтъ никакой возможности; но въ двухъ словахъ надобно сказать вамъ о томъ, что для меня рѣшилось. Во-первыхъ, — чинъ тайнаго совѣтника. Это хорошо для *внѣшняго* свѣта. Для внутренняго, домашняго свѣта, гдѣ всего нужнѣе покойное настоящее и ясное завтра, сдѣлано все, что я желалъ: дана мнѣ полная свобода съ сохраненіемъ мѣста моего при наслѣдникѣ; 10.000 жалованья обращено въ пенсіонъ; окладъ по мѣсту, 18.000, сохраненъ; все это съ моимъ пенсіономъ прежнимъ даетъ мнѣ 32.000 руб. асс. годоваго дохода. Да еще Государь пожаловалъ 10.000 сер. на первое обзаведеніе. Бѣльшаго я и во свѣ не желалъ! Могу теперь смѣло идти подъ вѣнецъ, рука въ руку съ моею... какое бы дать ей имя? Сами назовите ее. Сверхъ того, и продажа имѣнія идетъ весьма удачно. Я не думалъ продать его дороже 90.000, а продалъ за 115.000, что вмѣстѣ съ моею арендою составитъ капиталъ въ 130.000. Слава Царю небесному; даѣ Богъ пожитъ такъ, какъ Ему надобно! И да благословитъ Онъ царя земнаго! Буду 30-го апрѣля или 1-го мая. Чтобы вамъ не дѣлать по пустому путешествія на Рейнъ, то знайте, что я въ Дюссельдорфѣ буду не прежде, какъ послѣ 21-го мая (день, назначенный для моей свадьбы въ Штудгартѣ). Вѣрнѣе устроимъ такъ, чтобы вамъ заглянуть въ Дюссельдорфъ на вашемъ возвратномъ пути.

„P. S. Сію минуту кончили продажу моего имѣнія, и знаете, кто купилъ? Зейдлицъ! Не чудное ли стеченіе обстоятельствъ?“

Вмѣстѣ съ имѣніемъ Жуковскаго, я приобрѣлъ и всю его мебель и перемѣстилъ ее тотчасъ въ свою квартиру. Его библіотека и драгоценныя коллекціи картинъ, бюстовъ, рисунковъ и т. п. должны были до его переселенія въ Москву перейти на сохраненіе въ Мраморный дворецъ. Но онъ передалъ мнѣ три небольшія свои картины съ тѣмъ, чтобъ онѣ висѣли у меня надъ его большимъ письменнымъ столомъ такъ, какъ прежде онѣ висѣли у него самого. Это были: превосходный портретъ покойной Маріи Андреевны Мойеръ, писанный профессоромъ Зенфомъ въ Церптѣ; гробница ея на дерптскомъ кладбищѣ, и гробница покойной Александры Андреевны Воейковой на греческомъ кладбищѣ въ Ливорно.

Приближался день отъѣзда Жуковскаго изъ Петербурга. Въ послѣдній разъ хотѣлъ онъ отобѣдать у меня и отвѣдать своего любимаго блюда, крутой гречневой каши. Послѣ обѣда подошелъ онъ грустный къ своему письменному столу. — Вотъ, — сказалъ онъ, — мѣсто, обожженное свѣчей, когда я писалъ пятую главу «Ундины». Здѣсь я пролилъ чернила, именно оканчивая послѣднія слова Леоноры: «Терпи, терпи, хоть ноетъ грудь!» — И въ его глазахъ навернулись слезы. Вынувъ изъ бокового кармана бумагу, онъ сказалъ: «Вотъ, старый другъ, подпиши здѣсь-же, на этомъ мѣстѣ, какъ свидѣтель, мое заявленіе, что я обязываюсь крестить и воспитывать дѣтей своихъ въ лонѣ православной церкви. Дѣтей моихъ! Странно!»

Пока я подписывалъ эту бумагу, Жуковский, опершись на руку, задумчиво смотрѣлъ на три упомянутыя картины. Вдругъ онъ воскликнулъ: «Нѣтъ, я съ вами не разстанусь!» И съ этими словами, вынулъ ихъ изъ рамъ, сложилъ вмѣстѣ и велѣлъ отнести въ свою карету. При прощаніи онъ подарилъ мнѣ рельефный свой портретъ, который былъ сдѣланъ въ 1833 году въ Римѣ. «Береги его, — сказалъ онъ, — и повѣрь словамъ, которыя я вырѣзалъ на немъ:

„Для сердца прошедшее вѣчно!“

Такимъ образомъ, Жуковскій оставилъ Петербургъ — навсегда!

5-го мая онъ прїѣхалъ въ Дерптъ. Тамъ находился сынъ Александры Андреевны Воейковой въ пансіонѣ—девятнадцатилѣтній юноша красивый и здоровый, но оставшійся слабоумнымъ вслѣдствіе скарлатины, выдержанной имъ еще въ дѣтствѣ въ Женевѣ. Жуковскій распорядился, чтобъ отправить его въ Бувино къ Мойеру и Екатеринѣ Аванасевнѣ. Послѣ этого Василій Андреевичъ посѣтилъ въ послѣдній разъ могилу Маріи Андреевны и—разстался съ милымъ *прошедшимъ*.

Съ глубокою раною въ сердцѣ покинулъ онъ Россію. На берегахъ Рейна онъ надѣялся найти цѣлительный бальзамъ въ кругу новаго семейства. Напередъ однакожь онъ хотѣлъ обезпечить будущность трехъ дочерей покойной Александры Андреевны Воейковой. Раздѣливъ полученные отъ продажи имѣнія 115.000 руб. асс. на три равныя части, онъ назначилъ ихъ имъ въ приданое. Отъ материнскаго состоянія досталось Воейковымъ очень мало, такъ какъ имѣніе принадлежало слабоумному брату, который находился подъ опекой дяди, Ивана Федоровича Воейкова. Впослѣдствіи, въ 1846 г., вспоминая дни, проведенные съ дѣвцами Воейковыми на мызѣ Эллистферъ, близъ Дерпта, еще въ 1836 г.,—Жуковскій писалъ ко мнѣ: «Въ Эллистферскомъ домѣ родилась у меня сумасбродная мысль купить разстроенный Мейерсгофъ, изъ чего, по милости Божіей (которая изъ человѣческаго безумства творить благо), составилъ единственный капиталъ, какимъ я на семь свѣтѣ обладаю». Подарить этотъ капиталъ своимъ внучкамъ въ ту именно пору, когда онъ самъ надѣялся имѣть дѣтей, было поступкомъ, вполне изображающимъ доброе сердце нашего друга.

Жуковскій познакомился съ дѣвицею Рейтернъ зимою 18³²/₃₃ года, когда Елизаветѣ Алексѣевнѣ было всего одиннадцать или двѣнадцать лѣтъ. Поэтъ жилъ тогда, полубольной, на берегахъ Женевского озера, въ Верне, вмѣстѣ съ семействомъ Рейтерна. Еще прежде того, въ 1821 году, онъ впервые посѣтилъ Швейцарію, въ цвѣтѣ силъ и здоровья. Любопытно сравнить между

собою путевыя записки этихъ двухъ эпохъ ¹⁾ по отношенію къ тому впечатлѣнію, какое Швейцарія произвела на него въ обѣ эти поѣздки. Въ 1821 году, изящная природа поражаетъ его, не вызывая особенныхъ размышленій; напротивъ того, во второе посѣщеніе Швейцаріи, въ 1833 году, зрѣлище величественной природы пробуждаетъ въ Жуковскомъ уже болѣе строгія помышленія о мірозданіи; въ промежутокъ между этими двумя эпохами ему удалось нѣсколько расширить кругъ своихъ положительныхъ знаній о природѣ, и это вызвало въ немъ нѣсколько философскихъ размышленій о ней, хотя впрочемъ отвлеченная работа мысли мало соотвѣтствовала складу его ума, какъ онъ и самъ сознался въ этомъ: «У меня въ виду со временемъ написать нѣчто подъ титуломъ: *Философія неутѣды*. Я совершенный невѣжда въ философіи» ²⁾. Уже въ небольшой статьѣ своей: «Взглядъ на землю съ неба» ³⁾, онъ какъ бы насильно вноситъ въ свои религіозныя мысли космологическія идеи Гумбольдта ⁴⁾.

„Однажды, посреди великолѣпнаго созданія,—пишетъ Жуковский въ этой статьѣ,—одинъ изъ обитателей неба стоялъ, преклоняя взоры, въ задумчивомъ размышленіи. „Что съ тобою, братъ мой?“ спросилъ подлетѣвшій къ нему товарищъ блаженства: „На лицѣ твоёмъ что-то не здѣшнее. Какое видѣніе наполняетъ и какъ-будто тревожитъ твою душу?“ „Братъ мой“, отвѣчалъ вопрошенный: „я на мгновеніе отвратилъ глаза мои отъ окружающаго насъ свѣта, я погрузился въ глубину бездны, и чувство, никогда не испытанное, наполнило душу мою... Отклоняя вниманіе отъ окружающаго насъ лучезарнаго океана, я взглянулъ на одну изъ капель, брызжущихъ отъ безчисленныхъ волнъ его, и что же?... Каждая изъ сихъ капель... какъ и всѣ другія, даетъ жизнь своему особенному міру; пылинки, несравненно мельчайшія и

¹⁾ Орывки изъ путевыхъ замѣтокъ обѣихъ эпохъ напечатаны въ т. V сочиненій Жуковского.

²⁾ Соч., т. VI, стр. 545.

³⁾ Тамъ же, т. V, стр. 488.

⁴⁾ Первые свѣдѣнія о нихъ Жуковский получалъ на лекціяхъ, которыя академикъ Триніусъ, въ 1829 и 1830 годахъ, читалъ государю наследнику. Изъ книги, напечатанной Триніусомъ въ немногихъ экземплярахъ: „Zur Erinnerung an unsere Unterhaltungen über Naturgeschichte in den Jahren 1829 und 1830“, можно видѣть возвышенный характеръ мыслей академика. Эти бесѣды вскорѣ были прекращены по волѣ императора Николая Павловича.

уже не свѣтлыя, а только озаренныя, около нея движутся въ удивительномъ устройствѣ. На одной изъ сихъ темныхъ, только-что родившихся пылинкѣ, остановился взоръ мой... Сначала... сія бѣдная пылинка была сама по себѣ мрачною и какъ-будто мертвою... Вдругъ началось на ней движеніе; поверхность ея нѣсколько разъ измѣнилась; наконецъ все пришло въ порядокъ. Вдругъ нѣчто таинственное тамъ совершилось: съ высоты моей... почувствовалъ я, что тамъ, на пылинкѣ началась жизнь, подобная моей жизни, что и посреди ея ничтожества тихо раздалось имя, которое здѣсь столь громозвучно поражаетъ насъ среди нашего величія, раздалось и было услышано! И я увидѣлъ живыя творенія, увидѣлъ, какъ они начались, какъ размножались, какъ исчезали, уступая мѣсто одни другимъ, какъ наконецъ овладѣли всею поверхностью своего непримѣтнаго міра, и какъ все на поверхности его снова преобразилось. Но сія живыя творенія сначала казались мнѣ окруженными какимъ-то мракомъ, мнѣ самому непонятнымъ. И вдругъ я увидѣлъ лучъ, сверкнувшій надъ поверхностью ихъ пылинки. И лучъ сей показался мнѣ свѣтозаріею всей окружающей меня бездны свѣта... Что же пылинка сія?... И что же мгновенные обитатели сей пылинки?... Они живутъ, и живутъ чудесною жизнію! И въ брэнной своей жизни они имѣютъ еще и то, чего мы въ величіи своемъ не имѣемъ. Наша участь есть безмятежное блаженство, а имъ, имъ дано страданіе! При семъ словѣ благовѣрный трепетъ наполняетъ душу мою. Страданіе—для нихъ оно непостижимо, а я съ высоты моей постигаю всю божественную его тайну. Страданіе—творецъ великаго; оно знакомитъ ихъ съ тѣмъ, чего мы никогда въ безмятежномъ богатствѣ нашемъ не узнаемъ—съ таинственнымъ вдохновеніемъ Вѣры, съ утѣхою Надежды, съ сладостнымъ упоеніемъ Любви... Съ таинствомъ страданія, образующаго душу, соединяется другое столь же великое таинство смерти, которое всему, что окружаетъ ихъ въ тѣсныхъ предѣлахъ обитаемой ими пылинки, даетъ и цѣну и прелесть“.

Такимъ образомъ, человѣческія несовершенства, которымъ завидуютъ даже ангелы, кажутся нашему поэту средствами къ достиженію Любви, Вѣры и Надежды, которыя съ самой юности онъ воспѣвалъ въ своихъ произведеніяхъ.

Два года спустя послѣ лекцій академика Триніуса государю наслѣднику, живя уединенно въ семействѣ Рейтерна на Женевскомъ озерѣ, Жуковскій еще болѣе отдается размышленіямъ о предметахъ религіозныхъ, и частію, историческихъ, которые, вѣроятно, были и предметами разговоровъ въ любезномъ ему семействѣ. Тогдашнее настроеніе души Жуковского очень хорошо изображено въ одномъ письмѣ его къ Авдотѣ Петровнѣ,

отъ января 1833 года. Хотя оно и напечатано ¹⁾, но мы должны выписать изъ него здѣсь нѣсколько строкъ для объясненія будущихъ событій:

„Здоровье мое не худо и не хорошо. Я какъ-будто остановился на одной точкѣ: не иду ни впередъ, ни назадъ... Между тѣмъ живу спокойно и дѣлаю все, что отъ меня зависитъ, чтобы дойти до своей цѣли, до выздоровленія. Живу такъ уединенно, что въ теченіе пятидесяти дней былъ только разъ въ обществѣ. Вѣроятно, что такое пустынночество навело бы наконецъ на меня мрачность и тоску; но я не одинъ. Со мною живетъ Рейтеръ и все его семейство. Онъ усердно рисуетъ съ натуры... а я пишу стихи, читаю или не дѣлаю ничего. Съ пяти часовъ утра до четырехъ съ половиною по полудни, время нашего общаго обѣда, я сижу у себя или брожу одинъ. Потомъ мы сходимся, вмѣстѣ обѣдаемъ и вечеръ проводимъ также вмѣстѣ. Въ такомъ образѣ жизни много лекарственнаго. Но прогулки мои еще весьма скромны, еще нѣтъ силъ взбираться на горы. За то гуляю много по ровному прекрасному шоссе, всякій день и во всякую погоду. Теперь читаю двѣ книги. Одна изъ нихъ напечатана моими берлинскими знакомцами, Гумблотомъ и Дункеромъ, довольно четко, на простой бумагѣ, и называется: „*Menzel's Geschichte unserer Zeit*“; а другая самой природою—на здѣшнихъ огромныхъ горахъ великолѣпнымъ изданіемъ. Титула этой послѣдней книги я еще не разобралъ. Но и то, и другое чтеніе приводятъ меня къ одному и тому же результату“.

Послѣ описанія швейцарскихъ горъ, озера и видовъ, Жуковский продолжаетъ:

„Какое сходство въ исторіи этихъ безжизненныхъ великановъ съ исторіей живаго человѣческаго рода! Что представляла наша земля въ эти первые дни созданія, когда всемогущее божіе *Буди!* раздалось посреди небытія, и все начало стремиться къ жизни? Каковъ былъ міръ въ то время, когда потопъ за потопомъ разрушалъ землю, когда изъ страшнаго разрушенія выходило столь же страшное созданіе, когда владыками земли были одни чудовища, которыхъ огромные окаменѣлые скелеты, лежащіе въ земной утробѣ, свидѣльствуютъ объ отдаленной эпохѣ ихъ существованія, въ то же время служатъ памятниками минувшаго безпорядка? Чѣмъ все это кончилось? Животворнымъ *шестымъ* днемъ созданія: потопа утихли, утесы оцѣпенѣли, ихъ страшныя груди покрылись великолѣпнымъ ковромъ плодоносной земли, на которомъ началась цвѣтущая жизнь, и на эту обновленную землю Создатель привелъ наконецъ человѣка; бурный періодъ образованій физическихъ дошелъ до своего предѣла; начинается жизнь человѣче-

¹⁾ Соч., т. V, стр. 492.

скаго рода, и она представляет намъ тотъ же хаосъ, въ какомъ при началѣ своемъ является намъ міръ физическій: мы видимъ человѣка перво-созданнаго; онъ сначала достоинъ своего Создателя, и на землѣ рай; но онъ падаетъ... Что же представляетъ намъ человѣческое общество послѣ паденія, и что послѣ всемірнаго потопа, уничтожившаго первобытныи родъ человѣческій? Не то ли же, что сей безпорядочный бой стихій и массъ физическаго міра, сквозь которыя съ трудомъ и постепенно пробивалась высшая жизнь?... Наконецъ, и для человѣческаго рода періодъ всеобщихъ бурныхъ переворотовъ дошелъ до своего предѣла, и ужасныя созданія древняго міра одѣлись великолѣпнымъ покровомъ, на которомъ началась новая, высшая жизнь. И послѣ пришествія Христова были политическіе разрушительные вулканы; они являются и теперь, но характеръ ихъ болѣе и болѣе измѣняется: теперь они болѣе *образовательны*, нежели прежде... Христіанство, источникъ и хранитель нравственной жизни, не разрушимо, несмотря на бунтующія противъ него страсти; истекающая изъ него образованность медленнымъ, но постояннымъ своимъ дѣйствіемъ все приводитъ въ равновѣсіе; бой добра и зла продолжается, и можетъ ли быть иначе? Земля не рай, человѣкъ не ангелъ,—но наше время, со всѣми его конвульсіями, лучше прошедшаго. Это *лучшее само собою* истекаетъ изъ зла минувшаго. И это лучшее — не человѣкъ своею силою производитъ его, но *время*, покорное одному Промыслу... Человѣкъ созданъ не для тихой, счастливой, а для дѣятельной нравственной жизни; онъ долженъ завоевывать свое достоинство, долженъ пробиваться къ *добру* сквозь страсти и неразлучныя съ ними заблужденія и бѣдствія. Въ мірѣ дѣйствуетъ не онъ, а Провидѣніе, которое дѣйствуетъ въ цѣломъ“.

Въ прекрасной долинѣ между Цюрихскимъ и Луцернскимъ озерами Жуковский посѣтилъ одну мѣстность, въ которой горные обвалы завалили нѣсколько деревень и обратили прелестный уголокъ Гольдау въ пустыню, покрытую грудой камней. По словамъ преданія, за нѣсколько вѣковъ предъ симъ, рядомъ съ этою мѣстностью также обвалилась гора и также уничтожила нѣсколько селеній. Нужно было пройти сотнямъ лѣтъ, чтобы развалины могли покрыться слоемъ плодородной земли, на которой поселилось новое поколѣніе, совершенно чуждое погибшему.

„Вотъ исторія всѣхъ революцій,—разсуждаетъ Жуковский,—всѣхъ насильственныхъ переворотовъ, кѣмъ бы они производимы ни были, бурнымъ ли бѣшенствомъ толпы, дерзкою ли властію одного! Разрушать существующее, *жертвуя справедливостію*, жертвуя настоящимъ для возмож-

наго будущаго блага, есть опрокидывать гору на человѣческія жилища съ безумною мыслию, что можно *вдруг* бесплодную землю, на которой стоятъ они, замѣнить другою, болѣе плодоносною. И правда, будетъ земля плодородна; но для кого, и когда? Время возьметъ свое, и новая жизнь начнется на развалинахъ: но это дѣло его, а не наше; мы только произвели гибель, а произведенное временемъ изъ созданныхъ нами развалинъ ни мало не соответствуетъ тому, чего мы хотѣли въ началѣ. Время—истинный создатель, мы же въ свою пору были только преступные губители; и отдаленныя блага слѣдствія, загладивъ слѣды погибели, не оправдываютъ губителей. На этихъ развалинахъ Гольдау ярко написана истина: *Средство не оправдывается цѣлію; что вредно въ настоящемъ, то есть истинное зло, хотя-бъ и было благотельно въ своихъ послѣдствіяхъ; никто не имѣетъ права жертвовать будущему настоящимъ и нарушать вѣрную справедливость для неутрагаго возможнаго блага...* Иди шагъ за шагомъ за временемъ, вслушивайся въ его голосъ и исполняй то, чего онъ требуетъ. *Отставать отъ него столь же бѣдственно, какъ и перегонять его.* Не тогдакъ горы съ мѣста, но и не стой передъ нею, когда она упадетъ: въ первомъ случаѣ самъ произведешь *разрушеніе*, въ послѣднемъ, не отвратишь *разрушенія*, въ обоихъ же неминуемо погибнешь. Но работая безпрестанно, неутомимо, на ряду со временемъ, *отдѣляя отъ живаго* то, чтѣ уже умерло, *питая* то, въ чемъ еще таится *зародышъ жизни*, и *храня* то, чтѣ зрѣло и *полно жизни*, ты безопасно, безъ всякаго гибельнаго потрясенія, произведешь или *новое необходимое*, или уничтожишь *старое*, уже бесплодное или вредное. Однимъ словомъ: *живи и давай жить*, а паче всего: *блуди Божію правду...* Но довольно о моей горной философій“.

Эти мысли Жуковскаго любопытны не только потому, что опредѣляютъ взгляды его на историческія событія въ мірѣ, но и потому еще, что указываютъ на то, въ какое время и при какихъ условіяхъ онѣ развивались въ немъ: большой, среди семейства Рейтерна, при поэтическихъ работахъ, онъ не терялъ изъ виду и главной задачи своей внѣшней и внутренней жизни.

Таково было настроеніе его духа еще въ 1833 году, когда онъ впервые познакомился съ Елизаветою Алексѣевною. Онъ смотрѣлъ на нее тогда то взглядомъ поэта, который писалъ первыя главы «Ундины», то взглядомъ отца или дѣда, пріятеля ея отца. Молоденькая дѣвушка видѣла въ почтенномъ, радушномъ старикѣ какъ бы члена своего семейства, уважаемаго ея родителями; она прислушивалась къ важнымъ бесѣдамъ обоихъ стариковъ; она видѣла, какъ ея отецъ сочувствовалъ поэтическимъ

произведеніямъ Жуковскаго; она слышала, какъ Жуковскій хвалилъ и обсуживалъ картины ея отца. Всѣ эти впечатлѣнія она и перенесла въ Дюссельдорфъ, куда переѣхали ея родители, и гдѣ тоже часто упоминалось имя Вернейскаго друга, такъ какъ и послѣ пребыванія въ Швейцаріи Жуковскій и Рейтернъ не прерывали обмѣна мыслей въ перепискѣ. По ходатайству поэта, Рейтернъ былъ назначенъ придворнымъ живописцемъ, съ дозволеніемъ жить за-границей, откуда онъ представлялъ свои картины къ императорскому двору. Жуковскій обыкновенно вправлялъ ихъ въ рамы и выставялъ у себя. Такимъ образомъ, дружба и взаимныя услуги связали семейство Рейтерна съ нашимъ поэтомъ. Могла-ли живая, чувствительная дѣвушка не сохранить сердечнаго воспоминанія о своемъ старомъ другѣ и не питать къ нему душевнаго расположенія? Дни, проведенные на берегахъ Женевскаго озера, безъ сомнѣнія, озаряли ея душу такими прекрасными впечатлѣніями, какихъ недоставало ей дома. Ея мать, урожденная Шверцель, была знакома съ нѣкоторыми представителями мрачно-піэтическаго круга католической пропаганды въ Касселѣ, и вообще въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ сантиментальный піэтизмъ былъ очень распространенъ преимущественно въ женскомъ обществѣ многихъ прирейнскихъ городовъ, и въ томъ числѣ — Дюссельдорфа. Тотъ, кто знакомъ съ этимъ болѣзненнымъ настроеніемъ души, кто видѣлъ, какія вредныя послѣдствія на умственное и физическое развитіе дѣтей оказываетъ боязливая замкнутость и отчужденіе отъ разумаго мышленія въ семьяхъ, безпрестанно вздыхающихъ о людской грѣховности, тотъ легко пойметъ, что появленіе Жуковскаго въ кругѣ Рейтерна въ 1840 году должно было произвести необыкновенное впечатлѣніе на Елизавету Алексѣевну, которая, несмотря на свое здоровое сложеніе, отличалась какою-то нервною подвижностью и мечтательностью. Съ своей стороны и Жуковскій, вступая въ домъ своего задушевнаго друга, невольно считалъ себя какъ бы помолодѣвшимъ; поэтическое воображеніе воссоздавало передъ нимъ то время, когда онъ писалъ:

И заключенъ святой союзъ сердцами:
 Душѣ легко въ родной душѣ читать;
 Легко—что сказано очами,
 Устами досказать ¹⁾.

«За четверть часа до рѣшенія судьбы моей,—пишетъ Жуковский къ Екатеринѣ Ивановнѣ Мойеръ ²⁾,—у меня и въ умѣ не было почитать возможнымъ, а потому и желать того, что теперь составляетъ мое истинное счастье. Оно подошло ко мнѣ, безъ моего вѣдома, безъ моего знанія, послано свыше, и я съ полною вѣрою въ него, безъ всякаго колебанія, подаль ему руку».

II.

21-го мая 1841 года совершилась свадьба Жуковского въ церкви русскаго посольства въ Штутгартѣ, а вслѣдъ затѣмъ онъ поселился въ Дюссельдорфѣ, вмѣстѣ съ тестемъ. Вскорѣ онъ началъ заниматься своими литературными работами и познакомился съ крутомъ друзей семейства Рейтерна. Друзья, поспѣвавшіе его здѣсь, и въ томъ числѣ любимая его племянница, Авдотья Петровна Елагина, находили его довольнымъ и веселымъ въ его новой обстановкѣ.

Въ первый годъ своей супружеской жизни Жуковский написалъ три сказки бѣлыми стихами ³⁾, которыя свидѣтельствуютъ о довольно веселомъ настроеніи его духа. Первая изъ нихъ: «Объ Иванѣ царевичѣ и сѣромъ волкѣ», заимствована изъ собранія нѣмецкихъ сказокъ, составленнаго братьями Гриммами, но облечена въ русскую народную форму; впрочемъ, сказка такого же содержанія существуетъ у многихъ народовъ, въ томъ числѣ и у русскихъ. Жуковский любилъ это свое произведеніе. «Если ты не читалъ «Ивана царевича»,—писалъ онъ ко мнѣ,—то прошу непременно его прочесть: онъ также принадлежитъ къ моимъ любимымъ дѣтямъ. Съ нимъ я далъ себѣ полную

¹⁾ Соч., т. I, стр. 362.

²⁾ Дочери Маши; письмо писано ⁴/₁₆ сентября 1845 г.

³⁾ Соч., т. III, стр. 402—455.

волю и разгулялся на распашку». И дѣйствительно, Жуковский вложилъ въ эту сказку такъ много оригинальнаго, что она была переведена обратно на нѣмецкій языкъ и вышла въ свѣтъ съ предисловіемъ Юстина Кернера ¹⁾.

Такою же веселостію отличается и другая сказка, извлеченная нашимъ поэтомъ изъ сборника Гриммовъ: «Котъ въ сапогахъ». Но въ то же время онъ перевелъ изъ того же собранія и третью сказку: «Тюльпанное дерево», содержаніе которой отличается грустнымъ характеромъ. Зная, что у Жуковского стихи всегда бывали отраженіемъ душевнаго его состоянія, мы должны думать, что уже тогда грусть начала закрадываться въ его душу, несмотря на радости семейной жизни. Впрочемъ, въ одномъ письмѣ къ императрицѣ Александрѣ Федоровнѣ (въ мартѣ 1842 года) онъ говоритъ, что весьма доволенъ своею участію. Описавъ домъ, въ которомъ онъ живетъ вмѣстѣ съ тестемъ своимъ близъ Дюссельдорфа, расположеніе комнатъ, садъ, виды на Рейнъ, онъ продолжаетъ:

„Въ описанномъ мною домишкѣ провелъ я мирно и однообразно десять мѣсяцевъ, совершенно отличныхъ отъ всей прошлой моей жизни. Въ это время, будучи преданъ исключительно жизни семейной, я познакомился съ нею коротко. Знаю теперь, что только въ ней можно найдти то, что на землѣ можно назвать счастіемъ; но также знаю, что это счастье покупается дорогою цѣною. Я не выбиралъ; Богъ за меня выбралъ и далъ мнѣ жену по сердцу, устроивъ все напередъ, безъ моего вѣдома и участія. Я долженъ вѣрить, что данное Имъ счастье вѣрно, но не мое, а Его дѣло; и эта мысль должна бы успокоивать мою душу насчетъ прочности того, чтѣ имѣю. Не смотря на то, часто душа въ тревогѣ. Причиной этого непреодолимаго, виновнаго безпокойства есть то, что въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ, имѣвъ такія радости, какихъ не бывало въ прежней моей жизни, я въ то же время испыталъ и такія тревоги, о какихъ не имѣлъ понятія прежде. Онѣ продолжаютъ и теперь; онѣ меня напугали, портятъ настоящее и дѣлаютъ робкимъ при мысли о будущемъ. Чувствую, что это такъ не должно быть, что я не правъ; знаю теперь болѣе, нежели когда-нибудь, что *мы не должны смущаться сердцемъ*; что мы должны *вѣрить, вѣрить и вѣрить*; что мы на землѣ только для *вѣры*; что все другое обманъ и тревога; что въ *вѣрп*

¹⁾ Das Märchen von Iwan Zarewitsch und dem grauen Wolf. Stuttgart, 1852.

только заключается тотъ единственно возможный покой души, который озаряетъ счастье и даетъ ему постоянство, который преобразуетъ несчастье и творитъ изъ судорожныхъ страданій мирную и смиренную покорность. Я это знаю (и нигдѣ этого не узнаешь, какъ въ жизни семейной); но *знать* однимъ убѣжденіемъ мысли, и *быть на дѣлѣ* тѣмъ, что ясно постигаетъ мысль,—великая разница! И я еще не достигъ до этой высоты. Но благодать семейной жизни именно въ томъ, что она предлагаетъ душѣ эту науку и даетъ ей сильно чувствовать ея необходимость“¹⁾).

Если эти слова, случайно вкравшіяся въ письмо поэта, могутъ показаться намъ странными, то должно сказать въ объясненіе ихъ, что въ міросозерцаніи нашего друга произошла замѣчательная перемѣна. Мы знаемъ, что онъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ былъ религіозенъ, что онъ безъ боязни вѣрилъ въ любовь и милость Божію, и что во всѣхъ его сочиненіяхъ, письмахъ и разговорахъ съ друзьями слышались радостныя слова благодарности къ Подателю всѣхъ благъ. Но въ приведенномъ отрывкѣ религіозное направленіе Жуковскаго принимаетъ нѣсколько другой оттѣнокъ; въ этомъ отрывкѣ попадаются фразы, бывшія въ большомъ обиходѣ въ нѣмецкихъ піэтистическихъ кружкахъ. Русскому читателю, можетъ быть, это не такъ замѣтно, но нѣмцу, знакомому съ проявленіями германскаго піэтизма, слѣды его легко бросаются въ глаза. Чувства, которыя донинѣ Жуковский выражалъ радостными и непринужденными словами, и даже гимнами ко Всевышнему, заглушаются предъ какимъ-то невѣдомымъ, таинственнымъ страхомъ. Весьма разительно для насъ повтореніе одного и того же слова въ приведенномъ письмѣ: *вѣрить, вѣрить, вѣрить!* Намъ глубоко трогаетъ пламенная вѣра Жуковскаго; но нельзя не признать, что въ то время, о которомъ мы говоримъ, нашъ другъ сталъ уже выходить изъ границъ тѣхъ вѣрованій, которыя онъ питалъ прежде. Въ статьѣ: «Нѣчто о привидѣніяхъ», напечатанной послѣ смерти его²⁾, онъ съ любовью рассказываетъ о тѣхъ случаяхъ, когда кому-нибудь грезилось видѣть на яву или слышать сверхъестественныя вещи. Про себя и жену онъ сообщаетъ подобные случаи,

¹⁾ Соч., т. VI, стр. 840.

²⁾ Соч., т. VI, стр. 110.

доказывающіе усиленную въ обоихъ нервную воспріимчивость. Вотъ одинъ изъ нихъ. Въ 1841 году профессоръ Зонъ писалъ портретъ жены Жуковскаго, и для этого Василій Андреевичъ каждый день, въ одиннадцать часовъ утра, приходилъ съ женою въ мастерскую художника, которая находилась въ верхнемъ этажѣ дюссельдорфской академіи живописи. Зданіе этой академіи перестроено было изъ бывшаго замка герцоговъ-Бергскихъ. Въ XVII вѣкѣ въ этомъ замкѣ совершилось великое преступленіе. Говорятъ, что Сибилла, сестра герцога Іоанна Вильгельма, отравила его жену, Якобу. Преданіе объ этомъ убійствѣ сохранилось въ народѣ, и говорятъ, что «сама преступница, казнимая гнѣвомъ небеснымъ, посѣщаетъ мрачною тѣнью то мѣсто, которое было свидѣтелемъ ея злодѣянія. Однимъ она является видимо; другіе не видятъ ее, а только слышатъ; иныхъ какимъ-нибудь знакомъ она извѣщаетъ о своемъ таинственномъ присутствіи». Разказавъ приключеніе съ живописцемъ Бланкомъ, видѣвшимъ это привидѣніе, Жуковскій продолжаетъ:

„Корридоръ, изъ котораго ведетъ дверь въ рабочую профессора Зона, находится въ верхнемъ этажѣ академіи; къ нему изъ нижняго этажа, отъ параднаго крыльца, также идетъ корридоръ, упирающійся въ узкую, довольно крутую лѣстницу, соединяющую средній этажъ съ верхнимъ; эта лѣстница примыкаетъ въверху къ небольшой площадкѣ, мимо которой надобно проходить къ рабочимъ многихъ живописцевъ, и которая составляетъ въ верхнемъ корридорѣ пустое отдѣленіе, не имѣющее никакого выхода. Однажды, идя въ определенное время съ женою къ живописцу Зону, мы всходили по узкой лѣстницѣ, я впереди, жена за мною. Вдругъ, ставъ ногою на послѣднюю ступень, я увидѣлъ, что отъ меня что-то черное бросилось вправо и быстро исчезло въ углу описанной мною выше площадки; какой оно имѣло образъ, не знаю; передъ глазами моими мелькнула черная полоса. „Что это?“ спросили мы разомъ, я у жены, а жена у меня. Отвѣта не могло быть никакого. Но жена не только что *видѣла*, она въ то же время и *слышала*..., что кто-то за нею шелъ, и такъ близко, что она боялась оборотить голову, дабы лицомъ своимъ не столкнуться съ лицомъ неучтиваго своего спутника... Въ то время ей слышался ясно какъ-будто шорохъ отъ шелковаго платья. На верхней ступени лѣстницы она вмѣстѣ со мною увидѣла черную полосу, мелькнувшую мимо насъ на площадку; когда же оглянулась, за нею не шелъ никто, въ корридорѣ было по прежнему пусто... Опраясъ

на преданіе, о которомъ тогда только въ первый разъ услышалъ я отъ профессора Зона, можно было бы подумать, что духъ Сибиллы удостоилъ насъ своего вниманія и хотѣлъ на себя обратить наше¹⁾.

Самое помѣщеніе всего этого въ статью о привидѣніяхъ доказываетъ, что наши друзья и вѣрили въ преданіе, и готовы были дать своимъ ощущеніямъ, произведеннымъ отъ дѣйствія сквозного вѣтра въ худо освѣщенныхъ корридорахъ и лѣстницахъ, таинственное, неестественное значеніе.

III.

Къ счастью, Жуковский не вполнѣ предавался подобнымъ странностямъ. Онъ продолжалъ заниматься своими литературными работами, уединяясь въ своемъ кабинетѣ, въ которомъ, казалось, переносился въ прежнюю атмосферу своей душевной жизни. Онъ читалъ переводы произведеній древне-индѣйской литературы, сдѣланные Рюккертомъ и Бопомъ, и задумалъ переложить на русскій языкъ одну изъ индѣйскихъ повѣстей для поднесенія великой княжнѣ Александрѣ Николаевнѣ. Эту повѣсть, называемую «Наль и Дамаянти», онъ кончилъ въ началѣ 1842 года. Послѣ того онъ принялся за переводъ «Одиссеи». Въ ноябрѣ 1842 года у него родилась дочь, и этимъ событіемъ, дѣйствительно, довершилось семейное счастье нашего друга. Но почти всю осень и часть зимы онъ, жена его и самъ Рейтернъ были больны, и это, конечно, было объяснено нѣкоторыми лицами изъ ихъ круга, какъ посылаемое свыше *испытаніе за грѣхи*. Наконецъ, весною 1843 года больные выздоровѣли, и Жуковский послалъ къ великой княжнѣ Александрѣ Николаевнѣ переписанную на-бѣло и исправленную рукопись²⁾ повѣсти: «Наль

¹⁾ Соч., т. VI, стр. 119.

²⁾ Жуковский предложилъ живописцу Майделю украсить изданіе „Наля“ рисунками въ такомъ родѣ, какъ то сдѣлано для „Ундины“. Кромѣ заглавныхъ буквъ тридцати пѣсней въ видѣ виньетокъ, Майдель передъ каждою главою въ особенныхъ рисункахъ большого размѣра изящно представилъ содержаніе главы. Оригиналы этихъ рисунковъ украшаютъ рукопись, поднесенную великой княжнѣ; вырѣзанныя на мѣди, они отпечатаны въ отдѣльномъ изданіи „Наля и Дамаянти“, вышедшемъ въ Петербургѣ въ 1844 году.

и Дамаянти», съ посвященіемъ, въ которомъ онъ въ ряду сновидѣній воспоминаетъ всѣ фазисы имъ пережитой жизни:

Въ тѣ дни, когда мы вѣримъ нашимъ снамъ
 И видимъ въ ихъ несбыточности былъ,
 Я видѣлъ сонъ: казалось, будто я
 Цвѣтущею долиной Кашемира
 Иду одинъ; со всѣхъ сторонъ вздымались
 Громады горъ, и въ глубинѣ долины,
 Какъ въ изумрудномъ, до краевъ лазурью
 Наполненномъ сосудѣ—небеса
 Вечернія спокойно отражая —
 Сіяло озеро; по склону горъ
 Отъ запада сходила на долину
 Дорога, шла къ востоку и вдали .
 Терялася, сливаясь съ горизонтомъ.
 Былъ вечеръ тихъ; все вокругъ меня молчало;
 Лишь изрѣдка надъ головой моею
 Сіяя голубь пролеталъ и пѣли
 Его волнующія воздухъ крылья.
 Вдругъ вдалекѣ слышались мнѣ клики;
 И вижу я: отъ запада идетъ.
 Блестящій ходъ; змѣею безконечной
 Въ долину вьется онъ; и вдругъ я слышу:
 Играютъ маршъ торжественный; и сладкой
 Моя душа наполнилася грустью.
 Пока задумчиво я слушалъ, мимо
 Прошелъ весь ходъ, и я лишь могъ примѣтить
 Тамъ, въ высотѣ, надъ радостно шумящимъ
 Народомъ, паланкинъ; какъ привидѣнье,
 Онъ мнѣ блеснулъ въ глаза; и въ паланкинѣ
 Увидѣлъ я царевну молодую,
 Невѣсту сѣвера; и на меня
 Она глаза склонила мимоходомъ;
 И скрылось все...

Въ этихъ строкахъ, Жуковскій вспомнилъ тотъ день, когда онъ видѣлъ въ первый разъ прусскую принцессу при торжественномъ ея проѣздѣ черезъ Дерптъ, и уже слишкомъ воспользовался поэтической вольностью, уподобляя скромную дерптскую долину долинѣ великолѣпнаго Кашемира. Но видно, въ сердцѣ

нашего друга этотъ городъ сохранилъ все еще свѣтлыя воспоминанія...

...Когда же я очнулся,
Ужь царствовала ночь, и надъ долиной
Горѣли звѣзды; но въ моей душѣ
Былъ свѣтлый день; я чувствовалъ, что въ ней
Свершилося какъ будто откровенье
Всего прекраснаго, въ одно живое
Лицо сляннаго. И вдругъ мой сонъ
Переѣнился: я себя увидѣлъ
Въ царевомъ домѣ, и лицомъ къ лицу
Предстало мнѣ души моей видѣнье;
И мнилось мнѣ, что годы пролетѣли
Мгновеньемъ надо мной, оставивъ мнѣ
Воспоминаніе какихъ-то свѣтлыхъ
Времень, чего-то чуднаго, какой-то
Волшебной жизни...

Это было выраженіемъ благодарности поэта за пріютъ, открытый ему въ нѣдрахъ царской семьи. Затѣмъ рисуетъ онъ осуществленіе мечтаній о семейномъ счастьи, всю жизнь его преслѣдовавшихъ:

...И мой сонъ
Опять переѣнился: я увидѣлъ
Себя на берегу рѣки широкой;
Садилось солнце; тихо по водамъ
Суда сія плыли, и за ними
Серебряный тянулся слѣдъ; вблизи
Въ кустахъ свѣтился домикъ; на порогѣ
Его дверей хозяйка молодая
Съ младенцемъ спящимъ на рукахъ стояла...
И то была моя жена съ моею
Малюткой дочерью... и я проснулся;
И милый сонъ мой сталъ блаженной былью.

Но описавъ свое семейное счастье, онъ все же вскорѣ начинаетъ говорить о томъ покоѣ—

Котораго такъ жадно здѣсь мы ищемъ
Не находя нигдѣ...

И воспоминаеть онъ прежнія времена, и двѣ могилы. Изъ нихъ одну онъ называлъ бывало «алтаремъ» своимъ:

...И слышу голосъ,
 Земныя всѣ смиряющій тревоги:
 — Да не смущается твоя душа, —
 Онъ говоритъ мнѣ, — вѣруй въ Бога, вѣруй
 Въ меня. — Мнѣ было суждено своею
 Рукой на двухъ родныхъ, земной судьбиной
 Разрозненныхъ могилахъ, тѣ слова
 Спасителя святыхъ написать...

Онъ желалъ, чтобы эти слова написаны были и на гробовомъ его камнѣ:

.. Въ успокоенье скорби,
 Въ воспоминаніе земнаго счастья,
 Въ вознагражденіе любви земныя,
 И жизни вѣчныя на упованье.

Поэтизируя свою настоящую жизнь — желая быть счастливымъ, Жуковский стремится уподобить образъ жены съ образомъ идеала своей юности и зрѣлыхъ лѣтъ — Машею:

И мнится мнѣ, что благодатный образъ,
 Мною встрѣченный на жизненномъ пути,
 По-прежнему оттуда мнѣ сіяеть,
 Но онъ ужъ не одинъ, ихъ два; и прежній
 Въ коронѣ, а другой въ вѣнкѣ живомъ
 Изъ бѣлыхъ розъ, и съ прежнимъ сходенъ онъ,
 Какъ расцвѣтающій съ расцвѣтшимъ цвѣтомъ,
 И на меня онъ свѣтлый взоръ склоняетъ
 Съ такою же привѣтною улыбкой,
 Какъ тотъ, когда его во снѣ я встрѣтилъ.
 И имя имъ одно. И нынѣ я
 Тѣмъ милымъ именемъ послѣдній цвѣтъ,
 Поэзіей мнѣ данный, знаменую
 Въ воспоминаніе всего, что было
 Сокровищемъ тѣхъ свѣтлыхъ жизни лѣтъ,
 И что теперь такъ сладостно чаруетъ
 Покой моею обвечерѣвшей жизни ¹⁾.

¹⁾ Соч. т. III, стр. 235. — Да будетъ позволено помѣстить здѣсь выдержку изъ отвѣта великой княжны Жуковскому, какъ примѣръ того милостиваго располо-

Переводя повѣсть: «Наль и Дамаянти», которая составляет эпизодъ изъ обширной индѣйской поэмы: «Магабарата», Жуковский держался перевода Рюккерта, который имѣетъ болѣе поэтическаго достоинства, чѣмъ переводъ Боппа, хотя послѣдній и ближе къ подлиннику. «Не зная подлинника,—говоритъ Жуковский,—я не могъ имѣть намѣренія познакомить съ нимъ русскихъ читателей; я просто хотѣлъ рассказать имъ по-русски ту повѣсть, которая плѣнила меня въ рассказѣ Рюккерта, хотѣлъ самъ насладиться трудомъ поэтическимъ, стараясь найти въ языкѣ моемъ выраженія для той дѣвственной, первообразной красоты, которою полна индѣйская повѣсть: «Наль и Дамаянти»¹⁾. И дѣйствительно, обработка Жуковскаго распространяетъ на восточную поэму такой нѣжный колоритъ, что русскій поэтъ съ полнымъ правомъ могъ поднести свою повѣсть, о «Налѣ и Дамаянти», какъ букетъ благоуханныхъ цвѣтовъ великой княжнѣ Александрѣ Николаевнѣ, которую онъ считалъ прекраснѣйшимъ цвѣткомъ царской семьи.

Жуковский рассказалъ индѣйскую повѣсть гекзаметромъ, но не Гомеровскимъ, а сказочнымъ, о которомъ говорилъ, что этотъ гекзаметръ, будучи совершенно отличнымъ отъ Гомеровскаго,

женія, которымъ онъ пользовался въ царскомъ семействѣ: „Милнй, любезный мой Василій Андреевичъ. Возможно ли, чтобы прекрасный сонъ мой—однажды получить отъ васъ поэму, точно исполнился! Могла ли я думать, что вы точно еще вспомнили обо мнѣ въ вашемъ мирномъ уголѣ на берегу Рейна, въ первомъ счастья семейной жизни! Но въ исполненіи вашего обѣщанія узнала я вашу всегдашнюю привязанность къ нашему семейству и ваше русское сердце. Потому благодарю васъ именемъ Россіи за то, что не забыли васъ, и почитаю себя счастливою, что мое радостное восклицаніе, при слухѣ о намѣреніи вашемъ писать эту поэму, могло доставить моей милой родинѣ еще произведеніе ея любимой лиры... Съ неизъяснимою жадностію начала я читать вашу Дамаянти, и въ каждой строкѣ о васъ думала и мысленно благодарила. Жаль только того, что не могу словесно васъ благодарить, изустно сказать вамъ, какъ мнѣ лестно имѣть отъ Василія Андреевича поэму. Но надѣюсь, будетъ время, когда желаніе мое исполнится, когда васъ опять увидимъ въ кругу нашемъ съ вашимъ семействомъ“... См. „Русск. Архивъ“ 1868 г., ст. 107.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 289.

«долженъ составлять средину между стихами и прозою, то-есть, не бывъ прозаическими стихами, быть однако стбль же простымъ и яснымъ, какъ проза, такъ чтобы разсказъ, несмотря на затрудненіе метра, лился какъ простая, непринужденная рѣчь. Я теперь съ риемою простился. Она, я согласенъ, даетъ особенную предестъ стихамъ, но мнѣ она не подь лѣта... Она модница, нарядница, прелестница, и мнѣ пришлось бы худо отъ ея причудъ. Я угождалъ ей до сихъ поръ, какъ любовникъ, часто весьма неловкій; около нея толпится теперь множество обожателей, вдохновенныхъ молодостью; съ иными она кокетствуетъ, а другихъ бѣшено любить (особенно Языкова). Куда мнѣ за ними?»¹⁾

Переводъ Жуковскаго однако отличается не только благозвучіемъ и непринужденностью стиха, но и общимъ своимъ поэтическимъ колоритомъ, котораго въ немъ больше, чѣмъ у Рюккерта. Своимъ поэтическимъ чутьемъ Жуковскій сьумѣлъ извлечь изъ черствой скорлупы вкусное ядро. Рюккертъ придерживается индѣйскаго способа составленія сложныхъ словъ: у него встрѣчаются слова, сложенные изъ трехъ и четырехъ простыхъ словъ и состояція изъ восьми, десяти и двѣнадцати слоговъ, какъ наримѣръ: *gliedertzartwuchsrichtige* (члено-нѣжно-правильно-сложные), *gewölbaugenbraunbogige* (брове-дуго-сводные), и проч.; Жуковскій разложилъ эти неуклюжія слова съ большимъ умѣньемъ и вкусомъ, и кромѣ того освободилъ поэтическіе образы отъ оковъ, наложенныхъ странными иногда нѣмецкими приемами, такъ что они явились теперь въ полной своей красотѣ.

Мы не будемъ говорить о той картинности, съ которою Жуковскій описываетъ восточные нравы и обычаи, и о той юношеской нѣжности, съ которою онъ изображаетъ сердечныя чувства своихъ героевъ, но укажемъ на нѣкоторыя изъ тѣхъ мѣстъ переложенія, въ которыхъ нашъ поэтъ уклонился отъ Рюккерта и обнаружилъ тѣмъ свое собственное душевное настроеніе.

Во второй главѣ повѣсти описывается, какъ Дамаанти вы-

¹⁾ Соч., т. VI, стр. 181.

сказала свою любовь къ Наю, и какъ она, въ присутствіи всѣхъ царей и царевичей, избрала Наю себѣ въ мужа. Затѣмъ слѣдуетъ отвѣтъ Наю:

Онъ же, полный блаженства любви, своей нареченной,
Робко краснѣющей, очи склонившей, дрожащей невѣстѣ
Такъ сказалъ съ трепетаніемъ сердца, но голосомъ твердымъ:
„Если могла при безсмертныхъ богахъ ты смертнаго мужа
Такъ почтить, Дамаянти, то слушай: тебя я
Самъ предъ людьми и богами своею женою именую,
Весь на цѣлую жизнь отдаюся тебѣ, и доколѣ
Будетъ духъ жизни въ тѣлѣ моемъ, дотолѣ, о, дѣва!
Роза Видарбы! я буду твоимъ; мое обѣщанье
Съ вѣрой прійми, на меня положишь; отнынѣ тебя я
Буду питать, защищать и чтить, и хранить, и останусь
Вѣренъ тебѣ всегда, во всемъ и словомъ, и дѣломъ,
Радость и горе, богатство и бѣдность, и все неизмѣнно
Въ жизни съ тобой раздѣляя.“ Обѣтъ такой произнесши,
Свѣтлый женихъ передъ всѣми своей лучезарной невѣстѣ
Далъ цѣломудренно первый любви поцѣлуй; и другъ другомъ
Долго въ блаженствѣ нѣмомъ любовались они..

Этихъ строкъ нѣтъ въ поэмѣ Рюккерта.

Подобныя же измѣненія—пропускъ нѣкоторыхъ подробностей, встрѣчающихся у Рюккерта, и вставка нѣсколькихъ чертъ, которыхъ тамъ нѣтъ, — замѣтны и въ слѣдующемъ описаніи восточной природы (въ главѣ IV):

Чудомъ спасенная, снова пошла Дамаянти пустыннымъ
Лѣсомъ впередъ, и чѣмъ далѣе шла, тѣмъ мрачнѣй становился
Лѣсъ; деревья сплетались вѣтвями; мошки густою
Тучей клубяся, жужжали; рычали львы, и ужасный
Въ хворостѣ шорохъ отъ тигровъ, буйволовъ, рысей, медвѣдей
Слышался ей; нигдѣ дороги не было; всюду
Падшія гнили деревья; межъ трупами ихъ пробивались
Дикія травы, въ которыхъ шипя ворочались змѣи;
Въ правѣ и въ лѣвѣ, въ кустахъ и вершинахъ деревь раздавались
Крики орловъ плотоядныхъ, и хлопали крыльями совы.
Лѣсъ наконецъ уперся въ высокую гору, гдѣ жили
Съ давнихъ лѣтъ великаны и карлы, которой вершина
Въ небо вдвигалась, а темное чрево хранилищемъ рѣдкихъ

Камней было. Тамъ чудно скалы на скалы громоздились;
 Били живымъ серебромъ по бокамъ ихъ ключи; водопады
 Мчались, свергали, кипѣли, ревѣли межъ скалъ; неподвижно
 Черная тѣнь лежала въ долинахъ, и ярко блистали
 Голые камни вершинъ; въ бездонно глубокихъ пещерахъ
 Грозно тапились драконы и грифы....

Особенно замѣчательна прибавка въ концѣ VIII главы. Тутъ рассказываетя о томъ, какъ царь Ритупернъ передалъ Налю могущество счета и тайну играть въ кости. Лишь только Ритупернъ вымолвилъ свое слово, какъ у Наля открылись очи, и онъ разомъ могъ перечестъ всѣ вѣтви, плоды и листья дерева Вибитаки. Въ то время, когда онъ ощутилъ въ себѣ новую силу, сокрытый дотолѣ въ сердцѣ его *искуситель*, злой духъ Кали, исторгся оттуда дымомъ и обхватилъ мглою своею дерево Вибитаку, которое мигомъ засохло. Здѣсь именно Жуковский прибавилъ:

. При первомъ
 Чувствѣ свободы Наль обезпамятѣлъ; скоро однако
 Онъ очнулся, и видя лицомъ къ лицу предъ собою
 Злого врага своего, хотѣлъ проклясть *нечестивца*;
 Но Кали возопилъ, поднявши руки смиренно:
 „Наль, воздержися отъ клятвы, уже довольно наказанъ
 Былъ я проклятемъ, въ минуту страданья твоею женою
 Противъ меня изреченнымъ (хотя и былъ ей невѣдомъ
 Общій вашъ врагъ). Съ тѣхъ поръ я, замкнутый въ тебѣ, какъ
 въ темницѣ,
 Столь же былъ горемъ богатъ, сколь ты былъ радостью бѣденъ.
 Мучимый ядомъ царя Змѣйнаго, денно и ночью
 Самъ я себя проклиналъ. Пощади же меня, благодушный
 Наль, я отнынѣ безсиленъ; отнынѣ каждый, кто повѣсть
 Бѣдственной жизни твоей прочитаетъ, тебя прославляя,
 Будетъ отъ козней моихъ огражденъ и власти подобныхъ
 Миѣ зловредныхъ духовъ недоступенъ“. Смягченный молящимъ
 Словомъ врага побѣжденнаго, Наль воздержался отъ клятвы.

Отчего Жуковский прибавилъ всѣ эти строки? Отчего онъ примѣнилъ названія: *искуситель* и *нечестивецъ*, взятые изъ христіанской терминологіи, къ индѣйскому злему духу Кали? Можно

догадываться, что это случилось подъ влияніемъ тѣхъ идей объ искушеніяхъ и объ испытаніяхъ земной жизни, которыя были въ большомъ ходу въ піэтистическихъ кружкахъ дюссельдорфскихъ, и слѣдовательно, въ домѣ Жуковскаго. Съ другой стороны, не мало способствовали къ такому направленію мыслей поэта частыя за границею свиданія Жуковскаго съ Гоголемъ, который, безотчетно предаваясь въ Римѣ религиознымъ впечатлѣніямъ латинскаго церковнослуженія въ изящныхъ храмахъ, въ чудесномъ климатѣ и въ состояніи соблазнительнаго *faciente*, не имѣлъ еще достаточно опредѣленныхъ понятій о степени уклоненій, отдѣляющихъ римскую церковь отъ восточной. Ему, какъ и многимъ другимъ русскимъ, казалось, что между православнымъ и латинскимъ вѣроисповѣданіями почти нѣтъ различій, такъ что въ одномъ письмѣ къ матери изъ Рима въ 1837 г. онъ доказывалъ, «что совершенно нѣтъ надобности перемѣнять одну (религію) на другую» ¹⁾. И другіе русскіе находили, что усвоеніе выраженій и понятій католическихъ не нарушаетъ чистоты ихъ православія, и потомъ мучились совѣстью, понявъ свое заблужденіе. Въ процессѣ переработки мыслей оба друга, Гоголь и Жуковский, сначала шли рука объ руку. Въ сентябрѣ 1841 г., они видѣлись во Франкфуртѣ. На зиму Гоголь поѣхалъ въ Москву и оттуда въ маѣ 1842 года писалъ къ Жуковскому: «Если вы смущаетесь чѣмъ-нибудь, и что-нибудь земное и преходящее васъ беспокоитъ, то будьте отнынѣ тверды и свѣтлы вѣрою въ грядущее» ²⁾. Въ іюнѣ Гоголь опять пишетъ къ нему: «Напишите мнѣ, когда придется вамъ особенная и сильная потребность видѣть меня... Будьте свѣтлы, ибо свѣтло грядущее, и чѣмъ темнѣй и помрачается на мгновеніе небосклонъ нашъ, тѣмъ радостнѣй долженъ быть взоръ нашъ, ибо потемнѣвшій небосклонъ есть вѣстникъ свѣтлаго и торжественнаго проясненія» ³⁾. Этими словами Гоголь,

¹⁾ Сочиненія и письма Гоголя, изд. П. Кулиша, т. V, стр. 296.

²⁾ Тамъ же, стр. 472.

³⁾ Тамъ же, стр. 450—481.

повидимому, намекалъ на какія-то тревоги, волновавшія Жуковского. Въ іюлѣ 1842 года, Гоголь пишетъ къ нему: «Грѣховъ, указанья грѣховъ желаетъ и жаждетъ теперь душа моя! Если бы вы знали, какой теперь праздникъ совершается внутри меня, когда открываю въ себѣ пороки, дотогѣ не примѣченный мною! Лучшаго подарка никто не можетъ принести мнѣ. Итакъ, во имя всего драгоцѣннаго и святаго, не откладывайте до другого времени и напишите теперь же, такъ какъ вы сказали все, что на душѣ и сердцѣ у васъ» ¹⁾. Въ эту именно пору Жуковский писалъ стихи, выше нами приведенные изъ «Наля».

На дорогѣ въ Эмсъ, гдѣ Жуковскому съ женою назначено было пробыть три недѣли, онъ встрѣтился съ Гоголемъ, который и проводилъ ихъ туда. Изъ Рима, гдѣ Гоголь провелъ зиму 1842—43 года, онъ пишетъ опять къ Жуковскому: «Гдѣ хотите провести лѣто? Увѣдомьте меня объ этомъ, чтобъ я могъ найти васъ и не разминуться съ вами, мнѣ теперь нужно съ вами увидѣться: душа моя требуетъ этого» ²⁾. Не получивъ отвѣта на эту просьбу, Гоголь въ мартѣ 1843 года повторяетъ: «Желаніе васъ видѣть стало во мнѣ теперь еще сильнѣе» ³⁾. Наконецъ, ему удалось поселиться въ Дюссельдорфѣ и провести осень и часть зимы 1843 года съ Жуковскимъ ⁴⁾. Изъ многихъ писемъ Гоголя видно, какъ сильно занимали его религіозные вопросы. И притомъ онъ не довольствовался тѣмъ, что самъ питалъ въ себѣ религіозное направленіе; онъ хотѣлъ сообщить его и другимъ. Около этого времени онъ поручаетъ С. П. Шевыреву купить четыре экземпляра «Подражанія Христу» Омы Кемпійскаго, одинъ для себя, а другіе—для М. П. Погодина, С. Т. Аксакова и Н. М. Языкова ⁵⁾. Живописцу, А. А. Иванову, онъ пишетъ: «Вы еще далеко не христіанинъ, хотя и за-

¹⁾ Тамъ же, стр. 481.

²⁾ Тамъ же, стр. 498.

³⁾ Тамъ же, т. VI, стр. 6.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 11.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 44.

мыслили картину на прославление Христа и христианства» ¹⁾. Одной дамъ онъ совѣтуетъ читать «*Élévation sur les mystères de la religion chrétienne*» и «*Traité de la concupiscence*» Боссюэ-та ²⁾ и т. п. Близость такого тревожно настроеннаго, самимъ собою недовольнаго человѣка, не могла не имѣть вліянія на душу Жуковскаго, въ которомъ сношенія съ дюссельдорфскими кружками и безъ того уже возбудили желаніе сдѣлать провѣрку своимъ религіознымъ убѣжденіямъ. Притомъ же жена Жуковскаго опять захворала разстройствомъ нервовъ и для леченія поѣхала въ Эмсъ. Вотъ стеченіе тѣхъ обстоятельствъ, которыя стали тревожить ясную душу Жуковскаго.

IV.

Несмотря однакоже на все это, другъ нашъ не переставалъ съ отцовскою нѣжностью заботиться объ участи дочерей своей покойной племянницы Александры Андреевны Воейковой:

„Хоть я и перевожу Гомерову «Одиссею»,—писалъ онъ ко мнѣ въ ноябрѣ 1843 г. ³⁾—но не понялъ ничего изъ тѣхъ каракулекъ, которыя ты

¹⁾ Тамъ же, стр. 55—56.

²⁾ Тамъ же, стр. 58.

³⁾ Это было въ отвѣтъ на сдѣланное ему черезъ меня предложеніе Екатерины Аванасьевны Протасовой взять къ себѣ ея внучку, сироту Марію Александровну Воейкову. Сообщу здѣсь письмо почтенной Екатерины Аванасьевны, писанное еще въ маѣ 1843 года: „Милый добрый другъ, Карлъ Карловичъ! Я очень была больна, и отъ того тебѣ такъ долго не отвѣчала на истинно дружеское твое письмо. Ты понялъ одинъ мое положеніе. Мнѣ 73 года, стою точно на краю гроба, а еще я всегда была слабого характера, а теперь еще и очень робка стала. Какъ на меня прикрикнуть, такъ я, чтобы споконить другихъ, всё свои права уступаю. И какой я могу быть путеводительницей для бѣдной моей Маши? Какъ же мнѣ рѣшиться заключить ее въ глухомъ нашемъ краю, Бунинѣ, съ этимъ... блестящимъ воспитаніемъ институтскимъ? Я тебѣ, какъ истинному другу моему и ихъ матери, говорю. Тѣхъ двухъ, Катю и Сашу, я думаю, если Богъ поможетъ мнѣ, отдать къ Аннѣ Петровнѣ Зонтагъ. Катя теперь у нея въ Одессѣ, жду ихъ въ будущемъ мѣсяцѣ. А—ей мой такъ глупъ, такъ грубъ, что точно крушить меня, ни на что не способенъ, и съ нимъ ничего не сдѣлаешь. Пусть моя бѣдная Катя (Мойеръ) по долгу своему въ затворницахъ живетъ одна.

написалъ въ началѣ письма твоего во имя Гиппократъ. За то очень хорошо понималъ твое письмо и благодарю за него. Ты все тотъ же вѣрный другъ живымъ и мертвымъ, какимъ былъ въ старыя годы: это похвально. Идею твою—положить весь капиталъ Маши Воейковой въ комиссію погашенія долговъ, весьма одобряю и прошу это сдѣлать немедленно. Нѣтъ нужды, что цѣна билетамъ высока, покупай смѣло, дѣло вѣрнѣе. Если ты и капиталъ Саши Воейковой также въ комиссію погашенія долговъ упряталъ, то весьма хорошее дѣло сдѣлалъ. Это ихъ единственное достояніе. При семъ прилагаю роспись капитала Маши Воейковой. Она выходитъ въ будущемъ мартѣ или апрѣлѣ изъ института; если ея почтенный дядюшка ей что-нибудь назначилъ на экипировку (въ чемъ я сомнѣваюсь), то это хорошо; если же нѣтъ, то надобно будетъ взять изъ капитала нужныя деньги. Прости. Обними жену и дѣтей, поклонись моему столу. Моя жена вамъ всѣмъ дружески кланяется“.

Заботясь объ участи меньшей сироты, могъ ли Жуковский думать, что внезапная смерть старшей ея сестры вскорѣ поразить его и все семейство этой милой, любезной дѣвушки! Она отправилась изъ Орла въ Петербургъ за младшею сестрою, заболѣла въ Москвѣ скарлатиной и умерла 28-го января 1844 г., въ домѣ Авдотьи Петровны Елагиной. Вотъ что пишетъ Жуковский по этому поводу изъ Дюссельдорфа, отъ 5-го марта (22-го февраля) 1844 г., къ своей постоянной утѣшительницѣ въ гостяхъ—Елагиной:

„Вчера получилъ ваше письмо, милая Авдотья Петровна; оно наполнило душу умилениемъ и перенесло на минуту въ святое мѣсто, гдѣ ей представилось лучшее, что на землѣ совершается: разставаніе чистой души съ здѣшнейю жизнію. Милая Катя! Итакъ, она теперь съ своею матерью! А вамъ Богъ даровалъ снарядить ее въ эту благословенную дорогу. Бывало, она въ вашей семьѣ веселилась, какъ ребенокъ; теперь, окруженная тѣми же товарищами веселыхъ часовъ, перешла съ ребяческою ясностію въ лучшую жизнь. И какъ это меня тронуло, что она въ послѣднюю минуту встала, вздрогнула и пала мертвою въ руки вашей Маши! Милая Мама, какъ

Итакъ, мой другъ, вотъ чего бы мнѣ хотѣлось: напиши ты отъ себя, чтобы Жуковский взялъ къ себѣ Машу. Жена его, мнѣ кажется, могла бы дать ей, покуда она ничего не видала, такое направленіе, какое прямо ведетъ къ счастью семейному. Я—что кто ни толкуй—люблю нѣмочь, люблю ихъ занятія. Сама не хочу просить объ этомъ, а ты, какъ общій другъ, посоветуй, а о моемъ письмѣ и не говори никому. Я тебѣ, какъ истинному другу, все, что на душѣ, сказала. Прощай, другъ мой; люби твою *Екатерину Протасову*“.

это было ей особенно прилично! Она заснула на добромъ ея сердцѣ. Милая Катя! Какъ жалѣть о ней? Въ христіанскомъ смыслѣ (а какой иной можетъ быть истиннымъ?) смерть есть высочайшее событіе жизни. Но и во всякомъ другомъ сожалѣніе о самомъ умершемъ, то-есть, о томъ, что онъ умеръ, какъ-то неестественно. Все равно, что сказать бы, глядя на спящаго: бѣдный, какъ онъ спокойно спитъ! Но какъ жаль себя! Ужъ никогда не увидѣть ее! Еще милое вырвалось, исчезло изъ жизни, и мѣста его уже никто не займетъ. И женѣ моей никогда не знавать ужъ этого добраго созданія. А бабушка ея, а Саша, а Маша! Примутъ ли онѣ это бѣдствіе въ настоящемъ высококомъ его смыслѣ? Дѣло не въ томъ, чтобы не горевать и не плакать: бѣда тому, у кого нѣтъ ни слезъ, ни горя! Но дѣло въ томъ, какъ горевать и плакать! Я писалъ къ Сашѣ; здѣсь прилагаю письмо къ Екатеринѣ Аванасевнѣ, которое прошу переслать немедленно. Надѣюсь однако, что вы не оставите меня безъ писемъ: страшно за васъ и за нихъ, и негерпѣніе мучить узнать, что съ вами дѣлается. Пока вы всѣ за нею ходили, Богъ давалъ силы; но теперь, когда все кончилось, когда ея мѣсто опустѣло въ домѣ, что съ вами? Ради Бога напишите или велите написать. Теперь уже не до лѣни. Я же въ совершенной неизвѣстности обо всемъ до сихъ поръ случившемся. Узнаю объ отъѣздѣ Саши—со стороны, о переселеніи Кати къ Аннѣ Петровнѣ—поздно; но какъ это случилось, что произвело эти перемены—не знаю. Что должна теперь дѣлать Саша? Поѣдетъ ли съ Машею къ бабушкѣ, или останется въ Петербургѣ? За нѣсколько дней до вашего письма я получилъ отъ Екатерины Аванасевны письмо, въ которомъ она говоритъ объ отъѣздѣ Кати къ Аннѣ Петровнѣ и радуется этому. А Катя Мойеръ пишетъ ко мнѣ милое письмо, въ которомъ слышится ея мать со всею смиренною, высокою и полною ея душою: о себѣ она не думаетъ, ей хорошо, она естественно предается своей однообразной жизни, даже не видитъ въ ней скуки и довольна тѣмъ участкомъ дѣятельности, который на ней лежитъ; но она боится за Машу, боится, что она не вынесетъ ихъ пустынной жизни. Кажется, что для Кати воспитаніе жизни было не даромъ. Сохрани Богъ только ее теперь, чтобы теперешняя потеря не сбила съ ногъ ея бодрости!“

Въ тотъ самый день Жуковскій писалъ и ко мнѣ:

„У тебя на роду написано вступаться во всѣ важныя дѣла нашего семейства. И теперь, въ минуту горькой потери, прибѣгаю къ тебѣ. Ты уже знаешь о нашемъ несчастіи. Катя Воейкова умерла въ Москвѣ въ ту минуту, когда готовилась ѣхать въ Петербургъ за Машею. О ней не жалѣю; у Бога ей лучше, тамъ же и мать. Но жаль за себя, что уже не увижу ее въ здѣшнемъ свѣтѣ. О ней намъ теперь заботиться нечего. Но есть забота о живыхъ, о Сашѣ и Машѣ. Еслибъ я былъ въ Петербургѣ, то прибѣгнулъ бы къ твоей помощи, а издали не могу ни на кого этой заботы возложить,

кромѣ тебя. Вотъ въ чемъ дѣло: послѣ Кати осталось 40.000 капиталу. Изъ приложенной записки увидишь, гдѣ положены эти деньги. Капиталъ этотъ составленъ мною; но я, заботясь о живой Катѣ, не думалъ о ея смерти. Теперь по закону наслѣдникъ ея Андрей: сестры при братѣ не наслѣдницы. Но этого совсѣмъ не было въ моемъ намѣреніи. Андрей имѣетъ недвижимое имѣніе, доставшееся ему послѣ матери; съ него довольно. У сестеръ только и есть, что тѣ деньги, которыя имъ достались отъ меня; и я не хочу, чтобъ онѣ доставались Андрею. Надобно это устроить прочнымъ образомъ такъ, чтобы ни теперъ, ни послѣ не было никакого затрудненія въ полученіи наслѣдства сестрамъ, за исключеніемъ брата. Вотъ что я придумалъ: написать письмо къ Андрею (копію при семъ прилагаю), вслѣдствіе котораго онъ долженъ дать письменное отреченіе отъ права на наслѣдство денегъ, принадлежащихъ сестрамъ его. Прилагаю проектъ отреченія, которое онъ долженъ дать отъ себя. Онъ совершеннолѣтній и можетъ теперъ дать это отреченіе безъ всякаго затрудненія¹⁾.

V.

Обремененному всѣми такими житейскими заботами, Жуковскому случилось испытать, нѣсколько мѣсяцевъ спустя, еще новое горе, жестоко его поразившее. Это была кончина великой княгини Александры Николаевны, которой не далѣе, какъ въ предшествовавшемъ году, онъ посвятилъ «послѣдній цвѣтъ своей обвечерѣвшей жизни». Какъ человѣкъ, поставленный въ близкія отношенія къ царскому семейству, онъ искренно участвовалъ въ скорби родителей. Въ прекрасномъ письмѣ къ императрицѣ Александрѣ Федоровнѣ онъ предлагаетъ нѣсколько словъ религіознаго утѣшенія. Читая это письмо, какъ-бы слушаешь краснорѣчивѣйшаго проповѣдника²⁾. Наконецъ, въ то же время и домашнія заботы стали еще болѣе обременять Жуковского. Жена его часъ отъ часу упадала тѣ-

¹⁾ Хотя оставшіяся въ живыхъ сестры исполнили желаніе Жуковского, написавъ завѣщанія одна въ пользу другой, но капиталъ покойной Екатерины Александровны, который Жуковскій хотѣлъ раздѣлить поровну между ними, не достался въ ихъ руки, вслѣдствіе противодѣйствія одного изъ родственниковъ. Дѣло это затнулось слишкомъ на три года, надѣлавъ много горя Жуковскому, но оно хорошо характеризовало его любящую, заботливую душу.

²⁾ Соч., т. VI, стр. 44.

ломъ и духомъ. Онъ рѣшился оставить Дюссельдорфъ и переселиться во Франкфуртъ-на-Майнѣ. Двухмѣсячные хлопоты по устройству новоселья немного развлекли мрачныя мысли поэта, но помѣшали ему заниматься своимъ любезнымъ Гомеромъ. Въ сентябрѣ Гоголь хотѣлъ «засѣсть съ нимъ во Франкфуртѣ солиднымъ образомъ, за работу» ¹⁾. Изъ записки, въ которой Жуковский означилъ ходъ своей работы надъ переводомъ «Одиссеи», видно, что до 1-го октября 1841 г. имъ было переведено восемь пѣсень. Съ этого дня онъ началъ IX-ю, а съ 14-го октября по 26-е ноября кончилъ X-ю и XI-ю пѣсни. Три недѣли онъ не занимался этимъ трудомъ; но послѣ этого опять принялся за «Одиссею» и «въ девять дней отмахнулъ XII-ю пѣснь». Кажется, что перемѣна воздуха и общества благоприятно подѣйствовала на нашего поэта. Въ началѣ декабря въ три дня онъ написалъ «Двѣ повѣсти», которыя и прислалъ въ подарокъ на новый 1845 годъ Ивану Васильевичу Кирѣевскому, узнавъ, что въ его руки перешла редакція «Москвитянина». Изъ вступленія къ этимъ повѣстямъ видно, что онъ въ довольно веселомъ настроеніи духа «отмахнулъ» и эти повѣсти:

Меня взяла охота подарить
Тебя и твой журналъ на новый годъ
Своимъ добромъ, чтобъ старости своей
По старому хотя на мигъ одинъ
Дать съ молодостью вашей разгуляться.
Но чувствую, что на пиру ея,
Гдѣ все кипитъ, поетъ, кружится, блещетъ,
Неловко старику; на вашъ ужъ ладъ
Мнѣ не поется; лѣта измѣнили
Мою поэзію; она теперь,
Какъ я, состарѣлась и присмирѣла,
Не увлекается хмельнымъ восторгомъ;
У рубежа вечерней жизни сидя,
На прошлое безъ грусти обращаетъ
Глаза, и думая о томъ, что насъ
Въ грядущемъ ждетъ,—молчитъ ²⁾.

¹⁾ Сочиненія и письма Гоголя, т. VI, стр. 95.

²⁾ Соч., т. III, стр. 387.

Первая повѣсть есть преданіе объ Александрѣ Македонскомъ, заимствованное нѣмецкимъ писателемъ Шамиссо изъ «Талмуда». Основная мысль ея та, что предѣломъ ненасытности царей-завоевателей служить—могила. Вторая повѣсть, передѣланная изъ Рюккертъ, заключаетъ въ себѣ слѣдующее нравоученіе, выраженное отъ имени главнаго дѣйствующаго въ ней лица:

. Наша жизнь есть странствіе по свѣту,
 Такое жъ, какъ мое, во исполненъе
 Верховной воли высшаго царя.

Въ этой аллегорической притчѣ Жуковскій опять вноситъ свои христіанскіе взгляды въ браминское вѣроученіе. Онъ говоритъ:

Гонящійся за путникомъ верблюдь
 Есть врагъ души, тревогъ создатель, *грѣхъ* ¹⁾, и т. д.

—между тѣмъ, какъ въ оригиналѣ верблюду, озлившемуся на путника, дано значеніе тревоги и житейскаго горя. Въ заключеніи повѣстей Жуковскій совѣтуетъ Кирѣевскому воспользоваться ихъ трезвымъ, нравоучительнымъ смысломъ:

. Будь въ своемъ журналѣ
 Другъ твердый, а не злой наѣздникъ правды;
 Съ журналами другими не воюй—
 Ни съ „Библиотекой для Чтенія“, ни
 Съ „Записками“, ни съ „Сѣверной Пчелою“,
 Ни съ „Русскимъ Вѣстникомъ“; живи и живи
 Давай другимъ; и обладать одинъ
 Вселенною читателей не мысли!

Гоголь хотя и жилъ все это время съ Жуковскимъ, но все-таки, по собственному его сознанію, чувствовалъ себя одинокимъ и боялся, что ему придется «схандрить и приуныть духомъ въ начинающіеся зимніе дни». Онъ доставалъ себѣ множество духовныхъ книгъ и разсуждалъ въ своихъ письмахъ къ друзьямъ о духовныхъ и литературныхъ предметахъ,—и всегда съ нѣкоторою раздражительностью. По случаю 1-го января

¹⁾ Тамъ же, стр. 395.

1845 г., онъ пишетъ, кажется, изъ своей комнаты возлѣ Жуковскаго, поздравительное письмо къ послѣднему ¹⁾ и говоритъ тамъ между прочимъ слѣдующее:

„Отъ души поздравляю васъ и подношу вамъ лучший подарокъ, какой только могъ придумать. Для меня изъ всѣхъ подарковъ лучший есть упрекъ, а потому дарю и васъ упрекомъ. Вы уже догадаетесь, что упрекъ будетъ за излишнее приниманіе къ сердцу всѣхъ мелочей и даже самыхъ малѣйшихъ неприятностей, въ соединеніи съ безпокойствомъ и раздражительною боязнью духа. Вы сами себѣ дѣлаете этотъ упрекъ; но это еще не все. Вы должны вспомнить, что съ васъ этотъ грѣхъ взывается строже, чѣмъ со всякаго другого. Рассмотрите сами. Вы такъ награждены Богомъ, какъ ни одинъ человѣкъ еще не награжденъ. На вечерѣ дней вашихъ вы узнали такое счастье, какое другому и въ цвѣтущій полдень его жизни рѣдко достается. Богъ послалъ вамъ ангела въ видѣ любящей васъ чистою ангельскою любовью супруги; Онъ же внушилъ вамъ мысль заняться великимъ дѣломъ творческимъ, надъ которымъ яснѣетъ духъ вашъ, и обновляются ежеминутно душевныя силы; Онъ же показалъ надъ вами чудо, какое едва ли когда доселѣ случалось въ мірѣ: возростаніе генія и восходящую, съ каждымъ стихомъ и созданиемъ, его силу въ такой періодъ жизни, когда въ другомъ поэтѣ все это охладѣваетъ и мерзнетъ... И при всемъ этомъ вы не можете переносить и малѣйшихъ противоположностей и лишений, тогда какъ получивши столько залоговъ и милостей, можно бы, кажется, встрѣтить не трепетно и большія неприятности, не только малыя! Молю васъ, подумайте объ этомъ нынѣ, въ предстоящихъ вамъ теперь обстоятельствахъ, по поводу приближающихся родовъ Елизаветы Алексѣевны и всего, что съ этимъ связано. Я знаю, что ея нѣжное сердце смущается еще болѣе при мысли, что и вы страждете“, и проч.

Эти слова бросаютъ свѣтъ на душевное расположеніе Жуковскаго и какъ бы на внутреннюю жизнь его семейнаго міра. Гоголь правъ въ томъ дружескомъ упрекѣ, который онъ дѣлаетъ почтенному старику; но средство, которое онъ предлагаетъ для успокоенія души Жуковскаго, нѣсколько странно: «Молю васъ и прошу васъ», пишетъ Гоголь, «во всякую минуту душевнаго безпокойства подойти прежде къ столу, и взять въ руки это письмо.... и прочитать его; а прочитавши его, не дѣлайте никого свидѣтелемъ изліяній досады или огорченій, не сообщайте никому тревожныхъ безпокойствъ вашихъ, но обра-

¹⁾ Соч. Гоголя, т. VI, стр. 155—157.

титесь съ ними прямо къ одному Богу, Его одного изберите... повѣренными вашихъ безпокойствъ, жалуйтесь передъ Нимъ, лейте слезы передъ Нимъ, просите съ тѣмъ вмѣстѣ прощенія у Него за неблагодарность, за малодушіе; просите о ниспосланиі силъ исправить въ себѣ то и другое и побѣдить ихъ, и—вы ихъ побѣдите». Такой совѣтъ, быть можетъ, хорошъ для другихъ, но для Жуковскаго не годился и могъ только усугубить душевныя тревоги его самого и его подруги. На этотъ разъ больной сталъ лечить больного!

Гоголь самъ предавался чрезвычайной хандрѣ; тревожное нервическое безпокойство и разные признаки общаго разстройства его организма стали до того сильны, что докторъ Коппъ посовѣтовалъ ему сдѣлать небольшое путешествіе—настоящее средство для такихъ больныхъ, которые только разстроивали другъ друга взаимными религіозными утѣшеніями. Въ началѣ января 1845 года Гоголь поѣхалъ въ Парижъ; здѣсь въ скоромъ времени онъ получилъ извѣстіе о рожденіи сына у Жуковскаго. Въ отвѣтъ на это увѣдомленіе Гоголь поспѣшилъ подать счастливому отцу совѣтъ—молить у Бога о ниспосланиі силъ быть ему благодарнымъ ¹⁾. Но радостное семейное событіе и безъ того наполняло душу Жуковскаго умиленіемъ и теплымъ религіознымъ чувствомъ. Жуковскій и безъ того былъ благодаренъ! Онъ говорилъ о своемъ счастіи во всѣхъ письмахъ. «Я поручилъ Сапѣ Воейковой,—пишетъ онъ мнѣ, отъ ⁷/₁₉ февраля,—увѣдомить тебя о рожденіи сына моего Павла».

„Благодарю тебя за братское, дружеское поздравленіе,—писалъ онъ въ это время ко мнѣ;—правда твоя, сынъ есть продолженіе жизни отца, и глядя на колыбель сына, не съ такими мрачными глазами глядишь на свой гробъ. Но это болѣе идеи суетныя, мірскія; что намъ до продолженія нашего настоящаго бытія въ здѣшнемъ свѣтѣ! Въ дѣтяхъ видимъ мы для насъ нѣчто высшее: собственныхъ товарищей на жизнь вѣчную, новыя души, отъ насъ исходяція, нами образуемая, для общей намъ будущей жизни. Это не исключаетъ счастья здѣшней жизни, но даетъ этому счастію высшій, неизмѣнный характеръ. Помози мнѣ Богъ дать дѣтямъ, или, лучше сказать: приготовить дѣтей моихъ къ такому счастію. Пускай научатся желать его;

¹⁾ Соч. Гоголя, т. VI, стр. 165.

а дать его имъ Богъ! Обнимаю тебя и твоихъ. Надобно тебѣ знать, что я на всякій случай сдѣлалъ свою духовную; въ ней ты назначенъ вмѣстѣ съ моимъ здѣшнимъ пріятелемъ Радовицемъ—моимъ душеприкащикомъ¹⁾.

Въ то же самое время (въ февралѣ 1845 года) въ письмѣ къ Александрѣ Осиповнѣ Смирновой, Жуковский излагалъ мысли свои о вѣрѣ, и въ этихъ мысляхъ слышится отголосокъ Крумахерова ученія о предопредѣленіи Божиемъ, которое было въ большомъ уваженіи у послѣдователей піэтизма. Впрочемъ, Жуковский не вполне предался этому ученію.

„Видя, какъ все земное, наиболѣе намъ драгоцѣнное, не вѣрно, — писать онъ,—какъ всякое счастье можетъ вдругъ для насъ исчезнуть и обратиться въ бѣдствіе, будучи теперь самъ отцемъ семейства и узнавъ на опытѣ, какъ тяжелы тревоги за нашихъ милыхъ, тревоги, которымъ бы никогда не надлежало имѣть мѣсто въ душѣ христіанина, я глубоко *чувствую* (нѣтъ, не *чувствую*, а *понимаю*, ибо до благодати чувства еще сердце не возвысилось) все великое благо христіанства!.. Въ *знаніе* и *убѣжденіе* не влилась еще мирная жизнь *въры*. Но это сокровище легко не находится и даромъ не дается. Немного избранныхъ, которые достаютъ его изъ глубины души своей, какъ кладъ, въ нее вложенный Богомъ. Моя жизнь пролетѣла на крыльяхъ легкой беззаботности, рука въ руку съ призракомъ поэзіи, которая насъ часто гибельнымъ образомъ обманываетъ насчетъ насъ самихъ, и часто, часто мы ея свѣтлую радугу, привидѣніе ничтожное и быстро исчезающее, принимаемъ за твердый мостъ, ведущій съ земли на небо. Подъ старость я не разсорился съ поэзіей, но не въ ней правда: она только земная, блестящая риза правды. Семейная жизнь, понимаемая въ ея полномъ смыслѣ, есть та школа, въ которой настоящимъ образомъ научишься жизни, но не радостями беззаботными, не поэтическими мечтами, а болѣе тревогами, страхами, ссорами съ самимъ собою, ведущими отъ раздраженія души къ *терпѣнію*, отъ терпѣнія къ *въры*, отъ вѣры къ сердечному *миру*, и все это наконецъ сливается въ одно, любовь безмятежную, а ея имя—Богъ-Спаситель“.

Такимъ образомъ, Жуковский даетъ значеніе *исправленія* или *испытанія* тому счастью, къ которому онъ стремился, и которое казалось ему причиною всѣхъ его заботъ и безпокойствъ. Но этимъ искуснымъ поворотомъ мысли Жуковский не избавляетъ себя однако отъ настоящей или воображаемой бѣды:

¹⁾ Послѣ кончины Жуковскаго, найдено въ его письменномъ столѣ письмо ко мнѣ, отъ 31-го декабря 1847 г., съ собственноручнымъ извлеченіемъ изъ духовнаго завѣщанія.

„Промыселъ Божій опредѣлилъ мнѣ послать средство исправленія. Онъ надѣлъ на мою беззаботную жизнь, сохранившую до старости дѣтскую безпечность, вѣнецъ семейнаго счастья, и это счастье досталось мнѣ именно такое, какого я желалъ во снѣ и на яву; но вѣнецъ этотъ есть вѣнецъ божественный; слѣдственно, въ него должны быть необходимо вилетены терны изъ этого вѣнца, передъ которымъ всѣ другіе земные вѣнцы исчезаютъ... Я отданъ въ ученіе терпѣнью; сначала было весьма трудно и отъ непривычки неловко; теперь уроки становятся яснѣе, а строгій учитель имѣетъ въ суровыхъ чертахъ своихъ что-то отеческое, всеяющее довѣренность!“¹⁾

Жуковскому совѣтовали въ то время возвратиться съ семействомъ на родину; онъ согласился-было, обрадовался мысли быть опять вмѣстѣ *со своими*, и тотчасъ же, въ іюнѣ 1845 года, прислалъ мнѣ довѣренность для того, чтобы получить, по приложенному реестру, вещи его, хранившіяся въ Мраморномъ дворцѣ. Но вышло иначе: онъ остался во Франкфуртѣ, гдѣ, какъ и въ Дюссельдорфѣ, домъ его сдѣлался средоточіемъ всѣхъ людей, отличавшихся умомъ и образованностію, и гдѣ часто навѣщали его русскіе путешественники. Жуковский жилъ открыто, даже роскошно, и это не очень правилось нѣкоторымъ членамъ семейнаго круга; но другъ нашъ имѣлъ на то свои причины и слушался совѣтовъ своего домашняго врача. Комнаты его двухэтажнаго дома, согрѣтыя русскими печами, были наполнены мебелью и книжными шкапами и украшены бюстами царскаго семейства, антиками и картинами. Онъ держалъ экипажъ и заботился о туалетѣ своей жены. Къ сожалѣнію, за исключеніемъ графини Сидовъ, намъ неизвѣстны фамиліи тѣхъ лицъ, которыя составляли постоянный кругъ ихъ знакомства. Кромѣ того, со многими особами Василій Андреевичъ велъ дѣятельную переписку²⁾.

¹⁾ Соч. т. VI, стр. 532. Письмо къ А. О. Смирновой.

²⁾ Когда будетъ издана переписка того времени, будущій біографъ увидитъ себя въ состояніи дать объ этой эпохѣ жизни Жуковскаго болѣе полную картину, нежели я, пользующійся тѣмъ, что имѣю подъ руками.

VI.

Оставшись за границею и занятый стараніями *очистить свою душу отъ всякаго немужнаго сора, чтобы въ нее могъ войти духъ Божій* ¹⁾, Жуковский прекратилъ ту работу, которую Гоголь въ своемъ поздравленіи съ новымъ (1845) годомъ назвалъ *творческимъ дѣломъ*. Начатая потомъ повѣсть изъ Шахъ-Намэ: «Русѣмъ и Зорабъ», была отложена въ сторону, а вмѣсто того, въ повѣсти: «Капитанъ Боппъ», нашъ другъ выразилъ свои понятія о христіанской молитвѣ, которыми, какъ видно изъ III-го письма къ Гоголю ²⁾, онъ усердно обмѣнивался съ нимъ. Такъ какъ эта повѣсть служить свидѣтельствомъ тѣхъ тревогъ, которыя беспокоили нашего друга въ то время, мы должны обратить на нее особенное вниманіе. Вотъ ея содержаніе:

Боппъ, капитанъ корабля, человекъ грубый и не вѣрующій въ Бога, заболѣваетъ на пути изъ Лондона въ Бостонъ. Экипажъ, надѣясь, что смерть, можетъ быть, освободить его отъ этого изверга, рѣшилъ, чтобъ онъ безпомощно кончилъ жизнь въ своей каютѣ. Уже дня четыре лежалъ онъ одинъ, и никто не смѣлъ войти къ нему. Только одинъ двѣнадцатилѣтній мальчикъ, сжалившись надъ нимъ, рѣшился время отъ времени проникать тайкомъ къ нему въ каюту и присматривать за больнымъ: то нальетъ ему питья, то умоетъ руки и лицо. Добрая заботливость ребенка поколебала духъ злого человека, и душа его смягчилась. Чувствуя приближеніе кончины, капитанъ почувялъ страхъ ада. Мальчикъ посоветовалъ ему молиться въ надеждѣ, что Богъ помилуетъ, и вотъ однажды, когда ребенокъ вошелъ въ каюту, больной, едва дыша, сказалъ ему:

Послушай, Робертъ, мнѣ пришло на умъ,
Что, можетъ быть, на кораблѣ найдется
Евангеліе; попробуй, понци!

¹⁾ Соч., т. VI, стр. 532.

²⁾ Соч., т. VI, стр. 80.

И дѣйствительно, евангеліе нашлось. Робертъ безъ выбора раскрылъ книгу и сталъ читать. Капитанъ съ жадностью слушалъ. Оставшись одинъ, онъ во всю ночь размышлялъ о томъ, что было читано. На слѣдующій день, когда опять вошелъ въ каюту Робертъ, капитанъ попросилъ мальчика помолиться за него, потому что самъ никакой молитвы не знаетъ:

Ахъ, Робертъ,
Молися за меня, стань на колѣни,
Прости, чтобъ Богъ явилъ мнѣ милосердіе;
За это Онъ тебя благословить!

Робертъ, не знавшій никакой молитвы, кромѣ «Отче нашъ», сталъ на колѣни, и сложивши руки, въ слезахъ воскликнулъ:

. . . . Господи, помилуй
Ты моего больного капитана!
Онъ хочетъ, чтобъ тебѣ я за него
Молился: я молиться не умѣю.
Умилосердись Ты надъ нимъ; онъ, бѣдный,
Бойтся, что ему погибнуть должно,—
Ты, Господи, не дай ему погибнуть!

Вечеромъ Робертъ опять читалъ капитану евангеліе. Все существо Боппа стало какъ бы перерождаться. Боппъ впалъ въ какой-то полусонъ и вдругъ увидѣлъ передъ собою, въ ногахъ постели, самого Христа Спасителя, пригвожденнаго ко кресту, и услышалъ слова его: «*Ободришь и въруй!*» Разказавъ на другое утро Роберту, что онъ видѣлъ и слышалъ въ ночи, Боппъ проситъ мальчика сказать всѣмъ другимъ на кораблѣ, что капитанъ проситъ у нихъ прощенья и будетъ за нихъ молиться:

Теперь ужъ мнѣ не страшно умереть;
Мой Искупитель живъ; мои грѣхи
Мнѣ будутъ прощены...
. Богъ явилъ
Свое мнѣ милосердіе, и теперь
Я счастливъ!

Рано на слѣдующій день Робертъ приходитъ въ каюту, но капитана нѣтъ на его постели: онъ лежалъ мертвымъ на колѣ-

няхъ въ томъ углу, гдѣ явился ему во снѣ крестъ съ Распятіемъ, и руки были сложены на молитву.

Мы часто видѣли въ жизни Жуковскаго, — чѣмъ сильнѣе какая-нибудь мечта тревожила его душу, тѣмъ ярче она олицетворялась въ его стихотвореніяхъ, а потому и въ настоящемъ случаѣ мы рѣшаемся на слѣдующее предположеніе: намъ кажется, что изображенное яркими красками безпокойство капитана Боппа указываетъ на душевное настроеніе самого автора. Человѣкъ, истинно добродѣтельный и съ дѣтства пламенно преданный вѣрѣ, на старости, подѣ піэстическимъ вліяніемъ окружавшей его среды, былъ доведенъ до душевнаго аскетизма и до такой степени поддавался-было этому ученику, что діалектическими усиліями старался доказать своимъ друзьямъ, которые упрекали его въ унылости духа, что его меланхолія не есть меланхолія, и что у христіанина «*уныніе*» образуетъ животворную скорбь, которая есть для души источникъ самобытной и побѣдоносной дѣятельности» ¹⁾. При такомъ настроеніи и при усиливающихся тѣлесныхъ недугахъ, Жуковскому становилось все душнѣ, скучнѣе и грустнѣе за границей, тѣмъ болѣе, что онъ не могъ еще дать себѣ яснаго отчета о настоящей причинѣ своей душевной скорби, о разладѣ въ его религіозныхъ понятіяхъ. Вдругъ, въ концѣ февраля 1846 года, Гоголь опять является во Франкфуртѣ, разстроенный тѣломъ и духомъ; онъ приписываетъ повѣтрію этого года то, что было, можетъ-быть, господствующимъ недугомъ въ кружкѣ друга его Жуковскаго. «Въ этомъ году, — пишетъ Гоголь къ N. F., — на всѣхъ наведено это нервическое разстройство. Приведены въ слезы, въ уныніе и въ безпокойство тѣ, которые даже никогда не плакали, не унывали, не безпокоились. Я изнурился какъ бы и тѣломъ, и духомъ, боюсь хандры. Тоска и чуть-чуть не отчаяніе овладѣваютъ мною. Лицо сдѣлалось зеленѣе мѣди, руки почернѣли, превратились въ ледъ. Помолитесь обо мнѣ, помолитесь сильно и крѣпко, чтобы воздвигнулъ Господь во мнѣ творящую силу.

¹⁾ См. статью „О меланхоліи въ жизни“: Соч., т. VI, 73.

Молитесь, другъ мой, крѣпко и крѣпко, какъ только можете помолиться, такъ молитесь о мнѣ!» ¹⁾

Можно себѣ представить, что присутствіе больного друга тоже не развеселило Жуковскаго. Къ счастью, къ нему явился А. И. Тургеневъ и немного разогналъ мрачныя тучи въ домѣ поэта. Въ апрѣлѣ нашъ другъ былъ бодръ духомъ и принялся писать кое-какія «Размышленія» ²⁾. Ему опять было предписано врачомъ ѣхать съ женою на лѣто въ Швальбахъ, куда въ іюлѣ заѣхалъ къ нему на нѣсколько дней и Гоголь. Но Жуковскому эти воды принесли мало пользы; зато по возвращеніи во Франкфуртъ, два пріятныя извѣстія изъ Россіи расшевелили его немного: одно — о помолвкѣ Екатерины Ивановны Мойеръ за сына А. П. Елагиной, Василя Алексѣевича, и другое — о пребываніи императрицы Александры Ѳеодоровны въ Германіи на пути ея въ Палермо. Онъ тотчасъ собрался съ женою и дочерью въ дорогу на встрѣчу государынѣ и ожидалъ ее въ Нюрембергѣ. Узнавъ, что она не остановится въ этомъ городѣ, и пробудетъ только нѣкоторое время въ Берлинѣ, Жуковскій отвезъ жену и дочь въ городъ Гофъ, и оставивъ ихъ тамъ, отправился въ Берлинъ. Изъ Нюремберга онъ успѣлъ, ⁴/₁₆ сентября 1845 года, написать къ Е. И. Мойеръ и В. А. Елагину поздравленіе ихъ съ помолвкой и притомъ высказалъ свои мысли о женицѣбѣ:

„Отъ всего сердца благословляю тебя, мой добрый другъ Катя,—тебя и твоего милаго (теперь мнѣ вдвое милаго) жениха на ожидающее васъ домашнее счастье. Дверь къ нему отверзается вамъ сама собою, вдругъ, неожиданно—тѣмъ лучше; это вамъ доказываетъ, что Божья рука ее открываетъ. Я понимаю вполне достоинство жизни семейной, и это мнѣ легко, потому что жена моя, высокое, чистое твореніе, на то мнѣ помощница. Богъ дастъ вамъ новую жизнь, но не жизнь, составленную изъ однѣхъ радостей и наслажденій, нѣтъ, жизнь гораздо болѣе тревожную, нежели первая, но за то и болѣе значительную, полную, глубокую, болѣе достойную

¹⁾ См. соч. Гоголя, т. III, стр. 329.

²⁾ Они помѣщены были въ Полн. собр. соч. 1849 г. т. XI, стр. 1—85; а въ изд. 1879 г., въ т. VI, они раскинуты, чего дѣлать не слѣдовало, и Жуковскій самъ напечаталъ ихъ въ тѣсной связи.

души чѣловѣческой, души христіанина. Я еще далеко, далеко отъ того, чтобы стоять на высотѣ этой жизни! Мой милый другъ, со *страхомъ* и съ *вѣрою* приступите въ отворившіяся вамъ двери, и примите *чашу*, которую вамъ отнынѣ вмѣстѣ пить назначено. Чаша брачная, смѣю сказать, вамъ также во спасеніе души, въ жизнь вѣчную: ни въ какомъ состояніи не можемъ мы такъ познакомиться съ собою и такъ почувствовать необходимость вѣры въ нашего Спасителя, какъ въ жизни семейной: здѣсь все обманчивое, мечтательное исчезаетъ. Правда простая, не украшенная, строгая, Божія правда, стоитъ передъ душой; и жизнь, сложивъ съ себя свою свѣтлую одежду, данную ей молодостію, и отбросивъ всѣ легкомысленныя, очаровательныя, но за то и быстро пролетающіе замыслы, надежды и удовольствія, приобретаетъ характеръ постоянства и неизмѣнности, несмотря на то, что сердце засмоится истинными, житейскими тревогами; ибо эти-то тревоги сердца и разрабатываютъ нашу душу; онѣ одна только могутъ ее труднымъ путемъ привести къ нашей цѣли, къ смиренію и покою вѣры. Итакъ, друзья, ждите этихъ тревогъ, но не бойтесь ихъ; а тебѣ, мой милый крестникъ, при свиданіи я отдамъ требуемый тобою крестъ, въ замѣну потеряннаго; ты во время вспомнилъ о немъ, теперь узнаешь все его значеніе. Благослови васъ Богъ, милые друзья“.

VII.

Поѣздка въ Берлинъ и соединенныя съ нею развлечения имѣли, повидимому, лучшее вліяніе на здоровье Жуковскаго, чѣмъ леченіе въ Швальбахѣ, ибо возвратясь во Франкфуртъ, онъ обращается къ Авдотѣ Петровнѣ Елагиной, $\frac{1}{13}$ ноября 1845 года, съ письмомъ, веселымъ и исполненнымъ надежды на скорое свиданіе въ Россіи:

„Вы говорите, — пишетъ онъ, — что я на нѣсколько писемъ вашихъ не отвѣчалъ—это похоже на мою фразу іезуитскую, которою я начинаю къ нѣкоторымъ письма, не писавъ къ нимъ долгое время: я увѣренъ, что вы моихъ писемъ не получили! День, выбранный для свадьбы, день вашего рожденія, будетъ хорошимъ предзнаменованіемъ, да благословитъ его Богъ, какъ нѣкогда благословилъ для васъ, вызвавъ при свѣтѣ его на землю такую милую душу, которая умѣла постигнуть все доброе и прекрасное земное и не увяла подъ вліяніемъ многихъ, многихъ непогодъ и холодовъ, и зноевъ житейскихъ. Я желаю быть посаженнымъ отцемъ Кати съ Екатериной Аванасьевной или съ вами, какъ вы это назначите. Благословляю ее образомъ Спасителя, который долженъ находится между образами Екате-

рины Аѳанасьевны, и которымъ меня благословилъ отецъ ¹⁾). Иди нѣтъ: въ эту минуту мнѣ какой-то голосъ шепчетъ, что надобно сохранить отцовское единственное благословеніе въ семьѣ моей. Прошу васъ приготовить отъ меня ей образъ, или лучше, пускай образъ мой, благословеніе отца, представляеть въ день свадьбы тотъ, который я послѣ самъ передамъ ей, и который въ ея семьѣ останется на вѣчную обо мнѣ память. Скажите, такъ ли: ангелъ Кати—Екатерина Мученица; ангелъ Василя—Василій Великій? На это отвѣчайте поскорѣе. У меня, слава Богу, все идетъ порядочно. Мой Павелъ крѣпышъ, силачъ и вообще честный, тихой малый, но не флегматикъ. Не воюеть, не кричитъ, всегда смиренъ; но когда вздумаетъ побунтовать, то у него все, носъ, уши, ноги, морда и плечи бунтуютъ. Въ Сашѣ множество прелестей и гениальности. Третьяго дня былъ у меня семейный праздникъ, и все плясало, и была стукотня непомѣрная, посреди которой не мало отличался и Павелъ Васильевичъ, пыхтя, визжа, фыреая, брыкая ногами и махая, какъ говорить Вяземскій, пузомъ отъ радости. Жена васъ цѣлуетъ. Срокъ нашего пріѣзда зависить отъ Швальбаха, которымъ и ей, и мнѣ, по волѣ доктора Коппа, надобно будетъ еще разъ воспользоваться²⁾.

Запасъ бодрости, приобретенный поѣздкою въ Берлинъ, вскорѣ, однако, былъ растроченъ. По крайней мѣрѣ, Елизавета Алексѣевна, въ письмѣ отъ ^{29-го декабря}_{10-го января} 18⁴⁵/₄₆ года, жалуется на возвратъ всѣхъ прежнихъ недуговъ Жуковского. Самъ онъ обнадеживалъ друзей скорымъ возвращеніемъ своимъ въ Россію; но жена его, поздравляя Авдотью Петровну съ помолвкою сына, какъ бы извиняется передъ Екатериной Аѳанасьевной, что они еще годъ не пріѣдутъ въ Россію, такъ какъ государь, по просьбѣ мужа, позволилъ ему остаться для окончанія «Одиссеи» за границею до мая 1846 года. Приводимъ изъ того же письма картину жизни, которую велъ тогда Жуковский:

„Les médecins nomment son état un *relâchement*,—пишетъ Елизавета Алексѣевна:—„Ils n'y voient plus un commencement de maladie, mais seulement un affaiblissement de toutes les forces... Comme il se fatigue si vite en se promenant, il se sert d'une machine qui lui procure le mouvement à cheval, et il sent que cela lui donne de l'appetit et restaure ses nerfs... ¹⁾ Les

¹⁾ Это единственное мѣсто во всемъ писанномъ Жуковскимъ, гдѣ онъ упоминаетъ о своемъ отцѣ.

²⁾ Невольно приходитъ на умъ пара, когда Жуковский пѣлъ:

Кто любитъ видѣть въ чашахъ дно,
Тотъ бодро ищетъ боя!
О, всемогущее вино, веселіе героя!

enfants l'enchantent, leur gaité le distrait d'une manière si douce. Sacha, après avoir achevé sa toilette, vient tous les matins dans le cabinet de son père, faire sa prière de même que le soir avant de se coucher. Paul ne peut pas encore se joindre à ces prières,—on prie pour lui, et le délicieux petit écoute très tranquillement, les mains jointes. Pendant la matinée les enfants jouent dans leur chambre, qui est à côté du salon, de sorte que j'entends tout ce qui se passe chez eux. Ils y ont un tapis et de petits meubles. Sacha s'occupe de ses poupées, qu'elle soigne en tout, comme elle voit faire pour son frère. Paul parcourt toute la chambre à quatre pattes, pour chercher son char ou quelque autre joujou. S'il ne pleut pas, ils se promènent toujours à midi dans notre jardin, où on est à l'abri du vent et de l'humidité. Sacha dine avec nous à 3 heures et reste tranquille et attentive à la conversation des convives. Dans l'après-dîner et la soirée nous sommes tous ensemble, et à 7 heures les petits s'endorment¹⁾.

Остается дополнить эту картину описаніемъ того, какъ во Франкфуртѣ праздновали день свадьбы Е. И. Мойеръ. Передъ нами пять писемъ объ этомъ предметѣ на разныхъ языкахъ (на русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ) къ разнымъ лицамъ въ Бунино. Правду сказать, содержаніе ихъ одно и то же; но

Онъ самъ, иллюстрируя „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ“, изображалъ себя передъ товарищами, бодрымъ, смѣлымъ, а теперь образъ поэта является намъ уже на деревянномъ конѣ, нарочно изобрѣтенномъ для моціона: бѣдный пѣвецъ!

¹⁾ Переводъ: „Врачи называютъ его состояніе разслабленіемъ; они не видятъ въ немъ начала болѣзни, но только общій упадокъ силъ... Такъ какъ онъ скоро устаетъ въ прогулкѣ, то пользуется машиною, которая замѣняетъ ему движеніе верховой ѣзды, и онъ чувствуетъ, что это возбуждаетъ въ немъ аппетитъ и восстанавливаетъ его нервы... Дѣти его очаровываютъ. Ихъ веселость развлекаетъ его такъ приятно. Каждое утро, одѣвшись, а также вечеромъ, передъ сномъ, Саша приходитъ молиться въ кабинетъ отца. Павелъ еще не можетъ присоединиться къ ея молитвѣ—за него молятся другіе, и прелестный малютокъ слушаетъ очень покойно и сложивъ ручки. Утромъ дѣти играютъ въ своей комнатѣ, которая подлѣ гостиной, такъ что я слышу все, что у нихъ дѣлается. У нихъ есть коверъ и дѣтская мебель. Саша занимается своими куклами, за которыми ухаживаетъ такъ, какъ ухаживаютъ на ея глазахъ за ея братомъ. Павелъ ползаетъ по всей комнатѣ за своею тележкой или другою какою-нибудь игрушкой. Если нѣтъ дождя, они всегда гуляютъ въ полдень въ нашемъ саду, гдѣ есть убѣжище отъ вѣтра и сырости. Саша обѣдаетъ съ нами въ три часа, сидитъ смиренно и внимательно слушаетъ разговоръ гостей. Послѣ обѣда и вечеромъ мы проводимъ время всѣ вмѣстѣ, а въ семь часовъ дѣти ложатся спать“.

это-то болѣе всего и характеризуетъ настроеніе духа въ домѣ нашего друга. Въ то время, когда — какъ думали Жуковскіе — происходило вѣнчаніе Екатерины Ивановны и Василя Алексѣевича въ Бунинской церкви, и Василій Андреевичъ, и жена его, и дѣти ихъ молились на колѣняхъ за счастье новобрачныхъ, читали тѣ мѣста изъ Св. Писанія, которыя по церковному обряду произносятся при совершеніи таинства, и послѣ того уже по-нѣмецки—то, что для благочестивыхъ католиковъ предписано читать на ¹¹/₂₃ января ¹⁾. Еще въ шесть часовъ утра въ этотъ день Жуковскій писалъ Екатеринѣ Ивановнѣ, благословляя вступленіе ея на путь супружеской жизни, «ведущій къ Спасителю прямѣе другого, потому что мы на немъ короче узнаемъ то добро, какое въ душѣ нашей есть, и то зло, какое надобно изъ ней истребить; потому что на немъ болѣе, нежели на какомъ другомъ, встрѣчаются тѣ *испытанія*, какія наиболѣе стремятъ насъ къ вѣрѣ, знакомятъ насъ съ упованіемъ на помощь свыше, учатъ смиренію, наполняютъ сердце преданностію къ волѣ Божіей». Къ этимъ словамъ умиленія Жуковскій считаетъ однако нужнымъ прибавить:

„Но обманывать себя не надобно! Теперь начнется для тебя настоящая работа жизни: семейная жизнь есть безпрестанное *самоотверженіе*, и въ этомъ самоотверженіи заключается ея тайная прелесть, если только знаетъ душа ему цѣну, и имѣетъ силу предаться ему (и эта сила нужна гораздо болѣе *въ мелкиѣ*, ежедневныхъ обстоятельствахъ, нежели *въ высшихъ*, рѣдкихъ). Тебя однако, милая Катя, такая школа устрашать не можетъ; ты уже съ успѣхомъ прошла ея нижніе классы и теперь переведена въ верхній классъ съ хорошими предварительными знаніями, съ большою охотою учишься, и доучишься ей съ большимъ естественнымъ для того талантомъ, такъ что я могу, не опасаясь ошибиться, тебѣ предсказать, что со временемъ ты будешь весьма порядочнымъ профессоромъ своей науки, въ чемъ, конечно, мой почтенный крестникъ тебѣ не уступитъ: онъ поможетъ тебѣ заслужить и получить профессорское званіе,“ и т. д.

Въ заключеніе письма своего Жуковскій, уже шутя, приводитъ нѣсколько строкъ изъ переводимаго имъ Гомера. Гомеръ, говорить онъ, —

¹⁾ На этотъ день была назначена свадьба, однако вѣнчаніе происходило 14-го января.

„зная, какъ поэтъ, все предвидящій и все знающій, что нѣкогда переведена будетъ мною его „Одиссея“, зная также и то, что въ то время, какъ я буду ее переводить, долженъ будетъ жениться мой крестникъ, вотъ что сказалъ онъ, обращаясь мысленно къ невѣстѣ этого крестника, которую на всякій случай назвалъ Навзикаей:

„О, да исполнять безсмертные боги твои всѣ желанья,
Давши супруга по сердцу тебѣ съ изобиліемъ въ домѣ,
Съ миромъ въ семьѣ! Несказанное тамъ водворяется счастье,
Гдѣ однодушно живутъ, сохраняя домашній порядокъ,
Мужъ и жена, благомысленнымъ людямъ—на радость, недобрымъ
Людямъ—на зависть и горе, себѣ—на великую славу“.

Къ этимъ стихамъ древняго грека жена Жуковскаго прибавила какъ *post scriptum*, нѣсколько строкъ изъ Св. Писанія на нѣмецкомъ языкѣ изъ выше названной католической книги ¹⁾.

VIII.

Хотя Жуковскій и остался за границей для окончанія перевода «Одиссеи», но не имѣлъ ни охоты, ни силъ приняться за эту работу. Изъ написанныхъ имъ въ это время вышеупомянутыхъ «Размышленій» видно, что душа его по прежнему была занята религиозными и отчасти философскими мыслями. 1846-ой годъ былъ для Жуковскаго особенно тяжелъ. А. И. Тургеневъ, другъ его молодости, провелъ нѣкоторое время подъ его кровлею, какъ будто для того только, чтобы проститься съ нимъ и оставить семейству Жуковскихъ живое воспоминаніе о себѣ: приѣхавши въ Москву, онъ заболѣлъ и внезапно умеръ. Изъ круга дюссельдорфскаго знакомства Жуковскаго скончался неожиданно нѣкто г. Овенъ, другъ Рейтерна, и кромѣ того, Радовицъ лишился своей единственной пятнадцатилѣтней дочери. Кончина ея глубоко поразила сердце отца и матери и возбудила истинное сожалѣніе во всемъ семействѣ Жуковскаго. Наконецъ, въ мартѣ мѣсяцѣ, черезъ шесть недѣль послѣ свадьбы сына,

¹⁾ Поученія изъ I кн. Цар. VIII, 66: „Sie gingen hin zu ihren Hütten, fröhlich und guten Muthes über allem dem Guten, das der Herr an seinem Volke gethan hatte“.

скончался въ Москвѣ мужъ Авдотьи Петровны, Алексѣй Андреевичъ Елагинъ; эти утраты въ кругу близкихъ вызываютъ въ Жуковскомъ мрачныя мысли о возможной близкой кончинѣ и онъ пишетъ свое завѣщаніе. Къ тому же тревожила Жуковского и усиливающаяся болѣзнь Гоголя, жившаго въ Римѣ, а многія выраженія его въ «Перепискѣ съ друзьями» возбуждали въ Василіѣ Андреевичѣ безпокойство о душевномъ состояніи друга. «Послѣдняя половина 1846 года была,—какъ пишетъ самъ Жуковский ко мнѣ,—самая тяжелая не только изъ двухъ этихъ лѣтъ, но изъ всей жизни! Бѣдная жена худа, какъ скелеть, и ея страданіямъ я помочь не въ силахъ: противъ черныхъ ея мыслей нѣтъ никакой противодѣйствующей силы! Воля тутъ ничтожна, разумокъ молчитъ».

Возвратясь изъ Швальбаха во Франкфуртъ, Елизавета Алексѣевна была очень больна и пять недѣль не вставала съ постели. Въ Швальбахѣ испугъ отъ землетрясенія быть причиною или поводомъ этой болѣзни. Сперва у Елизаветы Алексѣевны обнаружилась нервическая горячка, и хотя недугъ вскорѣ прошелъ, но слѣдствія его остались жестокиа: «Разстройство нервическое, это чудовище, котораго нѣтъ ужаснѣе,—писаль ко мнѣ Жуковский,—впилося въ мою жену всѣми своими когтями, грызеть ея тѣло и еще болѣе грызеть ея душу. Эта моральная, не-сносная, все губящая нравственная грусть вытѣсняеть изъ ея головы всѣ ея прежнія мысли и изъ ея сердца всѣ прежнія чувства, такъ что она никакой нравственной опоры найти не можетъ ни въ чемъ и чувствуетъ себя всѣми покинутою»...

И это мучительное состояніе продолжалось до 1847 года! «Молите за насъ Бога!—писаль Василій Андреевичъ къ Екатеринѣ Аванасевнѣ, отъ $\frac{1}{13}$ января 1847 года:—болѣе всего просите, чтобъ Онъ далъ мнѣ терпѣніе, чтобъ я, который умѣлъ иногда красно выразить добрую мысль, умѣлъ съ большею твердостью и примѣнять свои добрыя убѣжденія къ житейскимъ испытаніямъ въ смыслѣ посылающаго ихъ Бога. Неимовѣрно трудно принимать испытаніе такого рода, которое теперь мнѣ досталось, въ томъ смыслѣ и съ тѣмъ чувствомъ, какое угодно

Испытателю. Я убѣжденъ, совершенно убѣжденъ, что главное сокровище души заключается въ страданіи, но это одно убѣжденіе ума — не чувство сердца, не смиреніе, не молитва! А что безъ нихъ всѣ наши установленія? Мы властны только *не роптать, и отъ этой бѣды еще Богъ меня избавилъ!*

Ко мнѣ онъ писалъ въ это время: «У меня плохо. Жена жестоко страдаетъ нервами послѣ болѣзни... Это такъ мучительно и для меня, что иногда хотѣлось бы голову разбить объ стѣну!»

Но, иногда на самой высшей степени несчастія у человѣка вдругъ возрождаются силы, противодѣйствующія горю. Такъ случилось и съ нашимъ другомъ. Во время высшаго развитія болѣзни, Елизавета Алексѣевна настоятельно стала выражать желаніе перейти въ католическую вѣру, которая, по своимъ таинственнымъ обрядамъ, казалась ей единственною цѣлительницею души и тѣла. Съ полнымъ терпѣніемъ Жуковский понесъ бы тревоги, происходящія отъ тѣлесныхъ страданій жены; но перемѣна лютеранской религіи на католическую, при мужѣ, всею душею преданномъ православной церкви, казалась ему жестокою. Къ тому же стало яснымъ, что дѣло не обошлось безъ происковъ пропагандистовъ-католиковъ. Тутъ-то душевная бодрость въ Жуковскомъ проснулась, и онъ энергически воспротивился этому намѣренію; къ счастью, Василій Андреевичъ нашелъ вѣрнаго и сильнаго союзника въ почтенномъ тестѣ своемъ, Рейтернѣ, который также не одобрялъ желанія дочери. И безъ многихъ неприятностей и борьбы — побѣда осталась на сторонѣ Жуковского.

Докторъ Коппъ рѣшилъ, что Елизаветѣ Алексѣевнѣ, послѣ предварительнаго леченія въ Эмсѣ, надобно провести нѣкоторое время въ Швейцаріи, но рѣшительно запретилъ ей переѣзжать въ русскій зимній холодъ. «Такимъ образомъ я опять на годъ здѣсь!» писалъ по этому поводу Жуковский. «Что же дѣлать! У кого на рукахъ семья, тотъ не имѣетъ свободы жить, какъ хочется: онъ невольникъ обстоятельствъ! *Семейная жизнь есть лучшее наше сокровище, но это сокровище окунается дорогою*

цѣною!» Къ этимъ размышленіямъ Жуковскій присоединилъ и нѣсколько словъ въ оправданіе Елизаветы Алексѣевны отъ упрека, будто бы она препятствуетъ поэту возвратиться въ отечество: «У васъ есть мнѣніе, что болѣзнь жены есть мечтательная, что она причудничаетъ! Позволено ли дѣлать такіа замѣчанія за двѣ тысячи верстъ, не зная обстоятельствъ, не выдавъ, каковы были—не часы и не дни, а цѣлые мѣсяцы страданія. Она здѣсь просто страдательное лицо, не имѣетъ никакого участія въ томъ, что я рѣшился остаться для пребыванія съ нею въ Швейцаріи».

Что при этихъ обстоятельствахъ работы Жуковского уже давно остановились,—весьма понятно. «Одиссея» два года какъ не подвигалась впередъ ни на шагъ. Одно только стихотвореніе вышло изъ-подъ пера его въ это время и было, можно сказать, воплемъ изъ глубины сердца. Мы говоримъ о повѣсти: «Выборъ креста», взятой Жуковскимъ изъ Шамиссо ¹⁾. Она рѣзко обозначаетъ тогдашнее настроеніе духа нашего друга. Усталый путникъ поднимается въ гору и на силу достигаетъ ея вершины. Тамъ на колѣняхъ читаетъ онъ вечернюю молитву и засыпаетъ. Въ сновидѣніи явился предъ нимъ Господь Богъ; и странникъ, исповѣдуя передъ нимъ всю слабость грѣшной души, жалуется, что крестъ, который онъ долженъ нести, слишкомъ тяжелъ для него. И вотъ, онъ увидѣлъ себя въ храминѣ, со множествомъ крестовъ различной величины, и слышитъ голосъ:

Передъ тобою всѣ кресты земные
Здѣсь собраны; какой ты самъ изъ нихъ
Захочешь взять, тотъ и возьми!

И путникъ началъ разбирать кресты; но ни одного не могъ выбрать себѣ подъ стать. Вдругъ онъ увидѣлъ простой, не замѣченный имъ прежде крестъ, и этотъ какъ разъ ему пришелся такъ, что онъ воскликнулъ: «Господи! позволи мнѣ взять этотъ крестъ! И взялъ его. Но что же? Это былъ тотъ самый крестъ, который онъ уже несъ!» Замѣчательно, что Жуковскій выпу-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 400.

стиль двѣ послѣднія заключительныя строки оригинала: «И вотъ, тотъ самый крестъ, противъ котораго онъ прежде осмѣливался *ронтать*, онъ понесъ его теперь *безъ ронота!*» Эти строки не соответствовали его настроенію.

Сопровождая Елизавету Алексѣевну въ Эмсѣ, Жуковскій имѣлъ удовольствіе прожить здѣсь подъ одною кровлею съ А. С. Хомяковымъ. «Хомяковъ—живая, разнообразная, поэтическая библіотека, добродушный, пріятный собесѣдникъ»,—пишетъ Жуковскій къ князю П. А. Вяземскому. «Онъ мнѣ всегда былъ по нутру; теперь я впился въ него, какъ паукъ голодный въ муху: навалилъ на него чтеніе вслухъ моихъ стиховъ; это самое лучшее средство видѣть ихъ скрытые недостатки; явные всѣ мною самимъ были замѣчены, и сколько я могъ, я съ ними сладилъ. Къ намъ подъѣхалъ и Гоголь на пути своемъ въ Остенде, и мы на досугѣ триумвиратствуемъ»⁴⁾.

Жуковскій занялся въ это же время подготовленіемъ новаго изданія своихъ стихотвореній, и среди этихъ занятій душа его какъ будто помолодѣла на нѣсколько десятковъ лѣтъ. Послѣ окончанія лечебнаго курса въ Эмсѣ, который имѣлъ благотворное вліяніе на Елизавету Алексѣевну, Жуковскій снова переѣхалъ на свою зимнюю квартиру во Франкфуртъ; около этого времени онъ послалъ нѣсколько повѣстей и первыхъ двѣнадцать пѣсенъ «Одиссеи» въ Петербургъ для цензурованія и длинное письмо къ Гоголю для помѣщенія въ «Москвитянинѣ». Графъ Уваровъ предполагалъ тогда праздновать 50-лѣтній юбилей литературной дѣятельности Жуковскаго; но такъ какъ Жуковскій не пріѣхалъ въ Россію, то и юбилей его не состоялся, а маститый поэтъ препроводилъ къ Уварову рукопись своей «Одиссеи» съ письмомъ и съ благодарностью за такую заботливость «о старомъ своемъ сослуживцѣ подъ знаменами Арзамаса».

Кромѣ «Одиссеи», Жуковскій возобновилъ свои труды и надъ начатою имъ обработкою «Рустема и Зораба». Повѣсть эта заимствована Рюккертомъ изъ царственной книги Ирана: «Шахъ-

⁴⁾ „Русскій Арх.“, 1866 г., стр. 1073—1074.

Намѣ»; Жуковскій воспользовался Рюккертовымъ переложеніемъ. Его видимо занималъ образъ Зораба, сына иранца отъ матери туранки. Въ жилахъ нашего поэта тоже текла туранская кровь.

„Эта поэма не есть чисто персидская,—писалъ онъ ко мнѣ.—Все лучшее въ поэмѣ принадлежитъ Рюккерту. Мой переводъ не только вольный, но своевольный: я многое выбросилъ и многое прибавилъ. Прибавилъ именно то, что тебя ввело въ недоумѣніе: явленіе дѣвы ночью къ тѣлу Зораба ¹⁾. Но ты ошибся, принявъ эту дѣву тѣлесную за духъ безплотный. Это не умершая Темина, а живая Гурдаферидъ, которая пророчила Зорабу его безвременную смерть и обѣщала плакать по немъ, и исполнила свое обѣщаніе. Онъ умирая на это надѣялся, а она, какъ-будто почувствовавъ вдали его желаніе, принесла ему свои слезы: сердце сердцу вѣсть подаетъ.

„И эпизодъ прощанія съ конемъ принадлежитъ мнѣ. Я очень радъ, что тебѣ пришлось эта поэма по сердцу; это была для меня усладительная работа“.

И дѣйствительно, пріятно было слышать въ этой поэмѣ отголосокъ прежняго романтизма Жуковского. Какъ будто украдкою взялъ онъ изъ прежнихъ своихъ произведеній вышеупомянутые два эпизода, изъ которыхъ первый напоминаетъ сходный эпизодъ въ «Пѣсни барда надъ гробомъ славянъ-побѣдителей» ²⁾, а другой—въ балладѣ: «Ахиллъ» ³⁾. Но въ послѣдней повѣсти Жуковского явленіе таинственной дѣвы у гроба и прощаніе старика отца съ конемъ умершаго сына дѣлаютъ особенно трогательное впечатлѣніе на читателя, знающаго, въ какомъ смущеніи сердца поэтъ писалъ эти стихи.

Какъ тяжелые стихи нѣмецкаго «Наля» превратились подъ рукою Жуковского въ плавно текущіе гекзаметры, такъ и вмѣсто вялаго шестистопнаго стиха Рюккертова «Рустема» русскій поэтъ избралъ для своей повѣсти четырехстопный ямбъ безъ рифмы, а въ иныхъ мѣстахъ, смотря по содержанію поэмы (напримѣръ, въ письмѣ оторопѣвшаго отъ приближенія туранскихъ войскъ къ Бѣлому Замку защитника крѣпости Гесдекема) употреблялъ и живой трехстопный ямбъ. Вообще изложеніе у Жу-

¹⁾ Соч. V, стр. 144.

²⁾ Соч. I, стр. 48.

³⁾ Соч. I, стр. 388.

ковскаго сокращеннѣе, событія слѣдуютъ быстрѣе одно за другимъ, выключены нѣкоторые эпизоды, ничего не прибавлявшіе къ развитію дѣйствія.

IX.

Жуковский, какъ выздоравливающій отъ тяжелой болѣзни, вступилъ въ 1848 годъ съ надеждою превозмочь остатки долговременнаго недуга. Но вдругъ политическія событія за Рейномъ отозвались безпокойствами около Франкфурта. Василию Андреевичу не хотѣлось оставаться здѣсь; а между тѣмъ оказывалось невозможнымъ везти во время распутицы малютокъ и жену въ Россію, тѣмъ болѣе, что у Елизаветы Алексѣевны опять возобновились, хотя не въ прежней силѣ, ея болѣзни. И у самого Жуковскаго явился недугъ, который встревожилъ его не на шутку. У него заболѣли глаза, такъ что ему было невозможно читать и писать, и онъ уже диктовалъ письмо ко мнѣ отъ 21-го марта:

„Благодарю тебя за дружеское письмо,—пишетъ онъ.—Оно было пластыремъ на болящую душу. Обстоятельства мои давно уже грустны: упорная болѣзнь жены, не опасная, но самая мучительная, потому что мучить съ тѣломъ и душу, давно портитъ мою жизнь и разрушаетъ всякое семейное счастье. Присоедини къ этому теперь всеобщую болѣзнь, которая охватила всѣ народы, это политическое землетрясеніе, которое все опрокинуло въ настоящемъ и для каждаго изъ насъ сдѣлало невѣрнымъ будущее; наконецъ, прибавь къ этому извѣстіе о кончинѣ Екатерины Аванасьевны, мною на сихъ дняхъ полученное, и ты будешь имѣть понятіе о томъ грустномъ расположеніи духа, въ какомъ застало меня письмо твое. Но оно было пластыремъ на болячку. Посреди черныхъ моихъ дней, свѣтло просіяло воспоминаніе о тебѣ и твоей дружбѣ. А между печалей, которыя теперь всюду собрались ко мнѣ въ гости, самая тихая, и такъ-сказать, утѣшительная есть эта кончина моей сестры, послѣ такой прекрасной жизни, послѣ такой тихой разлуки съ нею. Эта кончина имѣетъ въ себѣ что-то успокоительное при видѣ того, что вокругъ насъ происходитъ, при мысли о томъ, что можетъ еще таиться въ послѣднихъ годахъ моей оканчивающейся жизни и въ начинающейся жизни дѣтей моихъ. Для нея все прекрасно кончилось; думаешь объ этомъ съ отрадою. А наше все во власти Божіей; Онъ отецъ и хозяинъ въ своемъ домѣ и всѣмъ найдетъ приличное мѣсто. Я не стану

тебѣ описывать происходящаго кругомъ насъ. Мы здѣсь у самаго кратера; но лава лется мимо насъ: Франкфуртъ теперь самое безопасное мѣсто въ Германіи. Долго ли это будетъ — не вѣдаю; теперь вѣковыя происшествія совершаются часами; по утру нельзя предсказать, что будетъ въ вечеру. Женѣ нужно быть еще разъ въ Эмсѣ; съ первою возможностью я ее туда повезу. По окончаніи курса мы отправимся въ Россію. На первый случай я хочу жену оставить въ Лифляндіи, дабы не вдругъ ее передать суровому нашему климату. Подумай о томъ, какъ бы удобнѣе и гдѣ поселить мою семью въ Дерптѣ. Думая о тебѣ, невольно прихожу къ мысли, что между твоею и моею судьбою есть какая-то таинственная связь, которая продолжается и на все наше будущее. На первыхъ порахъ передамъ больную жену въ твои руки,“ и т. д.

Поѣхавъ въ Ганау, чтобы посоветоваться съ докторомъ Коппомъ, Жуковскіе принуждены были тотчасъ же уѣхать обратно во Франкфуртъ, потому что въ Ганау царствовала анархія «во всей своей неопрятности», какъ выражался Василій Андреевичъ. Отъ испуга Елизавета Алексѣевна опять слегла въ постель; Жуковскій однако же повезъ ее въ Эмсъ, и затѣмъ уложилъ свои пожитки во Франкфуртъ, и самъ переѣхалъ туда же: ему вѣрно было брать ванны и пить Kesselbrunnen. «Изъ Эмса — пишетъ онъ — ѣду въ Россію! Черезъ Любекъ ли, черезъ Штетинъ ли — не знаю; кто теперь что-нибудь знаетъ? Одинъ Богъ! Дьяволь думаетъ и хвастаетъ, что что-то знаетъ — онъ вретъ, свинья, онъ только все портитъ, — а знаетъ еще менѣе нежели мы, которымъ пыль въ глаза бросаетъ да за носъ ведетъ. И такъ, что съ нами будетъ, знаетъ одинъ Богъ, и слава Богу!»

Конечно, вслѣдствіе рѣшенія ѣхать въ Россію, Жуковскій былъ въ такомъ бодромъ расположеніи духа, какого давно въ немъ не было замѣтно. То же доказываетъ и новое усиленіе его литературной дѣятельности; изъ списка дней, въ которомъ онъ означилъ то, что переводилъ изъ «Одиссеи», видно, что послѣ значительнаго перерыва онъ съ 1-го мая снова принялся за любимую работу и въ теченіи шести дней перевелъ 213 стиховъ XIII-й пѣсни.

Покидая Франкфуртъ, онъ уложилъ часть своихъ вещей для отправленія въ Петербургъ и сдалъ экспедитору; другую

часть продать, кое-что подарилъ на память пріятелямъ. Эти хлопоты замедлили его пріѣздъ въ Эмсъ, такъ что, пробивъ здѣсь до конца іюля, онъ снова не рѣшился ѣхать въ Россію, гдѣ свирѣпствовала холера, и поселился въ Баденъ-Баденъ. «Итакъ, — писалъ онъ, — я долженъ повернуть свои оглобли назадъ и поселиться въ Баденъ-Баденъ». Между тѣмъ жена его продолжала бороться съ своими нервами; новый докторъ ея (Гугертъ) помогъ ей, и какъ увѣрялъ, приготовилъ ее къ совершенному излеченію въ слѣдующемъ году. Глаза Жуковского поправились, и съ половины октября 1848 г. до 24-го апрѣля 1849 г., въ 85 дней онъ переложилъ всѣ двѣнадцать послѣднихъ пѣсенъ «Одиссеи». Мало того: пользуясь совершенною независимостью и тишиною въ Баденъ-Баденъ, онъ даже напечаталъ вторую половину «Одиссеи», и спокойствіе его было нарушено только наканунѣ отправленія послѣдняго корректурнаго листа поэмы, посланнаго въ Карлсруэ уже изъ Страсбурга, куда онъ долженъ былъ удалиться изъ Бадена на нѣкоторое время.

Въ прежнее время Жуковскій былъ поэтомъ совершенно повлеченію сердца, и высказывалъ въ стихахъ лишь то, что занимало его душу:

Мнѣ рокъ судиль—
Творца, друзей, любовь и счастье воспѣвать.
Такъ! Пѣть есть мой удѣлъ.

Но при переводѣ «Одиссеи» передъ глазами его мерцала совсѣмъ другая цѣль. Онъ употребилъ для ея достиженія цѣлые годы и достигъ ея счастливо. Ни о какомъ своемъ трудѣ не говорилъ и не переписывался онъ такъ пространно и со столькими лицами, какъ объ «Одиссеѣ». Онъ не зналъ греческаго языка, по крайней мѣрѣ въ такой степени, чтобы читать свободно самый подлинникъ. Гомеръ былъ ему извѣстенъ по нѣмецкимъ, французскимъ и англійскимъ переводамъ. По русскому переложенію Гнѣдича, познакомился онъ съ «Иліадою», а нѣкоторые эпизоды ея переводилъ и самъ уже прежде 1829 года ¹⁾.

¹⁾ Соч., т. II, 421.

На переводъ «Одиссеи» смотрѣлъ онъ, какъ на высшую задачу своей поэтической дѣятельности, и притомъ хотѣлъ потѣшить себя на просторѣ поэтической болтовней. Дюссельдорфскій профессоръ Грасгофъ, по просьбѣ Жуковскаго, переписалъ «Одиссею» и подъ каждымъ греческимъ словомъ поставилъ нѣмецкое слово, а подъ каждымъ нѣмецкимъ грамматическій смыслъ подлиннаго. «Такимъ образомъ,—пишетъ Жуковскій—я могъ имѣть передъ собою весь буквальный смыслъ «Одиссеи» и имѣть передъ глазами порядокъ словъ. Въ этомъ хаотически-вѣрномъ переводѣ, недоступномъ читателю, были собраны передъ мною всѣ матеріалы зданія; недоставало только красоты, стройности и гармоніи. Мнѣ надлежало изъ даннаго нестройнаго выгадывать скрывающееся въ немъ стройное, чутьемъ поэтическимъ отыскивать красоту въ безобразіи и творить гармонію изъ звуковъ, терзающихъ ухо, и все это не во вредъ, а съ вѣрнымъ сохраненіемъ древней фізіономіи оригинала. Въ этомъ отношеніи и переводъ мой можетъ назваться произведеніемъ оригинальнымъ»¹⁾. На такую обработку, какая обозначена въ этихъ строкахъ, Жуковскій былъ всего болѣе способенъ. Вездѣ въ переложеніи «Одиссеи» онъ старался сохранить простой сказочный языкъ, избѣгая важности славяно-русскихъ оборотовъ, и по возможности соглашалъ обороты русскаго языка съ выраженіями оригинала. При семилѣтнемъ заботливомъ трудѣ надъ переводомъ, при совѣщаніяхъ со свѣдущими эллинистами, Жуковскій значительно освоился съ Гомеромъ, и собственное его поэтическое чутье руководило имъ въ пониманіи древняго пѣвца гораздо лучше, нежели одно глубокое знаніе греческаго языка—многими филологами. Передавая на русскій языкъ дѣвственную поэзію Гомера и гармонію его рѣчи, нашъ поэтъ долженъ былъ проникать прямо въ самый геній Гомера, не находя себѣ посредника въ языкѣ его. Само собою разумѣется, что онъ не имѣлъ въ виду похвастать передъ публикою знаніемъ языка ему чуждаго; но этотъ совѣстливый, долговременный и тяжелый трудъ совершенъ былъ съ полнымъ самоотверженіемъ, чисто ради одной

¹⁾ Изъ письма къ графу С. С. Уварову. Соч. т. VI, стр. 181.

прелести труда. Жуковский хотѣлъ пересадить пышный цвѣтъ древняго греческаго вдохновенія на русскую почву, какъ прежде онъ поступилъ съ творчествомъ древней Индіи, переложивъ «Наля и Дамаянти».

„Переводъ Гомера,—пишетъ онъ С. С. Уварову,—не можетъ быть похожъ ни на какой другой. Во всякомъ другомъ поэтѣ, *не первобытномъ*, а уже поэтѣ-художникѣ, встрѣчаешь съ естественнымъ его вдохновеніемъ и работу искусства. Въ Гомерѣ этого искусства нѣтъ; онъ младенецъ, видѣвшій во снѣ все, что есть чуднаго на землѣ и небесахъ, и лепечущій объ этомъ звонкимъ ребяческимъ голосомъ на груди у своей кормилицы-природы. Переводъ Гомера (и въ особенности „Одиссею“), не далеко уйдешь, если займешься фактурой каждаго стиха отдѣльно, ибо у него, то-есть, у Гомера нѣтъ отдѣльно-разительныхъ стиховъ, а есть потокъ ихъ, который надобно схватить *весь*; во всей его полнотѣ и свѣтлости; надобно сохранять каждому стиху его фizioномію, но такъ, чтобы его отдѣльность сливалась съ стройностью цѣлаго и въ ней исчезала. И въ выборѣ словъ надлежитъ наблюдать особеннаго рода осторожность: часто самое поэтическое, живописное, заносчивое слово потому именно и не годится для Гомера. Надобно отказаться отъ всякаго щегольства, отъ всякой украшенности, отъ всякаго покушенія на эффектъ, отъ всякаго кокетства“¹⁾.

Принимая такія правила въ руководство при переложеніи Гомера, Жуковский далеко превзошелъ многихъ иностранныхъ филологовъ, придерживающихся только буквальной передачи стиховъ греческаго поэта. Поэтому, онъ съ полнымъ правомъ могъ сказать о своемъ переводѣ, въ письмѣ къ А. С. Стурдзѣ, слѣдующее: «Единственною *внѣшнею* наградою моего труда будетъ сладостная мысль, что я (во время оно родитель на Руси нѣмецкаго романтизма и поэтической дядька чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ) подъ старость загладилъ свой грѣхъ и отворилъ для отечественной поэзіи дверь эдема, не утраченнаго ею, но до сихъ поръ для нея запертаго²⁾».

Жуковский былъ чрезвычайно благодаренъ всякому, кто хотя немного интересовался его «Одиссеей». Ко многимъ уже давно напечатаннымъ письмамъ по этому поводу прибавлю еще кое-что изъ переписки его со мною:

¹⁾ Соч., т. IV, предисловіе.

²⁾ Соч., т. VI, стр. 541.

„Твой голосъ о моей „Одиссеѣ“,—писалъ онъ,—былъ сладкою для меня гармоніей. Не поставь моего удовольствія слушать твой приговоръ на счетъ суетнаго самолюбія; нѣтъ, въ мои лѣта нѣтъ уже самолюбія; да я и всегда былъ чуждъ его ребячеству. Но въ томъ чувствѣ, съ какимъ я слушаю похвалу „Одиссеи“ моей, выходящую изъ души поэтической, есть нѣчто подобное чувству отца, который, выводя въ свѣтъ свою милую дочь, видитъ, съ какою симпатіей, съ какимъ благоволеніемъ встрѣчаютъ ее нѣкоторые немногіе, которыхъ мнѣніе ему драгоцѣнно. Ты принадлежишь въ числу этихъ немногихъ. И ты поймешь, что я переводилъ Гомера не для похвалы, а чисто для того высокаго внутренняго наслажденія, которое объемлетъ душу въ безмолвномъ святилищѣ поэзіи: и это святилище было для меня à la lettre безмолвное, ибо никто въ моей семьѣ не могъ вслушаться въ русское пѣніе Гомера. Изъ моихъ русскихъ соотечественниковъ только одинъ отозвался о немъ письменно, и другой еще печатно; ты третій, и самый значительный для меня, какъ по твоему поэтическому чутью, такъ и по знанію дѣла. То, что ты находишь въ моемъ переводѣ, есть именно то, къ чему я самъ желалъ дойти. Это стремленіе сохранить въ моей копіи младенчески-чистый характеръ первобытной поэзіи моего подлинника было для меня поэтическою жизнію во всей ея святости. И въ этой мысли для меня много утѣшительнаго, хотя она сама по себѣ мечта,—въ мысли, что моему отечеству останется въ моемъ Гомерѣ *мой точный памятникъ*: если подлинно въ немъ отзываются чисто и гармонически тѣ звуки, которые три тысячи лѣтъ утѣшаютъ сердца избранныхъ, то на долгю и на Руси останется отзывъ моей поэтической жизни“.

И въ другой разъ, въ мартѣ 1851 года, Жуковскій писалъ ко мнѣ:

• „Теперь обращаюсь къ письму твоему: оно порадовало мою душу. Ты поэтическимъ языкомъ поговорилъ со мною о моей поэзіи; я давно такого лакомства не имѣлъ; какъ ни уютно мнѣ въ моей семьѣ, но съ моею поэзіей никто здѣсь не знакомъ. Русскаго языка мои ближніе не знаютъ. И это составляетъ особенное достоинство моего перевода „Одиссеи“, что онъ совершился безъ свидѣтелей, выключая одного Гоголя, который читалъ первыя 12 пѣсень: остальные я переводилъ въ Баденѣ. Для куріоза посылаю тебѣ таблечку, изъ которой увидишь ходъ перевода. Тѣ числа, противъ которыхъ стоятъ точки, означаютъ тѣ дни, въ которые я занимался переводомъ; изъ этого увидишь, что послѣднія 12 пѣсень переведены менѣе нежели въ 100 дней. *Эти сто дней были счастливые дни!* Для чего я работалъ? Уже, конечно, не для славы. Нѣтъ, для прелести самаго труда! Ничто не можетъ сравниться съ тѣмъ наслажденіемъ, какое заключалось для меня въ уединенной, безмятежной бесѣдѣ съ поэтическими, дѣйствиительно-непороч-

ными видѣніями Гомера, которыя прилетали ко мнѣ изъ свѣтлой старины и навѣвали мнѣ на душу свѣжій воздухъ поэзіи первобытной. Работалъ не для славы! Тамъ на Руси, не многимъ можетъ понравиться Гомеръ; а въ Европѣ мой Гомеръ никому не слышенъ. Но все великое услажденіе—подѣлиться имъ съ тѣми, кто, какъ ты, его знаютъ и смотреть на его созданіе глазами поэтическими. И я всѣмъ сердцемъ благодарю тебя — не за твое одобреніе, а за то, что ты не побѣдился подѣлиться со мною тѣмъ чувствомъ, которое произвела въ тебѣ моя „Одиссея“. О славѣ—скажу опять—я не забочусь; въ 68 лѣтъ не до славы; но весело думать, что послѣ меня останется на Руси твердый памятникъ, который между внуками сохранить обо мнѣ доброе воспоминаніе. Теперь мой Гомеръ есть, такъ-сказать, тайна; въ наше время нѣтъ мѣста поэзіи Гомерической; но эта поэзія живуща: современемъ она свое возьметъ, и мысль, что въ будущее время я буду для отечества довольно вѣрнымъ представителемъ *этой* поэзіи, меня веселитъ и кажется мнѣ тѣмъ-то существеннымъ“.

Вотъ таблица, о которой Жуковский говоритъ въ письмѣ:

ПЕРЕВОДЪ НАЧАТЬ ВЪ ЯНВАРЬ 1842 ГОДА.										
До 1-го октября 1842 года переведено VIII пѣсенъ.										
Числа.	Въ 1844 году во Франкфуртѣ.			Въ 1848 году въ Баденѣ.			Въ 1849 году въ Баденѣ.			
	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.
1	IX	...		XIII	...	XV		...		
2		Съ 1-го по 6-е мая 213 стиховъ.	XIX	
3	XXIII
4
5	...	X		
6
7	XXIII
8
9
10	IX			
11				
12						XVII
13					...	XV		XVIII
14	X			XVI		...	XIX	...
15	XX	...
16	...	XI			XIV
17	XXIV
18
19	XII		XX	...
20	XVI		...	XXI	...
21
22	XVII	XVIII
23
24	XXI	XXIV
25	XXII	...
26	...	XI		
27		XIII
28	XII	XIV
29
30
31	XXII	...

Можетъ быть, я слишкомъ долго останавливаюсь на нѣкоторыхъ мысляхъ поэта по поводу его «Одиссеи»; но по всему видно, что онъ придавалъ своему труду большой вѣсъ. Стихъ въ «Одиссеѣ» отличается необыкновенною плавностью, а теченіе рѣчи совершенно непринужденное и нерастянутое. Къ тому же слова и образы, совпадая съ греческими вполне точно, нисколько не производятъ въ русскомъ читателѣ впечатлѣнія чего-либо чуждаго, чужеземнаго, такъ какъ притомъ въ описываемыхъ нравахъ, обычаяхъ и народныхъ воззрѣніяхъ многое, дѣйствительно, напоминаетъ намъ свое родное. Если Фоссовъ переводъ Гомера, несмотря на эллинизмы и нѣсколько перохватый слогъ, возбудилъ въ нѣмецкомъ юношествѣ любовь къ древности, то—полагаемъ—и переводъ Жуковскаго долженъ былъ бы произвести то же дѣйствіе на юношество русское. Разумѣется, «Одиссея» не сдѣлалась у насъ предметомъ всеобщаго чтенія: количество русской молодежи, изучающей Гомера на греческомъ языкѣ, еще чрезвычайно мало; но по тому самому, думаемъ, и пригоденъ этотъ переводъ, что онъ могъ бы служить основаніемъ, преимущественно въ нашихъ реальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, къ ознакомленію съ греческою древностью. Жуковский имѣлъ намѣреніе сдѣлать особое изданіе «Одиссеи» для юношества, съ присовокупленіемъ введенія въ прозѣ, чтобы уяснить въ немъ общее содержаніе греческой мифологіи, но отъ этого отвлекли его другія занятія.

X.

29-го января 1849 г., князь П. А. Вяземскій отпраздновалъ въ своей квартирѣ, въ домѣ Глазунова, на Невскомъ, въ Петербургѣ, юбилей 50-лѣтней авторской дѣятельности Жуковскаго. Государь наследникъ, питомецъ его, удостоилъ своимъ присутствіемъ торжество своего наставника, а имп. Николай Павловичъ пожаловалъ Жуковскому орденъ Бѣлаго Ора въ ознаменованіе, какъ сказано въ грамотѣ, «особеннаго уваженія къ трудамъ его на поприщѣ отечественной литературы, въ теченіе пятидесяти

лѣтъ подъемлемымъ, и въ изъявленіе душевной признательности за заслуги, Царскому семейству оказанныя».

Въ маѣ 1849 г., когда должно было начаться леченіе Елизаветы Алексѣевны у доктора Гугерта, Жуковскіе, вслѣдствіе наступившихъ опять политическихъ смуть, принуждены были переселиться изъ Бадена въ Швейцарію и провели лѣто въ Унтерзеенѣ. Но тамошній климатъ повредилъ обоимъ супругамъ. Въ августѣ Василій Андреевичъ возвратился въ Баденъ-Баденъ съ расположеніемъ къ водяной въ груди, какъ увѣрялъ докторъ. Но это не помѣшало ему съѣздить въ Варшаву, чтобы поздравить государя съ окончаніемъ венгерской войны и притомъ изложить свои затрудненія относительно возвращенія съ семействомъ въ Россію. Его Величество позволилъ ему остаться за-границею еще столько времени, сколько потребуютъ его обстоятельства. Жуковскій видѣлъ въ Варшавѣ государя императора и государя наслѣдника въ горестную для нихъ минуту—у постели умирающаго великаго князя Михаила Павловича. Возвратясь въ Баденъ-Баденъ, онъ почувствовалъ себя лучше отъ поѣздки и даже написалъ князю Варшавскому веселое письмо, въ изъявленіе благодарности за подаренную ему, отъ имени князя, карту Венгріи, бывшую съ послѣднимъ въ знаменитомъ походѣ. Жуковскій жалѣлъ только о томъ, что ему не удастся описать этотъ любопытный эпизодъ русской исторіи ¹⁾. Въ письмѣ къ великому князю Константину Николаевичу, писанномъ въ ту же пору, Жуковскій, очевидно, подъ впечатлѣніемъ венгерскаго похода, говоритъ, что теперь настала часъ, когда Россія могла бы разомъ рѣшить задачу всѣхъ крестовыхъ походовъ, вызвавъ всѣ державы Европы на освобожденіе нашего христіанскаго святилища, Іерусалима, отъ постыднаго рабства:

„Оставайся и Сирія, и съ нею вся Палестина во власти турковъ, — говоритъ онъ, — но мѣсто, гдѣ совершилось спасеніе челоѣчества, мѣсто, освященное земною жизнію и искупительною смертію Спасителя, не должно оставаться во власти враговъ его... По всѣмъ сердцамъ ударить молнія

¹⁾ Письмо къ князю Варшавскому, напечатанное въ Соч., т. VI, стр. 320.

вдохновения и восторга, когда наш великій царь... скажетъ въ совѣтъ царей: „Отдадимъ Богу Божіе! Святой гробъ Спасителя и святой градъ, его въ себѣ заключающій, должны принадлежать не Россіи, не Англій, не Франціи и проч., съ одной стороны, и не туркамъ, съ другой: они должны принадлежать Богу Спасителю; христіанскія державы должны благоговѣнно принять ихъ подъ свою общую защиту... И этотъ градъ, освобожденный отъ всякой власти мусульманъ, находясь посреди ихъ областей, долженъ быть соединенъ свободною, безопасною дорогою съ моремъ, дабы доступъ къ нему былъ на всѣ времена открытъ христіанамъ. Все остальное пусть будетъ упрочено туркамъ, какъ ихъ законное достояніе... А какія послѣдствія могли бы быть для христіанства, для соединенія всѣхъ перевей, о которомъ мы безпрестанно молимся, когда бы около гроба Спасителя, около одного общаго средоточія *всѣхъ исповѣданій* соединились на свободѣ съ чувствомъ одной всѣхъ сближающей, все миротворящей вѣры?“¹⁾

Зима 18⁴⁹/₅₀ года прошла для Жуковскаго довольно покойно. Весною началось опять леченіе Елизаветы Алексѣевны у Гутерта, по окончаніи чего Жуковскій намѣренъ былъ пріѣхать въ Россію, гдѣ предстояло празднованіе 25-лѣтія царствованія императора Николая. Но извѣстясь, что это торжество будетъ праздноваться дважды: въ ноябрѣ 1850 г., въ день восшествія на престолъ, — въ Петербургѣ, а въ августѣ 1851 года, въ день коронаціи—въ Москвѣ, Василій Андреевичъ рѣшился отложить свое возвращеніе въ отечество до весны 1851 года. Притомъ и Гутертъ полагалъ, что для выздоровленія Елизаветы Алексѣевны будетъ лучше, если она останется въ Германіи еще зиму.

„А я—разсуждалъ по этому поводу Жуковскій, въ письмѣ ко мнѣ,—не могу взять на себя ответственности за то, чтобы воспрепятствовать ей вырваться изъ когтей того демона, который уже нѣсколько лѣтъ на части рветъ когтями своими бѣдную мою семейную жизнь. Это будетъ послѣдній опытъ; а я, также имѣя нужду въ покоѣ по причинѣ физической, воспользуюсь этимъ покоемъ во время зимы и осени для нѣкоторыхъ работъ своихъ, отъ которыхъ надобно будетъ надолго оторваться, если теперь поѣду въ Россію. Меня радуетъ мысль, что и ты поселился въ Дерптѣ. Если ты тамъ, то мы вмѣстѣ соединимся опять на томъ же пунктѣ, на которомъ начиналася твоя дѣятельная жизнь, съ котораго началась и та половина моей жизни, которая привела меня къ теперешней. Того, что тамъ нѣкогда было

¹⁾ Русскій Архивъ 1867 г., стр. 1430—1431.

наше, мы не найдемъ: все почти исчезло, не только въ Дерптѣ, но и на землѣ: тамъ остался одинъ представитель этого прошедшаго — могила съ надписью: „да не смущается сердце ваше“. Но около двухъ насъ *оставшихся* подымается новое поколѣніе; въ немъ сосредоточится наша жизнь, и въ немъ разцвѣтутъ для насъ новыя молодыя надежды. Все, составляющее теперь для меня прелесть жизни, заключается въ той дѣятельности, которую я посвящу образованію дѣтей (если Богу угодно будетъ еще нѣсколько лѣтъ даровать мнѣ прожить на свѣтѣ); я заключу себя въ этомъ очаровательномъ кругѣ и изъ него не выйду. Итакъ, другъ, поживемъ вмѣстѣ и порадуемся разцвѣтающею жизнію нашихъ дѣтей на томъ мѣстѣ, гдѣ мы сами разцвѣтали и многими радовались съ горемъ пополамъ, а—

О милыхъ спутникахъ, которые нашъ свѣтъ
Своимъ присутствіемъ для насъ животворили,
Не говори съ тоской: *ихъ нѣтъ!*
Но съ благодарностію: *были!*“

Кому не замѣтна переменѣна въ перепискѣ нашего друга? Въ первый разъ послѣ многихъ лѣтъ онъ съ умиленіемъ говоритъ о томъ времени и о тѣхъ мѣстахъ, которые были свидѣтелями счастливаго періода его жизни. По всей вѣроятности, къ этому расположилъ его пересмотръ его прежнихъ стихотвореній, при печатаніи новаго ихъ изданія, возбуждившій въ его сердцѣ много воспоминаній изъ прошлаго. Мысль его, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ тревожной дѣятельности, снова стала выходить на ровный путь. Отнынѣ, кромѣ обученія дѣтей, ему представился еще другой святой подвигъ. Елизавета Алексѣевна, не получивъ одобренія ни мужа, ни отца своего принять католическое вѣроисповѣданіе, пожелала перейти въ православіе, и Жуковскій счелъ своею обязанностію напередъ ознакомить ее съ ученіемъ православной церкви. Онъ окружилъ себя произведеніями православной догматики и завелъ переписку съ знатоками православнаго вѣроученія, особенно съ А. С. Стурдзою.

„Какъ бы хорошо было для меня теперь, — пишетъ къ нему Василій Андреевичъ, — пожить вмѣстѣ съ вами, чтобы часто бесѣдовать о такомъ предметѣ, который теперь для насъ обоихъ есть главный въ жизни,—который для васъ всегда стоялъ на первомъ ея планѣ, а для меня такъ ярко отразился на ея радужномъ туманѣ *весьма недавно*, только тогда, какъ я вошелъ въ уединенное святилище семейной жизни. Этотъ чистый свѣтъ, свѣтъ

христианства, который всегда мнѣ былъ по сердцу, былъ завѣшенъ передо мною прозрачною завѣсою жизни: онъ проникалъ сквозь эту завѣсу, и глаза его видѣли, но все было *завѣшено*, и вниманіе болѣе останавливалось на тѣхъ поэтическихъ образахъ, которые украшали завѣсу, нежели на томъ свѣтѣ, который одинъ далъ имъ видимость, но ими же и былъ заслоненъ отъ души, разсѣянной ихъ поэтической прелестью. Вотъ вамъ моя полуисповѣдь; цѣлой исповѣди не посылаю, на это нѣтъ времени; да издали она будетъ бесполезна¹⁾.

Мы вполне понимаемъ изъ этой полуисповѣди, что Жуковский, примиряясь съ самимъ собою, обрѣлъ самого себя, и что внутренній разладъ его прекратился счастливо. Замѣчательнѣе тотъ мягкій взглядъ, съ которымъ онъ относился къ намѣренію своей жены. «Не говорите никому ни слова о томъ, что происходитъ съ женою моею»,—пишетъ онъ къ Авдотѣ Петровнѣ въ декабрѣ 1850 года,—«я не почитаю еще дѣло оконченнымъ. Когда все совершится, и *какъ* совершится, увѣдомлю васъ. Ея убѣжденіе еще не полное. Оно должно быть совершенно произвольное, то-есть, какъ Богъ велитъ!» По поводу намѣреній Елизаветы Алексѣевны Жуковский высказываетъ свое мнѣніе объ отношеніи отдѣльной личности къ общимъ основнымъ началамъ христианской догматики. Онъ находитъ, что право свободнаго изслѣдованія христианскихъ догматовъ уничтожаетъ всякую возможность имѣть неподсудный авторитетъ, то-есть, *церковь*, точно такъ же, какъ въ политическомъ мірѣ «уродливая база народнаго самодержавія, *souveraineté du peuple*», уничтожаетъ всякую возможность общественнаго порядка. «Все, что *церковь* дала намъ *одинъ разъ навсегда*, то мы должны принять безусловно *всю*, то же *одинъ разъ навсегда*. Въ это дѣло нашему уму не слѣдуетъ мѣшаться, ему принадлежитъ только указанія церкви примѣнять къ практической жизни». Этими немногими словами Жуковский ясно обозначилъ ту точку зрѣнія, съ которой мы должны смотрѣть на дѣйствія его какъ въ духовной, такъ и общественной области. Размышленія, которыя онъ набросалъ на бумагу въ послѣдніе годы, и въ которыхъ онъ касается, между прочимъ,

¹⁾ Соч., т. VI, стр. 543.

вопросовъ религіовныхъ, онъ, прежде печати, хотѣлъ отдать на просмотръ А. С. Стурдзѣ съ полнымъ правомъ поправлять ихъ. Вслѣдствіе того онъ раздумалъ печатать присланную уже для цензурованія рукопись и поручилъ Авдотѣ Петровнѣ Елагиной (въ мартѣ 1851 г.) взять ее обратно отъ П. А. Плетнева. Они были напечатаны уже по смерти Жуковскаго въ т. XI его сочиненій.

Когда князь П. А. Вяземскій въ стихотвореніи: «Святая Русь», прославлялъ Россію, которую любовь къ Богу, престолу и отечеству охранила отъ переворота, поколебавшаго почти всю западную Европу, Жуковскій написалъ въ прозѣ объясненіе къ этой піесѣ и къ ея названію, и въ статьѣ своей ясно высказалъ свои понятія объ особенномъ характерѣ русской исторіи, который выражается въ тѣсномъ союзѣ православія съ русскою народностью, и о значеніи для Россіи православія:

„Двѣ главныя силы, исходящія изъ одного источника,—говоритъ онъ,—властвовали и властвуютъ судьбою Россіи; онѣ навсегда сохраняютъ ея самобытность, если, оставшись неизмѣнными въ своей сущности, будутъ слѣдовать за историческимъ, необходимымъ ея развитіемъ, будутъ его направлять и могущественно имъ владычествовать. Эти двѣ силы суть *церковь* и *самодержавіе*: одной, то-есть, самодержавію, принадлежитъ земной порядокъ и благоденствіе общественное, имъ охраняемое; другой, то-есть, церкви, принадлежитъ дополненіе земнаго благоденствія высшими благами инаго порядка, дающаго земному его истинное значеніе и возможную прочность... Чтобы дать самобытную гражданственность Россіи, должно развить сіи добрыя начала, сохранившія всю чистоту свою, но еще не въ полномъ смыслѣ своемъ употребленныя... Подъ *развитіемъ церкви* разумѣется болѣе дѣятельное введеніе ея ученія въ умственную и практическую жизнь истиннымъ христіанскимъ образованіемъ, оградивъ его отъ всякаго самовольнаго жемудрія. Подъ *развитіемъ самодержавія* разумѣется твердѣйшее укорененіе и распространеніе его патріархальнаго могущества, котораго источникъ и право есть верховная *Божія правда*, но которое, съ своей стороны должно болѣе и болѣе опредѣлить и утвердить *законность*, съ одной стороны—въ дѣйствіяхъ исполнителей власти, съ другой—въ общихъ о ней понятіяхъ народа, законность, которая хранитъ права, неотъемлемо всѣмъ и каждому принадлежащія и державною властію одинъ разъ навсегда утвержденныя, и которая, истекая изъ самой власти, ея не ограничиваетъ, а бо-

лѣе и болѣе упрочиваетъ посредствомъ указанія необходимыхъ, вѣрныхъ путей ея дѣйствія, удаляющихъ ее отъ самоубійственнаго произвола ¹⁾“.

XI.

Пришла весна 1851-го года; Жуковский сталъ приготовляться къ переѣзду въ Россію и, между прочимъ, поручилъ мнѣ заказать мебель къ его приѣзду въ Дерптъ.

„Еще я долженъ предупредить тебя,—прибавляетъ онъ при этомъ,—что я скажу зубы на тотъ высокій столъ, который ты купилъ у меня при отъѣздѣ. Если онъ существуетъ, то ты долженъ будешь его мнѣ перепродать: онъ столько времени служилъ мнѣ, столько моихъ стиховъ вынесъ на хребтѣ своемъ! Потомъ, перешедъ въ твою службу, приобрѣлъ для меня особенную значительность. Мнѣ будетъ весело возвратиться къ старому другу, если только еще онъ существуетъ. Я началъ переводить „Иліаду“ и перевелъ уже первую пѣснь и половину второй, и если бы такъ пошло, то весьма вѣроятно, что я кончилъ бы всю поэму (которую гораздо легче переводить, нежели „Одиссею“) къ моему отъѣзду въ Россію. Но я долженъ былъ пожертвовать трудомъ поэтическимъ труду *должностному*. Съ облаковъ поэта я опустился на смиренный стулъ педагога, и теперь въ моихъ рукахъ не лира, а дѣтская указка. Я сдѣлался учителемъ моей дѣвочки, и это дѣло усладительнѣе всякой поэзіи. Но я еще не учу ее порядкомъ, а мы только готовимся къ ученію безъ принужденія; еще идетъ у насъ учебная гимнастика. За то я самъ про себя готовлюсь къ будущему систематическому домашнему преподаванію, то-есть, по особенной, практической, уморазвивательной методѣ составлю курсъ предварительнаго ученія. Думаю, что эта метода будетъ имѣть желаемый успѣхъ, сколько могу судить уже нѣсколько и по опыту. Но собрать и привести въ порядокъ всѣ матеріалы, что необходимо нужно прежде начала курса, стоить большого труда, тѣмъ болѣе, что уже мнѣ и глаза, и руки, и ноги служатъ не по прежнему. Этого-то трудъ беретъ все мое время. Но я не отказываюсь отъ „Иліады“, и легко

¹⁾ Соч., т. VI, стр. 162 и д. Въ этой статьѣ мы видимъ вліяніе бѣсѣды Жуковскаго съ его другомъ Радовицемъ, нравственныя правила котораго онъ именно около того времени старался защитить въ „Аугсбургской газетѣ“. Это такъ понравилось королю Фридриху-Вильгельму, что онъ послалъ Жуковскому, въ день его рожденія въ 1851 году, свой портретъ съ письмомъ, на которомъ, вмѣсто адреса, нарисовалъ себя почтальономъ, передающимъ послышку: „поэту Жуковскому“. Министръ Сидовъ, проѣзжая черезъ Баденъ-Баденъ, сдѣлалъ Жуковскому визитъ. На русскомъ языкѣ напечатанъ составленный Жуковскимъ биографическій очеркъ Радовица, помѣщенный въ Соч., т. VI, 201.

можетъ случиться, что нынѣшнею зимою ты будешь читать каждую пѣснь „Иліады“, по мѣрѣ ея окончанія, и мнѣ готовить свои на нее замѣчанія, по которымъ буду съ смиренною покорностію дѣлать свои поправки. Я увѣренъ тоже, что если Богъ продлитъ жизни, ты мнѣ поможешь и курсъ мой учебный привести въ большее совершенство, и что онъ пригодится, если не старшимъ изъ семи твоихъ крикуновъ, то по крайней мѣрѣ послѣднимъ четверемъ. Объ этомъ поговоримъ при свиданіи. Помоги Богъ намъ возвратиться на родину!“

Леченіе Елизаветы Алексѣевны у Гугерта шло, однако, медленно; въ добавокъ къ тому ей было назначено ѣхать въ іюлѣ мѣсяцѣ въ Остенде для морскихъ ваннъ. «Но срокъ моего приѣзда,—пишетъ Жуковскій,—есть самопозднѣйшій въ половинѣ августа стараго стilia. *Сколько насъ?* Это нужно тебѣ вѣдать, дабы расположить по этому наемку дома. Насъ теперь всего на все *восемь* штукъ. Отецъ, мать, дочь, сынъ, двѣ женскаго пола служанки, два служителя мужскаго пола; къ нимъ должна быть присоединена кухарка. Со временемъ число сіе можетъ увеличиться. Не забудь, что мой шурина Рейтернъ будетъ жить у насъ въ домѣ. Теперь пока на лицо *восемь*».

Жуковскій такъ торопился возвратиться въ Россію, что отложилъ даже купанье въ Остенде и хотѣлъ послѣпить изъ Баденъ-Бадена, черезъ Дрезденъ, Кенигсбергъ, Ригу, скорѣе въ Дерптъ, гдѣ поручилъ мнѣ непременно нанять квартиру; ему особенно нравилось извѣстное Карлово: «Карлово,—пишетъ онъ мнѣ въ припискѣ,—было бы весьма мнѣ по сердцу; я этотъ домъ знаю... но злой духъ, злой духъ!». И слова «злой духъ» были послѣдними, которыя онъ писалъ ко мнѣ твердою рукою, чернилами и перомъ ¹⁾. Онъ занемогъ воспаленіемъ глазъ, заключившимъ его на десять мѣсяцевъ въ темную комнату. Русскаго Гомера постигла та же судьба, какая

¹⁾ Въ этомъ же самомъ письмѣ изъ Бадена, отъ 28 іюня (10 іюля) 1851 г., Жуковскій пишетъ мнѣ: „Если никакого жилища не найдется, то, конечно, уже надобно поселиться въ Карловѣ; но это мнѣ весьма не по сердцу. Не хотѣлось бы входить ни въ какія сношенія съ Булгариннымъ; онъ... и насильно вотрется въ мое знакомство, или, по крайней мѣрѣ, будетъ хвастать, что живетъ со мною душа въ душу. Постарайся, если можно, спасти меня отъ этой бѣды“.

поразила нѣкогда Гомера Греціи, бюстъ котораго, съ незрящими очами, стоялъ въ кабинетѣ нашего друга. Правда, съ помощію какой-то машинки Жуковскій писалъ кое-какія коротенькія письма; но вообще съ того времени онъ завелъ обычай диктовать своему секретарю. Онъ жаловался, что всѣ его работы, и поэтическія, и педагогическія, какъ будто разбиты параличемъ; особенно жаль ему было педагогическихъ: «Остался бы,—пишетъ онъ,—для пользы русскихъ семействъ практической, весьма уморазвивающей курсъ первоначальнаго ученія, который солидно бы приготовилъ къ переходу въ высшую инстанцію ученія. Но планъ мой объемлетъ много, а время между тѣмъ летитъ, работа же по своей натурѣ тянется медленно; глаза и силы тѣлесныя отказываются служить, и я при самомъ началѣ постройки вижу себя посреди печальныхъ развалинъ».

При всемъ томъ онъ принялся писать еще свою «лебединую пѣснь» и избралъ сюжетомъ извѣстную легенду о «Вѣчномъ Жидѣ». Болѣе десяти лѣтъ тому назадъ, ему пришла въ голову первая мысль обработать этотъ сюжетъ, и онъ написалъ первые тридцать стиховъ. Теперь въ затворничествѣ своемъ онъ приступилъ къ осуществленію этого труда. «Предметъ имѣетъ гигантскій объемъ,—пишетъ онъ къ Авдотѣ Петровнѣ Елагинной,—дай Богъ, чтобъ я выразилъ во всей полнотѣ то, что въ нѣкоторыя свѣтлыя минуты представляется душѣ моей: если изъ моего гиганта выйдетъ карликъ, то я не пущу его въ свѣтъ». Осенью 1851 года половина поэмы была написана, и Жуковскій былъ доволенъ ею; но вдругъ работа остановилась вслѣдствіе упадка физическихъ его силъ. Несмотря на то, онъ не покидалъ мысли возвратиться въ Россію, хотя бы будущей весною. «Въ Дерптѣ,—писалъ онъ ко мнѣ,—если Богъ позволитъ туда переселиться, начнется послѣдній періодъ страннической моей жизни, который, вѣроятно, сольется съ твоимъ: мы оба, каждый своею дорогою, пустились въ житейскій путь изъ Дерпта, который и въ твоей, и въ моей судьбѣ играетъ значительную роль; и вотъ теперь большимъ обходомъ возвращаемся на пунктъ отбытія, чтобы на немъ до конца остаться.

У насъ же тамъ запасено и мѣсто безсмѣнной квартиры, на лѣво отъ большой дороги, когда ѣдешь изъ Дерпта въ Петербургъ». Онъ надѣялся прожить въ Дерптѣ еще десять лѣтъ, и откладывая, въ продолженіе этого десятилѣтія, проценты съ имѣвшагося у него капитала, накопить такимъ образомъ 75,000 р. сер. «Прилагая къ этому—то, что, вѣроятно, будетъ семьѣ моей дано государемъ, могу надѣяться, что послѣ моей смерти будутъ они имѣть до 20,000 ассигнаціями дохода—фортуна неблистательная, но жить будетъ можно!»

Одиссей Гомера возвратился въ свою Итаку послѣ двадцати-лѣтняго странствованія; нашъ пѣвецъ «Эоловой арфы», «Людмилы» и «Свѣтланы», нашъ вдохновенный пѣвецъ 1812 года не увидѣлъ вновь своей родины: онъ замолкъ въ краю чужомъ ^{12/24} апрѣля 1852 года. Еще ^{19-го марта} _{1-го апрѣля} онъ писалъ ко мнѣ: «Перспектива завестись собственнымъ домомъ въ Дерптѣ меня веселить»... Но и послѣ смерти не суждено ему было найдти успокоенія возлѣ той могилы, надъ которою онъ, во время оно, воздвигнулъ крестъ съ изображеніемъ Спасителя и съ надписью: «Да не смущается сердце ваше!»

И нѣтъ пѣвца! его не слышно лиры,
Его слѣды исчезли въ сихъ мѣстахъ;
И скорбно все въ долині, на холмахъ,
И все молчитъ,—лишь тихіе зефиры,
Колесля вянущій вѣнецъ,
Порою вѣютъ надъ могилой,
И лира вторитъ имъ уныло:
„Бѣдный пѣвецъ!“

Бренныя останки Жуковскаго были сперва поставлены въ склепѣ, на загородномъ Баденскомъ кладбищѣ; въ августѣ того же года, старый слуга поэта, Даніиль Гольдбергъ, отвезъ ихъ, черезъ Любекъ, на пароходѣ, въ Петербургъ, и по волѣ императора Николая, они преданы землѣ въ Александро-Невской Лаврѣ, рядомъ съ могилою Карамзина. Вдова Жуковскаго, Елизавета Алексѣевна, осталась еще за границею до іюня 1853 года, когда она приѣхала въ Петербургъ съ обоими дѣтьми. Вскорѣ

послѣ того, семья покойнаго поэта поселилась въ Москвѣ и здѣсь, Елизавета Алексѣевна, принявъ православіе, скончалась въ 1856 году. Единственный сынъ поэта, Павелъ Васильевичъ Жуковскій, посвятившій себя искусству живописи, долгое время проживалъ въ Парижѣ, откуда переселился въ Италію, гдѣ и проживаетъ по настоящее время.

Я обязанъ одной почтенной особѣ сообщеніемъ копии съ прощальнаго письма Жуковскаго къ женѣ, писаннаго или продиктованнаго имъ не задолго до смерти:

„Dans l'idée, que mon heure dernière est peut-être proche, je t'écris, je veux te dire quelques mots de consolation.

„D'abord je te remercie du fond de mon âme, d'avoir voulu devenir ma femme; le temps que j'ai passé dans notre union, a été le plus heureux et le meilleur de ma vie. Malgré plusieurs moments tristes, venus des circonstances du dehors ou produits par nous mêmes, et qui ne peuvent manquer à aucune vie, parcequ'ils en sont les épreuves bienfaisantes,—j'ai joui avec toi de mon existence, dans la pleine acception de ce mot; j'en ai mieux compris la valeur, et je devenais de plus en plus ferme pour en atteindre le but, qui n'est autre, que celui d'apprendre à obéir à la volonté de notre Seigneur. C'est à toi que je le dois, reçois ici mes remerciements et en même temps l'assurance que je t'ai aimée comme le plus cher trésor de mon âme. Tu pleureras de m'avoir perdu, mais ne te déssole pas: „Die Liebe ist stark, wie der Tod“. Il n'y a pas de séparation dans le royaume de Dieu. Je crois que je serai plus intimement lié avec vous, qu'avant la mort. Dans cette persuasion, pour que la paix de mon âme ne soit pas troublée, conserve la paix de la tienne, dont les joies et les peines seront plus à moi que dans la vie terrestre.

„Vise en Dieu et dans les soins pour nos enfants; dans leurs coeurs je te lègue le mien, le reste est dans la main de Dieu. Je te bénis, pense à moi sans douleur, et console toi de notre séparation par l'idée qu'à chaque instant je suis avec vous et que je partage tout ce qui se fait dans votre âme. J.“¹⁾

¹⁾ Переводъ: „Въ мысли, что мой послѣдній часъ, можетъ-быть, близокъ, я пишу тебѣ и хочу сказать нѣсколько словъ утѣшенія.

„Прежде всего, изъ глубины моей души благодарю тебя за то, что ты пожелала стать моею женою; время, которое я провелъ въ нашѣмъ союзѣ, было счастливѣйшимъ и лучшимъ въ моей жизни. Несмотря на многія грустныя минуты, происшедшія отъ внѣшнихъ причинъ или отъ насъ самихъ, — и отъ которыхъ не можетъ быть свободна ни чья жизнь, ибо онѣ служатъ для нея благодѣ-

XII.

За два дня до своей смерти Жуковскій сказалъ священнику Базарову слѣдующее: «Мнѣ бы хотѣлось, чтобы вы знали, что послѣ меня останется. Я написалъ поэму: она еще не кончена; я писалъ ее слѣпой, нынѣшнюю зиму. Это — «Странствующій Жидъ», въ христіанскомъ смыслѣ. Въ ней заключены послѣднія мысли моей жизни. Это моя лебединая пѣснь. Я бы хотѣлъ, чтобъ она вышла въ свѣтъ послѣ меня. Пусть она пойдетъ въ казну дѣтей моихъ. Я начиналъ было переводить ее, диктуя самъ по-нѣмецки. Но Юстинъ Кернеръ беретъ переводить ее въ стихахъ. Пусть онъ передѣлываетъ ее по своему, пусть прибавляетъ, но мысль мою онъ пойметъ». Эта «лебединая пѣснь» Жуковскаго, кромѣ литературнаго достоинства, имѣетъ для насъ еще то значеніе, что подводитъ итогъ религиознымъ воззрѣніямъ его за послѣднія десять лѣтъ его жизни. Поэтому мы считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ о ней въ заключеніе нашего труда.

Кромѣ небольшого введенія въ стихахъ, въ которомъ излагается преданіе о Вѣчномъ Жидѣ, обреченномъ жить до второго пришествія Христова, Жуковскій успѣлъ написать двѣ части поэмы, составляющія почти половину предначертаннаго

тельными испытаніями, — я съ тобою наслаждался жизнью, въ полномъ смыслѣ этого слова; я лучше понималъ ея цѣну и становился все тверже въ стремленіи къ ея цѣли, которая состоитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ томъ, чтобы научиться повиноваться волѣ Господней. Этимъ я обязанъ тебѣ, прими же мою благодарность и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣреніе, что я любилъ тебя, какъ лучшее сокровище души моей. Ты будешь плакать, что лишилась меня, но не приходи въ отчаяніе: „любовь такъ же сильна, какъ и смерть“. Нѣтъ разлуки въ царствѣ Божіемъ. Я вѣрю, что буду связанъ съ тобою тѣснѣе, чѣмъ до смерти. Въ этой увѣренности, дабы не смутить мира моей души, не тревожся, сохраняй миръ въ душѣ своей, и ея радости, и горе будутъ принадлежать мнѣ болѣе, чѣмъ въ земной жизни.

„Полагайся на Бога и заботься о нашихъ дѣтяхъ; въ ихъ сердцахъ я звѣщаю тебѣ свое, — прочее же въ руки Божіей. Благословляю тебя, думай обо мнѣ безъ печали, и въ разлукѣ со мною, утѣшай себя мыслью, что я съ тобою ежеминутно и дѣлю съ тобою все, что происходитъ въ твоей душѣ. Ж.“

цѣлаго. Онъ хотѣлъ провести въ «Странствующемъ Жидѣ» любимую мысль послѣднихъ годовъ своей жизни, а именно, что *страданіе* и *несчастіе* приводятъ человѣка къ высшему благу на землѣ, то-есть, къ *вѣрѣ*, и что, стало-быть, мы должны смотрѣть на страданія и несчастія, какъ на лучшіе дары неба. Сорокъ лѣтъ передъ тѣмъ онъ заставлялъ говорить грека Эсхила:

Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ:

Все въ жизни къ великому средство—

И горестъ, и радость, все къ цѣли одной.

Хвала жизнедавцу Зевесу! ¹⁾.

Мы уже говорили, что Жуковский любилъ употреблять въ разговорахъ и письмахъ это изреченіе и повторялъ его часто, хотя въ нѣсколько измѣненномъ видѣ: «Все въ жизни есть средство»—то къ прекрасному, то къ добру, то къ счастью, то къ великому. Мало-по-малу онъ пришелъ къ убѣжденію, что надобно исключить изъ этого афоризма слово «радость» и подъ словомъ «все» разумѣть *горестъ*, указавъ желанною цѣлью жизни не только *вѣру*, но и *терпѣніе*. За нѣсколько часовъ передъ смертью онъ подовзвалъ къ себѣ маленькую дочь свою и сказалъ ей: «Поди, скажи матери, что я нахожусь въ ковчегѣ и высылаю ей перваго голубя: это—моя *вѣра*; другой голубь мой, это—*терпѣніе*». Уже поздно вечеромъ онъ сказалъ тещѣ своей: «Теперь остается только матеріальная борьба, душа уже готова!» Это были его послѣднія слова.

Первая часть упомянутой поэмы начинается описаніемъ острова святой Елены при свѣтѣ заходящаго солнца. На скалистомъ обрывѣ морского берега сидитъ Наполеонъ;

Въ глубокой думѣ, руки на груди

Крестъ на крестъ сжавъ,

Онъ, вожь побѣдъ недавно

И страхъ царей, теперь царей колодникъ.

Проникнутый отвращеніемъ къ себѣ и къ жизни, Наполеонъ подходитъ къ краю скалы и хочетъ броситься въ море. Вдругъ

¹⁾ Соч., т. I, стр. 316.

является передъ нимъ Агасверъ и удерживаетъ его отъ самоубійства. Такъ какъ поэма осталась не оконченною, то непонятно, почему Жуковскій выбралъ Наполеона въ слушатели исповѣди Агасвера, тѣмъ болѣе, что отъ Наполеона мы не слышимъ ни одного слова, а Агасверъ хочетъ быть врачомъ его души. Онъ описываетъ страшную свою участь—вѣчно бродить по землѣ:

Памятью о прошломъ
 Терзаемый.....
и что когда любилъ на свѣтѣ,
 Все пережить и все похоронить
 Определенный.....

—онъ становился все болѣе и болѣе чуждъ и сирь, нелюдимъ и грустенъ, и узналъ, что жизнь его приобрѣла желѣзно-мертвую несокрушимость. Даже по разореніи Іерусалима, когда всѣ погибли, и онъ, раздавленный обрушившимся храмомъ, лежалъ безъ памяти подъ развалинами, онъ снова всталъ и живъ, и невредимъ. И тутъ ему блеснулъ въ глаза блескъ вечерняго солнца съ высоты Голгоѣы, и послышался опять тихій голосъ Христа, котораго при его шествіи со крестомъ на Голгоѣу онъ оттолкнулъ отъ дверей своихъ: «Ты будешь жить, пока Я не приду!» Агасверъ въ бѣшенствѣ произнесъ проклятіе противъ Творца и Распятаго! Съ ненавистью къ собственному существованію, онъ пошелъ впередъ безъ воли, безъ надежды остановиться или дойти до цѣли. Да и цѣли не было:

„Дай смерть мнѣ! дай мнѣ смерти!“ То было крикомъ
 Моимъ и плачемъ, и моленьемъ
 Предъ каждымъ бѣдствіемъ земнымъ, которымъ,
 На горькую мнѣ зависть, гибли люди.

Слѣдуютъ описанія такихъ бѣдствій, которымъ онъ нарочно подвергался, но напрасно. Даже въ тотъ день, когда Геркуланумъ исчезъ подъ лавой, и пепель засыпалъ Помпею, когда Агасверъ, прожженный, какъ уголь, былъ снесенъ въ море, море снова выбросило его на берегъ! То-былъ послѣдній опытъ насильно принять смерть. Но вотъ что случилось съ нимъ послѣ

того. Онъ слышалъ, что Траянъ готовилъ въ Римѣ бой гладиаторовъ, съ тѣмъ, чтобы предать христіанъ звѣрямъ на растерзаніе, и что знаменитый пастырь антиохійской церкви, Ипатій, долженъ быть преданъ льву ливійскому на пищу. Агасверъ побѣждалъ въ амфитеатрѣ вмѣстѣ съ народомъ. Вдругъ изъ подземелья раздался лвиный ревъ, и старецъ Ипатій, и съ нимъ двѣнадцать христіанъ—вышли на страшную арену. Старецъ благословилъ ихъ, и они на колѣняхъ тихо запѣли:

Тебя.... Бога хвалимъ,
Тебя едиными устами въ смертный
Часъ исповѣдуемъ!

Продолжаемъ рассказъ словами Агасвера:

..... О, это пѣнье,
Въ Ерусалимѣ слышанное мною
На праздничныхъ собраньяхъ христіанъ
Съ кипѣньемъ злобы, тутъ мою всю душу
Проникнуло внезапнымъ вдохновеньемъ:
Что предо мной открылось въ этотъ мигъ,
Что вдругъ во мнѣ предчувствіемъ чего-то
Невыразимаго затрепетало,
И какъ, въ амфитеатрѣ ворвавшись, я
Вдругъ посреди дотола ненавистныхъ
Мнѣ христіанъ, тамъ очутился,—я
Не знаю! Пѣнье продолжалось....

Но тутъ спущенный на арену левъ бросился на Ипатія. Агасверъ кинулся впередъ, чтобы заслонить старца отъ звѣря: но старецъ, кротко отодвинувъ его въ сторону, сказалъ:

„Должно шено Господнее въ зубахъ
Звѣриныхъ измолотся, чтобъ Господнимъ
Быть чистымъ хлѣбомъ; ты же, другъ, отселѣ
Поди въ свой путь, смиришь, живи и жди“....
Тутъ былъ онъ львомъ обхваченъ, но успѣлъ
Еще меня перекрестить и взоръ
Невыразимый отъ меня на небо
Въ слезахъ возвестъ, какъ-бы меня ему
Передавая.

Отъ этого животворящаго взгляда, подъ могущественнымъ впечатлѣніемъ великаго мгновенія, въ душѣ Агасвера совершился чудный переворотъ: онъ пересталъ унывать и проклинать себя и почувствовалъ въ своихъ страданіяхъ внезапную отраду и усладительный призывъ къ смиренію и покаянію. Какое-то тихое чувство усмиряло борьбу его съ самимъ собою. Съ тѣхъ поръ судьба обратила его на другую дорогу, съ очей души его начала вдругъ спадать слѣпота, и свѣтлый Божій міръ сталъ воскресать внутри и внѣ ея, какъ изъ могилы.

Это мѣсто въ поэмѣ напоминаетъ намъ письмо къ А. С. Стурдзѣ, про которое мы говорили выше, а равно и многія другія мысли и выраженія Жуковскаго, намъ небезызвѣстныя. Только въ поэмѣ душевному перевороту даны болѣе крупныя размѣры. И Агасверъ, въ борьбѣ своей души между тьмой и свѣтомъ, почувствовалъ неодолимое влеченіе идти въ родную землю, къ горамъ Іерусалима; такъ было и съ самимъ поэтомъ.

Во второй части поэмы начинается разсказъ о душевномъ переворотѣ въ Агасверѣ и о стремленіи его къ чистой вѣрѣ въ Спасителя. Агасверъ плылъ на кораблѣ къ берегамъ Сиріи; порывомъ бури корабль былъ остановленъ у острова Патмоса. Тамъ живъ былъ еще въ ту пору апостоль Іоаннъ; послѣ долгаго бесѣдованія старецъ «оросилъ Агасвера водою крещенія». На другое утро Агасверъ причастился святыхъ таинъ вмѣстѣ съ апостоломъ. Потомъ Іоаннъ открылъ ему значеніе его жизни, осужденной на великое испытаніе, и даже приподнялъ передъ очами его покровъ съ того, что *было, есть и будетъ*. Перекрестивъ, наконецъ, Агасвера, апостоль простился съ нимъ. Подулъ вѣтеръ, попутный для плаванія въ Палестину; Агасверъ уснулъ на кораблѣ и увидѣлъ во снѣ то, что описано въ Откровеніи Іоанна. Затѣмъ Агасверъ выходитъ на берегъ Святой земли въ самый праздникъ Пасхи; но ея не праздновалъ здѣсь никто. Между обломковъ развалинъ онъ увидѣлъ простертыхъ на землѣ немногихъ старцевъ, женщинъ и дѣтей—бѣдный остатокъ Израиля; но этотъ народъ былъ уже чуждъ ему. Агасверъ прошелъ мимо; вдругъ увидѣлъ онъ передъ со-

бою остатокъ стѣны со ступенями предъ уцѣлѣвшюю и настезъ
отворенною дверью; въ ней сидѣлъ шакаль.

....То былъ мой прежній домъ,
И я стоялъ предъ дверью роковою
Свидѣтелемъ гибели моей,
И мнѣ въ глаза то мѣсто, гдѣ тогда
Измученный остановился Онъ,
Чтобъ отдохнуть у двери, отъ которой
Безжалостной рукою оттолкнулъ
Я подошедшаго ко мнѣ съ любовью
Спасителя, пятномъ кровавымъ страшно
Блеснуло. Я упалъ, лицомъ припкнувъ
Къ землѣ, къ которой нѣкогда нога
Святая прикоснулась; и слезами
Я обливалъ ея. И въ этотъ мигъ
Почудилося мнѣ, что Онъ, какимъ
Его тогда я видѣлъ, мимо въ прахѣ
Лежавшей головы моей прошелъ,
Благословляющій....

Агасверъ поднялся, пошелъ на высоту Голгоѣы и нѣсколько
времени пробылъ тамъ въ уединеніи. Благословивъ на вѣчную
разлуку Господній градъ, онъ пошелъ странствовать. Но если
судьба его не измѣнилась, самъ онъ былъ уже не тотъ, какимъ
былъ въ то мгновеніе, когда проклятье пало на него. Пере-
рожденный, пошелъ онъ отъ Голгоѣы и съ благодарностью взялъ
на плечи свой крестъ!

При этомъ описывается благодать смиренія, вселившагося въ
душу Агасвера. Теперь онъ всею силою сталъ любить Христа,
и добылъ миръ души. Но этотъ миръ достался ему не вдругъ;
порою онъ еще бывалъ одолѣваемъ тоской, и тогда *ронтанье*
срывалось съ устъ его, но каждый разъ, окровавленный крестъ
Голгоѣы вселялъ въ него смиренье, и, наконецъ, на него со-
шелъ тотъ покой, который дается душѣ покорнымъ *терпнїемъ*.

Съ тѣхъ поръ Агасверъ сталъ любить людей евангельскою
любовью. Въ ихъ пиршества, веселья, торжества онъ не мѣ-
шается: «но есть одно, что къ нимъ его приводитъ: это—смерть,

давно имъ утраченное благо». Рисуя разные образы смерти— въ младенцѣ, въ старикѣ, въ красавицѣ расцвѣтшей, въ изнуренномъ колодникѣ или героѣ на полѣ битвы, поэтъ доказываетъ, что онъ и въ старости сохранилъ богатый даръ поэтическаго творчества. Подъ вліяніемъ возвратившагося къ нему спокойствія, поэтъ заставляетъ своего Агасвера произносить хвалу природѣ; красоты ея его успокоиваютъ и возносятъ:

Міръ человѣческій исчезъ какъ призракъ
Передъ сосѣднею природой; въ ней
Все выше сдѣлалось размѣромъ, все
Пріяло высшее знаменованье...
Природа—врачъ, великая бесѣда
Господняя, развернутая книга,
Гдѣ буква каждая благовѣститъ
Его Евангеліе.... Среди Господней
Природы я наполненъ чуждымъ чувствомъ
Уединенія въ непзреченномъ
Его присутствіи, и чудеса
Его созданія въ моей душѣ
Блаженною становятся
Молитвой... Съ нею
Сливается нерѣдко вдохновеніе
Поэзіи; *поэзія земная*
Сестра небесныхъ молитвъ, голосъ
Создателя, изъ глубины созданья
Къ намъ исходящій чистымъ отголоскомъ
Въ гармоніи восторженнаго слова.

Какъ бы изъ глубины души Жуковскаго вылились эти слова.
Онъ тутъ же говорить:

Величіемъ природы вдохновенный,
Непроизвольно я пою...

Это та же мысль, которую вкладываетъ поэтъ въ уста умирающаго Камозенса:

Поэзія есть Богъ—въ святыхъ мечтахъ земли!

Жуковскій передъ смертію своею какъ будто перелистываетъ памятную книжку своихъ размышленій и почти тѣми же

словами, что въ своемъ письмѣ изъ Швейцаріи, заставляеть Агасвера (Соч. т. V, стр. 497) говорить:

..... И ужъ второе
Тысячелѣтіе къ концу подходитъ
Съ тѣхъ поръ, какъ по землѣ я одинокой
Дорогою иду. И въ этотъ путь
Пошелъ я съ той границы, на которой
Миръ древній кончился, гдѣ на его
Могилѣ колыбель свою поставилъ
Новорожденный миръ. За сей границей,
Какъ великанскія, съвозъ тонкій сумракъ
Разсвѣта смутно зримыя, громады
Снѣжноголовыхъ горъ, стоятъ минувшихъ
Вѣковъ видѣнія—остовы древнихъ
Имперій (какъ слонъ въ огромномъ тѣлѣ
Горъ первобытныхъ), слитыя въ одно
Великаго минувшаго созданье..

Это были послѣдніе стихи, продиктованные нашимъ другомъ ^{31-го марта} 1852 года!... По мнѣнію кн. П. А. Вяземскаго, «Странствующій Жидъ» занимаетъ первенствующее мѣсто не только между твореніями Жуковскаго, но едва-ли не во всемъ циклѣ русской поэзіи. «Со мною немногіе согласятся, — продолжаетъ князь:—надо признаться, что эта поэма, эта прерванная смертью лебединая пѣснь великаго поэта, мало обратила на себя вниманіе литературныхъ нашихъ судей и читателей, вскормленныхъ на другой пищѣ и лакомыхъ до другой поэзіи».

Если внимательно разсмотрѣть всю поэтическую дѣятельность Жуковскаго, то нельзя не придти къ заключенію, что онъ былъ преимущественно поэтомъ личнаго чувства, и даже принимаясь за переводы съ иностранныхъ поэтовъ онъ выбиралъ тѣ произведенія, которыя подходили къ душевному его состоянію въ данный моментъ, и зачастую видоизмѣнялъ содержаніе, согласуя его съ тѣмъ, что самъ пережилъ. Схватывать явленія жизни онъ не умѣлъ, и могъ произносить сужденіе лишь тамъ, гдѣ дѣло касалось искусства или прекраснаго въ

природѣ. Жуковскій не обладалъ ни знаніемъ людей, ни практической мудростью. Въ дѣяніяхъ людей онъ инстинктивно угадывалъ сторону добра. При чрезвычайной добротѣ и благодушіи поэтъ никогда дѣятельно не противоdѣйствовалъ злу, не выходилъ борцомъ противъ него, а сторонился и какъ будто не замѣчалъ его. Презрѣніе къ недобрымъ людямъ онъ выражалъ тѣмъ, что какъ будто не зналъ о ихъ существованіи.

Встрѣчаясь съ людьми, мало придававшими значенія церковности, но въ то же время признававшими превосходство евангельскаго ученія, Жуковскій никогда не имѣлъ повода подвергать ихъ воззрѣнія критическому анализу. Для него религія была дѣломъ чувства, *стремленіемъ къ добру*—къ выполнению добрыхъ дѣлъ. Онъ вѣрилъ въ простотѣ сердца, и вѣра сама по себѣ, не по догматическимъ формамъ, укрѣпляла его. Самые догматическіе формы и приемы религиозныхъ фанатиковъ его не интересовали, и онъ совершенно не замѣчалъ всѣхъ махинацій фарисействующей брагій.

Когда Жуковскій, вслѣдствіе женитьбы своей и поселенія на берегахъ Рейна, попалъ въ кругъ людей, анализировавшихъ религію, какъ бы при помощи вѣсовъ и микроскопа—и поставившихъ мелкіе и узкіе результаты свои основами вѣры—поэтъ сначала поддакъ такому направленію. Исповѣдывали то все дорогіе ему, добрые люди, искренно убѣжденные въ своей грѣховности, честно и самоотверженно ведшіе пропаганду своихъ несомнѣнно добросовѣстныхъ воззрѣній. Но когда въ Жуковскомъ проснулось сомнѣніе въ истинѣ такого направленія, когда ему стало яснымъ, что онъ погрѣшилъ противъ *своего* Бога,—то въ окружавшихъ его людяхъ онъ не нашолъ ни пониманія, ни поддержки, и былъ тѣмъ глубоко несчастливъ. Въ это же время онъ сошелся ближе съ Гоголемъ, котораго тревожили тѣже религиозныя сомнѣнія. Малообразованный, съ спутанными воззрѣніями на вѣру, Гоголь не могъ внести успокоеніе и ясность въ душу Жуковскаго. Все болѣе и болѣе впадая въ мистицизмъ, онъ возбуждалъ и въ поэтѣ одинъ внутренній разладъ и внутреннее недовольство.

Но наконецъ, Жуковскому удалось сдѣлать усиліе надъ собою, и онъ вернулся такимъ образомъ къ простотѣ вѣры своихъ молодыхъ лѣтъ. Ему казалось, что онъ, при ея помощи, счастливо избѣгнулъ скаль и подводныхъ мелей. Таково было убѣжденіе нашего друга, когда онъ достигъ 68-го года своей жизни, съ тѣломъ ослабѣвшимъ, съ опасностью ослѣпнуть. Поэтическое призваніе его было выполнено — онъ самъ приготовилъ къ изданію всѣ свои труды — оставалось закончить нѣкоторыя педагогическія работы и переводъ «Иліады». Въ это время стало измѣнять ему зрѣніе. Въ темномъ покоѣ слѣпой поэтъ ощутилъ воскресеніе прежнихъ образовъ съ большею силою и яркостью, и его «Агасверъ» долженъ былъ показывать, какъ поэтъ, сквозь годы скорби и несчастія, можетъ доходить до яснаго религіознаго сознанія—до счастья и покоя. Смерть застала его именно за этимъ трудомъ...

Авторъ настоящаго очерка сочтетъ себя счастливымъ, если его перо, быть можетъ, послужитъ родинѣ Жуковского средствомъ къ тому, чтобы сохранить на долго дорогую память о ея поэтѣ, оцѣнить его превосходныя душевныя качества, которыми была проникнута и самая его поэзія, и наконецъ — ту пламенную любовь къ этой самой родинѣ, которой онъ посвящалъ и всякую лучшую свою мысль, и всякое лучшее свое чувство.



ПРИЛОЖЕНИЕ



ИЗЪ ПИСЕМЪ

В. А. ЖУКОВСКАГО КЪ К. К. ЗЕЙДЛИЦУ.

I.

$\frac{9}{21}$ mars, 1829.

Mon ami, mon frère! je ne crois pas que ma lettre vous trouve à Genève, mais je vous écris pourtant, pour vous dire qu'avec un sentiment profond de reconnaissance et d'amitié je baise cette main qui a fermé les yeux de mon Alexandrine. Je ne vous dis rien sur le sentiment avec le quel j'ai lu votre lettre: recevez ma reconnaissance pour ce trésor, pour ces derniers instants de sa vie angélique que vous avez peint avec la fidélité d'une âme sensible; vous avez compensé pour nous une partie du malheur de n'avoir pas été présent à sa fin. Je vous demande encore un bienfait. Décrivez avec les plus grands détails tous ce que vous savez par rapport à elle; faites cela pour moi. Au nom de Dieu ne vous chagrinez pas des reproches sur le silence que je vous fais dans une réponse à la lettre que vous avez adressé à Moyer. Vous, âme fidèle en amitié, bonne et grande, je n'ai qu'attachement et reconnaissance pour vous; je vous bénis du fond de mon coeur; vous accomplirez ce que vous avez entrepris avec tant de devouement—vous nous emmenerez les enfants d'Alexandrine. J'espère, que Peroffsky vous trouvera encore à Pise. Il sait nos dispositions par rapport à André. Vous les trouverez d'ail-

leurs dans ma lettre. Que Dieu bénisse votre route. Je crois que Moyer ne dira rien à maman avant le retour des enfants. J'irai moi même vous recevoir à Dorpat si toutefois les circonstances le permettront. Adieu, mon ami.

II ¹⁾.

Le $\frac{13}{25}$ mars, 1829.

Que Dieu vous recompense pour votre lettre, mon cher Seidlitz. C'est lui qui vous a conduit vers Alexandrine pour représenter près d'elle tous les siens et pour la secourir dans le plus grave moment de cette vie. Je vous conserverai une éternelle reconnaissance pour cette lettre, qui m'a mis en présence de ses derniers instants si doux, si résignés, si semblables au reste de sa vie innocente! Jamais je n'oserai la plaindre. Depuis sa dernière lettre à Peroffsky j'ai perdu toute espérance, et votre lettre à Moyer n'a fait que me confirmer dans l'idée qu'il fallait la perdre. J'attendais à chaque poste l'arrivée de la douloureuse nouvelle. Enfin elle est là. Notre ange est parti. Après avoir lu la description de sa mort vraiment sublime, mon premier sentiment était de remercier Dieu: elle a donc eu en partage le vrai bien de la vie, elle a donc *vu*, avant de passer dans l'autre monde, ce que nous en espérons dans celui-ci, elle l'a vu et pour elle même et pour ses enfants et pour ses amis. J'ai craint pour elle des inquiétudes sur le sort des ses enfants; j'ai craint que l'idée de mourir dans une terre étrangère ne la trouble—mais ces craintes ont été superflues; la résignation, la sérénité de la religion se sont emparées de son âme et l'ont mis audessus de tous les soucis terrestres. Votre lettre, qui a si fidèlement peint ces derniers, ces plus beaux moments de notre Alexandrine ont été pour moi un bienfait. Non, je ne la plains pas après l'avoir vu sur cette hauteur; un être souffrant a fini; un ange existe. Il nous reste à la remplacer autant qu'il est possible près des ses orphelins. Protégez les dans leur retour en Russie. Je crois que je me suis expliqué sur tout ce qui les regarde dans mes lettre à Alexandrine et à vous, qui doivent déjà vous être par-

¹⁾ Оба първия писъма относатся къ стран. 145.

venues. Je crois qu'il vaut mieux laisser André à Genève; parlez sur son compte avec monsieur Joseph de Joux homme de lettres qui est déjà prévenu, il prendra sur lui de le surveiller; Katar, Cama et Marie doivent être conduites d'abord à Dorpat chez la grande maman. Quant à la gouvernante, je ne puis rien décider sur son choix; trouvez en une, convenez du prix et ne décidez de rien: nous pourrons lui envoyer l'argent d'ici. Je désirerai pourtant que vous trouviez une personne déjà en age, de 40 ans par exemple; car je veux arranger que Catherine et Alex. demeurent chez moi: alors une jeune personne ne conviendrait pas. Dans tous les cas ayez en une en vue, arrangez vous sur le prix et dites à elle que vous enverrez une reponse decisive de Russie. Il y a à Dorpat une personne qui peut-être prendra sur elle de demeurer avec les enfants. Voilà tout, mon ami. Pour tout le reste agissez comme vous le trouverez bon; je souscris d'avance à tout, me confiant en vous plus qu'en moi même. Que Dieu protège votre route. Ecrivez moi de la route. Adieu.

Mon ami, j'ajoute encore quelques mots. Vos deux lettres sont pour moi un trésor. Grace à vous j'ai été présent aux derniers moments d'Alexandrine. Completez votre bienfait, écrivez moi tout ce que vous avez su d'elle pendant cette année bienfaisante, que vous avez passé près d'elle. Qui peut compter une telle année dans sa vie est riche. Elle a été sanctifiée par les plus purs sentiments d'humanité, de reconnaissance, de charité. Vous êtes pour moi un vrai ange.

Il y a à Würzburg la comtesse Wielhorsky. Dans tous les cas vous pourrez vous adresser à elle en mon nom. Ecrivez lui en allemand. Son adresse est simplement à Würzburg.

III.

Дерптъ.—29 апрѣля, 1829 г.

Мой милый Зейдлицъ, я пробылъ недѣлю въ Дерптѣ; но дожидаться тебя не могъ и долженъ былъ отправиться въ Варшаву ¹⁾. И вотъ еще непріятность: передъ отъѣздомъ своимъ я

¹⁾ Ожидая изъ-за границы К. К. Зейдлица, послѣ погребенія имъ А. А. Воейковой въ Ливорно, Жуковскій писалъ ему письмо, отъ 18 апрѣля 1829 г., помѣ-

все приготовилъ для того, чтобы тебѣ жить на моей квартирѣ; одного только не сдѣлалъ, полагая, что это не нужно — испросить на это позволенія высшаго. Здѣсь въ Дерптѣ получили письмо, въ которомъ увѣдомляютъ меня, что безъ меня на той квартирѣ никому жить не можно безъ особеннаго на это позволенія. Итакъ, не сѣтуй на меня. Мнѣ это очень больно. Въ Варшавѣ узналъ, можно ли будетъ сдѣлать. Во всякомъ случаѣ, по моемъ возвращеніи, если найду тебя въ Петербургѣ, устрою такъ, чтобы намъ можно было жить вмѣстѣ.— По приѣздѣ твоемъ въ Дерптъ, еще остается тебѣ сдѣлать одолженіе; отвезти Машу въ Петербургъ къ графинѣ Толстой. Она пробудетъ тамъ по тѣхъ поръ, пока сестры ея останутся въ Дерптѣ. По приѣздѣ же сестеръ въ Петербургъ возвратится въ Дерптъ и будетъ жить у своей бабушки. Нигдѣ ей лучше быть не можетъ. Надзоръ будетъ самый неусыпный. А Катя, которая точно мать, будетъ ей и товарищъ, и нянька. Прости, милый братъ Зейдлицъ; какое будетъ для меня утѣшеніе, если возвратясь изъ Варшавы найду еще тебя въ Петербургѣ. На встрѣчу къ тебѣ въ Полаangenъ Екатерина Аванасьева ѣхать не собралась: и слаба, и боится дороги.

IV¹⁾.

Франкфуртъ-на-Майнѣ.—31 декабря, 1847 г.

Мой милый Зейдлицъ, пишу къ тебѣ живой, но получишь письмо отъ мертваго. Если бы письмо мое было адресовано изъ того края, гдѣ я буду въ то время, когда ты его будешь читать, то я бы что нибудь тебѣ сказалъ объ этомъ таинственномъ краѣ; но я пишу къ тебѣ, еще будучи жителемъ земли. Да и ценное выше, на стр. 148, и заключилъ его словами: „Прости, милый братъ. Прошу опять тебя поселиться у меня по приѣздѣ въ Петербургъ. Комната для тебя будетъ готова. Спроси истопника Скабинскаго, живущаго въ Эрмитажномъ театрѣ. Моя же квартира въ Шепелевскомъ дворцѣ“.

¹⁾ Письмо писано въ 1847, а доставлено по адресу только послѣ смерти Жуковскаго въ 1852 году. См. выше, стр. 215.

нѣтъ никакой нужды описывать чѣловѣческимъ языкомъ этого края; объ немъ все, что намъ нужно знать, сказано языкомъ божественнымъ. Этотъ языкъ ты знаешь. А я, помышляя о своемъ отбытіи въ тотъ край, но не зная, когда его срокъ наступитъ, забочусь о *своихъ*, которые вѣроятно позже меня покинутъ край здѣшній, и хочу исполнить свою обязанность, устроивъ съ челоуѣческимъ предусмотрѣніемъ ихъ будущее, которое Богъ устроитъ по своему и лучше, нежели я.

Въ слѣдствіе этого, въ полной надеждѣ на твою дружбу, на твою дѣятельность и совѣстливую точность, на твое знаніе дѣлъ, я назначилъ тебя въ своей духовной попечителемъ моихъ дѣтей, то-есть помощникомъ жены моей, которой предоставилъ опеку. Другимъ попечителемъ назначенъ мой искренній другъ Радовицъ (теперь генералъ въ прусской службѣ, министръ при баденскомъ дворѣ, и состоящій по дѣламъ военнымъ при германской діетѣ. Его мѣстопробываніе въ Карлсру и частію во Франкфуртѣ на Майнѣ). Ты будешь помощникомъ жены по дѣламъ ея фортуны *въ Россіи*; а Радовицъ, когда жена останется, въ случаѣ смерти моей, за границею. Я желалъ бы, однако, что бы ты вошелъ въ письменное сношеніе съ Радовицемъ.

Послѣ меня найдутъ два завѣщанія: одно *на нѣмецкомъ языкѣ*, засвидѣтельствованное во Франкфуртѣ; оно находится во франкфуртскомъ *Canzley des Stadtgerichts*, куда передано мною подъ росписку; другое—*на русскомъ языкѣ* такого же точно содержанія; оно найдется между моими бумагами. По сему завѣщанію и по тѣмъ приложеніямъ, которыя могутъ быть съ сего времени мною сдѣланы, ты будешь знать мои распоряженія относительно моего семейства.

При этомъ главномъ назначеніи, поручаю тебѣ другую работу; она же и слѣдуетъ тебѣ, какъ попечителю дѣтей моихъ. Въ послѣднихъ мѣсяцахъ нынѣшняго (1847) года я началъ печатать въ Карлсру въ типографіи Гаспера полное собраніе моихъ сочиненій. Изданіемъ и корректурою завѣдываетъ мой знакомецъ Рейфъ, извѣстный сочинитель русскаго лексикона; а

въ Петербургѣ пріемомъ экземпляровъ, ихъ сохраненіемъ, продажею, собраніемъ денегъ и помѣщеніемъ суммъ на мое имя въ казенное мѣсто будетъ завѣдывать нашъ общій знакомецъ Родіоновъ; на его дѣятельность и честность можно вполне положиться. Но, какъ попечитель, ты долженъ будешь принять участіе въ этомъ дѣлѣ; и это участіе будетъ состоять въ томъ, чтобы войти въ сношеніе съ Родіоновымъ и получать отъ него свѣденія о ходѣ продажи экземпляровъ и о помѣщеніи вырученныхъ суммъ куда слѣдуетъ. Изданіе моихъ сочиненій должно составить капиталъ моимъ дѣтямъ; деньги, на него употребленныя, взяты мною изъ капитала помѣщеннаго въ комиссіи погашенія долговъ.

Сверхъ того надобно тебѣ знать, что вся моя небольшая движимость, состоящая изъ картинъ, гипсовъ, гравюръ и книгъ, отдана подъ сохраненіе дѣйств. ст. совѣтника Жилля, и находится въ Мраморномъ дворцѣ, гдѣ все это помѣщено съ дозволенія министра двора. Драгоцѣнный столъ мой находится у тебя. Все это должно быть сохранено женѣ моей, кромѣ бумагъ, которыя должны быть преданы сожженію.

Прости, другъ. Благослови Богъ твою жизнь и твое семейство. Поручаю тебѣ—мое.

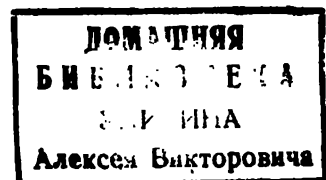


ФВ-31805-SB

5-25

СС

В/Т



СОДЕРЖАНІЕ.

ПОРТРЕТЪ ЖУКОВСКАГО И ЕГО ФАКСИМИЛЕ.

Отъ редакціи „Вѣстника Европы“	I
Предисловіе къ новому изданію.—П. А. Висковатого	IX

ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА.

Первый періодъ: 1783—1815 г.	1
Второй періодъ: 1815—1841 г.	75
Третій періодъ: 1841—1852 г.	169
Приложеніе: Изъ писемъ Жуковскаго къ К. К. Зейдлицу	249—256



Stanford University Libraries
3 6105 124 438 602



15
344
25:

**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.

JAN 11 1977

JUN 1939

